

НАРОДНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Г.Ф.КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО

ПАН ХАЛЯВСКИЙ





Г.Ф.КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО

ПАН ХАЛЯВСКИЙ

РОМАН



Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1978

С(Укр)1

Вступительная статья

Ф. КРИВИНА

Иллюстрации художника

А. ВИНОГРАДОВА

© Вступительная статья

Издательство «Художественная литература», 1978.

70303-022

К ————— 115-78

028(01)-78

АВТОР И ЕГО ГЕРОИ

1

Подумать только, до каких головокружительных истин добирается порой здравый смысл! Пусть необразованный, пусть невежественный, темный, но — здравый. В нашем-то, двадцатом, веке легко рассуждать о вселенной, а ты поди порассуждай полгораста лет назад — так, как рассудил Трушко Халявский по поводу астрономических воззрений своей маменьки.

«Вселенную — как хотите, мне до нее нужды мало... Но вишневкою не согласна разливаться...»

Так сказала маменька, раз и навсегда определив свое отношение ко вселенной.

«Нота бене, — замечает по этому поводу ее сын. — Маменька, по тогдашнему времени, были неграмотные и потому не могли знать, что никак невозможно отделить вишневку от вселенной. Да, конечно, — обосновал он свою мысль, — куда вы вселенную ни перенесете, а вишневку где оставите? На чем утвердите, поставите? Никак невозможно».

Вот он — просвещенный ум! Уже по одному этому высказыванию видно, что Трушко Халявский пошел значительно дальше своей маменьки, хотя и прикидывается простачком.

Все-таки он живет не в минувшем, восемнадцатом, а в нынешнем, девятнадцатом, веке. Хотя душа его, его любовь остались там, в восемнадцатом,

но живет-то он в девятнадцатом веке. А это далеко не одно и то же — век нынешний и век минувший. Современник Халявского — из молодых, да, судя по всему, ранних — верно заметил: «Как посравнить, да посмотреть век нынешний и век минувший — свежо предание, а верится с трудом».

Им-то, молодым, не верится, а Трушко Халявский был сам свидетелем этих преданий. Каково же ему было стать свидетелем перемен?

Судите сами: у соседа Марка Тимофеевича дом был обмазан желтой глиной и в глазах всего света зарекомендовал себя как дом, обмазанный желтой глиной. И вдруг он побелел — отчего бы это? Оттого, что его побелили. Век не белили, а тут — побелили. Вот так перекрасят целый свет — только диву дашься, когда спохватишься. Где он теперь, ласкающий глаз и тешащий душу минувший век?

Старики еще помнят, как панночки играли в камешки. Один камешек подбросят, другой поймают — ну прямо сердце радуется! А сейчас? Где вы сейчас такое увидите? «Ужас, до чего свет переменялся!»

Этот ужас пана Халявского, рожденный происходящими в мире переменами, не разделяет автор «Пана Халявского» Григорий Федорович Квитка-Основьяненко, но делает вид, что разделяет. Однако о его истинном отношении к переменам легко догадается читатель, умеющий понимать иронию.

Ирония, этот убийственный прием сатиры, — своего рода диверсия в тылу неприятеля. Внешне вы вроде бы укрепляете позиции неприятеля, а на самом деле разрушаете их. Внешне восхваляете, но восхваляете так, что от восхваляемого не остается камня на камне. «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834) Гоголя, «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837) Диккенса, «Пан Халявский» (1839) Квитки-

Основьяненко — все эти произведения, вышедшие почти одновременно, являются образцами этого разоблачительного восхваления, отрицающего утверждения, что и составляет суть иронии как литературного приема.

«...Предавшись воспоминаниям и сравнивая прошедшее с давно прошедшим, а настоящее со всем вообще прошедшим, увидел большую разницу», — глубокомысленно замечает пан Халявский. Но и в этих, казалось бы, безобидных словах сквозит далеко не безобидная ирония автора. Разница-то ведь, в сущности, совсем небольшая. Ну, перекрасили дом в другой цвет. Ну, барыни стали иначе падать в обморок: маменька падала «от всякого сильного чувства», а невестка падает, когда поблизости гувернер ее сына, — ей нравится, как он ее поддерживает. Кстати, и гувернер — это тоже новое: вместо своих отечественных безграмотных учителей теперь берут к детям безграмотных французов. Но в остальном старина процветает, не умирает старина!

Все дело в том, что минувшее и нынешнее в жизни не разделены так, как они разделены во времени, они существуют рядом и порой даже уживаются в одном человеке. И вот ирония жизни — уже не авторская ирония, а ирония судьбы: век нынешний и век минувший уживались даже в таком человеке, как автор «Пана Халявского» Квитка-Основьяненко.

Родившись в 1778 году и прожив большую часть своей жизни в следующем веке, он биографически принадлежал двум векам. Но двум векам он принадлежал не только биографически. Всю жизнь он боролся за новое, пытаясь как-то согласовать его со старым.

Он родился в богатой, но просвещенной семье. С одной стороны — двести душ крепостных, а с другой — ярый враг крепостничества Григорий Сково-

рода в качестве друга дома. С одной стороны — писатель Квитка-Основьяненко разоблачает дворянские выборы (в комедии «Дворянские выборы»), а с другой — избирается сам в предводители дворянства. С одной стороны — как предводитель дворянства и впоследствии как председатель совестного суда, а затем — председатель Харьковской палаты уголовного суда, — он защищает интересы крестьян, а с другой — защищает интересы помещиков и обращается к крестьянам с призывом честно и преданно служить своим господам («Письма к любезным землякам»). Частью своего творчества он еще в классицизме, но частью (особенно «Паном Халявским») — уже в реализме. Он еще пытается противопоставлять пустолобовым, дряневым, ненасытным, выжималовым и староплутовым положительные образы благосудовых, достойновых, скромных, но уже задается вопросом (в письме к П. А. Плетневу): «...добродетельных людей, честных чиновников и вообще исполняющих свое дело к чему описывать?»

Весь Квитка-Основьяненко состоит из этих *еще* и *уже*. Но его *еще*, как это всегда бывает, остались там, в минувших веках, а его *уже* — живут и продолжают в нынешних.

2

Предки Квитки известны на Украине с семнадцатого века. Они участвовали и в основании Харькова, и в борьбе против татар, и в персидских и крымских походах. Григорий Федорович Квитка-Основьяненко чтит память своих предков и рассказал о них в очерке «Основание Харькова». Но, не желая быть на иждивении у чужой славы, он взял себе скромный псевдоним — Основьяненко — по названию

своего родного села Основа, старшего соседа города Харькова.

Предки Трушка Халявского тоже были не лыком шиты. Их родоначальник, служивший истопником у польского короля, прихлопнул халявой (голенищем) мышь, вторгшуюся в монаршьи пределы. За это он был пожалован дворянством и гербом с соответствующим изображением: халявой, простертой над поверженной мышью.

Конечно, это не татарское нашествие, но вовремя поднятая и опущенная халява положила начало доблестному роду Халявских и избавила его потомков от необходимости совершать другие доблестные дела.

Однако, не обязывая к делам, она обязывала свято блюсти честь своего рода, чтобы, упаси боже, не ударить этой достославной халявой в грязь.

Казалось бы, чего проще: пригласить знакомого полковника на обед? Но просто пригласить его на обед — не так просто. Полковник не может обедать в присутствии каких-нибудь двадцати гостей. Тут нужно созывать не меньше сотни. Потому что у пана полковника в роду тоже была своя халява, подкрепленная к тому же чином полковника. И, помня об этом, пан полковник, выходя во время обеда по какой-либо надобности, зычно крикнет своим людям: «А нуте же — сурмите, сурмите: вот я иду!» И люди его затрубят, ударят в барабаны — так, словно полковник отправляется в ратный поход, а не делает разминку между десятым и одиннадцатым блюдом.

Почему же потомственный дворянин Квитка не мог довольствоваться тем, чем довольствовался его герой? Разве его прославленная фамилия Квитка не трубила сама по себе? Зачем же ему понадобилась эта безвестная фамилия — Основьяненко?

Было время, когда на Украине было всего два директора театра. И не потому, что не хватало директоров, а потому, что не хватало театров. Для того чтобы стать директором театра, нужно было сначала создать театр.

Вот почему на Украине в то время было всего два профессиональных театра: в Полтаве и в Харькове.

И вот почему директорами этих театров были Котляревский и Квитка-Основьяненко, — не просто директора и даже не просто основатели театров, а основатели всей украинской литературы.

Было время, когда на Украине был всего один журнал — «Украинский вестник». Причем, это был не только единственный, но и самый первый на Украине журнал.

И одним из редакторов этого журнала стал бывший директор театра. Не потому, что не хватало редакторов, а потому, что журнала еще не было, его нужно было создать. И первый на Украине журнал взялся создавать директор первого на Украине театра — Квитка-Основьяненко.

Было время, когда на Украине было всего лишь одно учебное заведение, в котором могли обучаться женщины, — Харьковский институт благородных девиц. Одним из основателей этого первого женского учебного заведения стал директор первого на Украине театра, редактор первого на Украине журнала — Квитка-Основьяненко.

Его предки основали Харьков, а сколько он всего основал! Но деятельность его не ограничилась Харьковом.

Ведь было же и такое время, когда в украинской

литературе не было настоящей прозы. Поэзия была, драматургия была — благодаря трудам Котляревского, другого директора театра. А прозы, настоящей прозы, еще не было.

И тогда за ее создание взялся бывший директор театра, бывший редактор журнала, один из основателей первого на Украине женского учебного заведения, один из организаторов Харьковской библиотеки и других культурных, учебных и просветительских учреждений — Григорий Федорович Квитка-Основьяненко. «...В литературе украинской, мелкой, немощной, словно в угол какой-то забитой, на которую мало кто и внимания обращал, появляются значительно раньше, чем где-нибудь, еще в 1829 г., рассказы Квитки-Основьяненко, почерпнутые исключительно из жизни народной...» — писал впоследствии Иван Франко.

Квитка-Основьяненко — и прозаик, и очеркист, и драматург. Его комедии «Шельменко-денщик» и «Сватання на Гончарівці» до сих пор не сходят со сцены. Он умел писать и смешно («Салдацький патрет», «Конотопська відьма»), и остросатирично («Пан Халявський», «Жизнь и похождения Столбикова»), и грустно, даже сентиментально («Маруся», «Сердешна Оксана», «Щира любов»). Он писал и по-украински, и по-русски: лучшая его сентиментально-реалистическая повесть «Маруся» написана по-украински, а лучшая сатирическая повесть, «Пан Халявський», — по-русски.

Деятельность его была чрезвычайно многообразна. Это на него, на Квитку, была написана эпитафия:

Не надивлюся я, создатель,
Какой у нас мудреный век:
Актер, поэт и заседатель —
Один и тот же человек.

И это о нем писал Г. П. Данилевский: «...где возникало что-то новое и нужно было дать толчок, появлялся Основьяненко».

Вот что бывает, когда человек не довольствуется славой имени, доставшегося ему от предков, когда он создает это имя сам, своими делами, своими трудами.

4

Но вернемся к Трушку Халявскому, который, как загадочный Евстигнеев в романе Ильфа и Петрова, «все обедает».

Впрочем, не только обедает. Он еще и завтракает, и все эти завтраки у него на строгом учете: «Лишиться в жизни одного завтрака! Положим, я сегодня буду обедать, завтра тоже будет изобильный завтрак; но где я возьму сегодняшний?»

Для кого-то это, возможно, и небольшая трагедия, но ведь масштабы трагедии всегда соответствуют масштабам личности. У большой личности и трагедии большие, а у маленькой — и трагедии маленькие. В общепринятом измерении маленькие, а для самой этой личности — весьма и весьма большие.

Не однажды было сказано, что масштабы личности определяются масштабами ее интересов. А какие интересы у Трушка Халявского?

К наукам интереса он не питал: «Вместе с прочими науками одна часть была у меня и пресловутой арифметике, которую доминe Галушкинский уверял, что сочинил какой-то китаец Пифагор, фамилии не припомню».

Конечно, Пифагор — это совсем не то имя, которое стоит передавать из рода в род и которое способно облагодетельствовать потомков. А что касает-

ся домине Галушкинского, безродного учителя, то с ним и вовсе нечего было церемониться. Вот если бы его предок, какой-нибудь повар у какого-нибудь короля, накормил бы своего короля галушками так, что они были бы изображены на пожалованном ему гербе, — тогда бы, конечно, Галушкинский был совсем другой человек и с ним обращались бы, может, как с самим паном полковником. При пане полковнике даже старшие по возрасту не смели садиться, а когда пан полковник изволили плевать, тут же кто-нибудь из почтенных стариков бросался затирать плевок его ясновельможности («так в тот век политика была утончена!»).

А с домине Галушкинским обращались не так. Маменька прямо ему говорила: «— Лиха матери дожدهшься, чтоб с моих сыновей был хотя бы один ученый, — и при этом, бывало, сложат шиш, вертят его, вертят и тычут ему к носу, причмокивая».

А то еще плюнут. Конечно, когда поблизости не было пана полковника. Когда был полковник, тогда только он и имел право плевать. А когда полковника не было, маменька частенько плевали, причем «непременно в ту сторону, где в то время мог находиться домин Галушкинский», ненавистный маменьке носитель образования.

Следует сказать, что этот носитель образования нес свою ношу с большим трудом, да и было у него этой ноши — кот наплакал. На вопрос, чем отличается грамматика от пиитики, он отвечал, что грамматика есть грамматика, а отнюдь не пиитика, а пиитика есть пиитика, а отнюдь не грамматика. И, дав такое исчерпывающее определение, самодовольно спрашивал: «Поняли?»

«— Поняли! — вскрикнул я за всех и прежде всех, потому что и тогда не любил и теперь насмерть не люблю рассуждений об ученых предметах и всег-

да стараюсь решительным словом пресечь глубоко-мысленную материю».

Но, конечно, нельзя сказать, что Трушко и его братья не получали совсем никакого образования. Хотя маменька и считала, что ее любимчик Трушко «глупенек от природы», а если еще нахватается всяких премудростей, то и «совсем одуреет», — но и воспитание, и образование маменька старалась ему дать, — правда, в том смысле, в каком понимались эти слова в достопамятном минувшем веке.

Воспитать означало *напитать*, *вскормить*, а *образовать* — придать соответствующий *образ*. Поэтому Трушко имел все основания сказать, что он и его братья были прекрасно воспитаны («такие брюханчики, пузанчики, настоящие бочоночки») и хорошо образованы («платье все по последней моде, волосы на голове завиты, взъерошены, распудрены...»).

Так какого же еще образования нужно этому автору, этому Квитке, называющему себя Основьяненко, зачем он тратит свою жизнь на все эти институты, журналы, театры и вообще на всю эту литературу? Не спится ему, что он за книжки хватается? Конечно, есть превосходные книжки, такие, что даже не дочитаешь до конца: уснешь на первых же страницах. Но разве нельзя без книжки уснуть?

А вот автору «Пана Халявского» не спится. И книжки читает — а все равно не спится. Хочется ему дать людям образование — не в старом, а в новом смысле этого слова.

Минувший век его не одобрит. Да и будущий век одобрит не целиком, будет говорить, что Квитка-Основьяненко не понимал, что одним образованием общества не улучшишь. Потому что общество состоит из крепостных и крепостников, а Квитка хочет, чтобы оно и дальше из них состояло. Квитка поднимает меч

сатиры, но опускает его медленно, чтобы не зацепить устоев своего общества и кого-нибудь из тех, кто охраняет эти устои. Он засыпает редактора «Современника» Плетнева письмами, умоляя не печатать подготовленный к печати роман «Жизнь и происхождения Столбикова», потому что «дворяне, судьи, предводители, полицейские, советники, казначеи... коих лица, носящие названия сии, примут на себя, и я от них нигде покоя не найду... А полиция что скажет? А мелкое дворянство? Ужас, ужас и ужас!»

Будущие века строго спрашивают, об этом не следует забывать в нынешнем веке. Писатель не может себе позволить королевскую роскошь: после нас хоть потоп¹. И все же лучше умеренная сатира, чем неумеренное восхваление. Лучше маленькая борьба, чем грандиозная капитуляция.

И вполне понятен гнев реакционного критика Сенковского, который по поводу «Пана Халявского» не скупился на такие выражения, как «провинциальное остроумие», «дрянной, выдохлый губернский яд», «выживший из ума шутник» и другие. Так же понятен, как похвала Белинского: «Пан Халявский» Основьяненка — это превосходная сатира, написанная рукой отличного мастера».

«Пану Халявскому» повезло: он успел выйти в свет, не изувеченный авторской самоцензурой. Другим сатирическим произведениям Квитки повезло меньше: слишком напугала автора реакционная критика и все эти «дворяне, судьи, предводители, полицейские, советники, казначеи».

«Что скажет полиция?»

Этот красноречивый вопрос содержит в себе ответ на многие вопросы. Он свидетельствует не толь-

¹Фраза французского короля Людовика XV.

ко о нелегкой судьбе писателя, вынужденного за каждой фразой оглядываться на полицию, но и о признании огромной роли литературы, на усмирение которой мобилизованы самые мощные государственные учреждения.

Трушко Халявский мог бы напомнить своему автору весьма ироническое и, признаться, довольно смешное описание подвигов братьев Халявских: «Петрусь... одушевленный храбростью и неустрашимостью, пустился бежать что есть духу. Почтенный наставник, разжигаемый тем же духом мужества, бежал вместе с ним. Павлусь тоже пустился было по следам храбрых, но, как был слабосилен... не мог никак бежать за героями».

Трушко мог бы напомнить автору это место, он мог бы спросить словами своего современника, почтенного человека, осмеянного другим автором, из нынешних, молодых: «Чему смеетесь, Григорий Федорович? Не над собой ли смеетесь? Разве для того вы подняли меч, чтобы бежать с этим поднятым мечом от врага, и даже не от врага, а от своего же собственного романа?»

Так мог бы спросить Трушко Халявский, но он не спросит. Потому что он не читал ни Гоголя, ни вообще каких-либо книг, — даже тех книг, которые достались ему в наследство и которые он так ловко делил со своими братьями: первый том — старшему брату, второй том — среднему брату и так далее.

Трушко не спросит, потому что минувший век таких вопросов не задает. Такие вопросы задает будущий век, спрашивая с писателя по всей строгости. Но, осудив писателя за проявленное малодушие, он не забудет и величия его души, и величия его дела, и всего, что может служить не минувшим, а будущим векам.

А пана Халявского будущий век запомнит совсем не из-за пана Халявского и даже не из-за халявы его пресловутого предка, а единственно потому, что автор его, критикуемый и прославляемый Квитка-Основьяненко, ввел его, пана Халявского, в большую, хотя и не читаемую халявскими, литературу, — не для славы его ввел, а для ославления, чтоб посмеяться не только над ним, а над всем, что будущий век считает минувшим веком.

5

Справедливо говорила маменька: глупенек был ее Трушко, глупенек. Хотя и любила она его больше других детей — за то, что он в любую минуту съедал, что ни дадут, — но желудок его вмещал больше, чем могла вместить его голова. Его ум, как он сам впоследствии признавал, только притворялся, что все постиг, а потом взял да и выкинул из себя даже то, что было постигнуто.

Но, может, в этом был особенный смысл? Может, ум его просто себя облегчал, чтоб не носить этого непосильного груза?

Ну, подумаешь, ум чего-то там не вмещал... Это ведь сейчас глупость считают недостатком ума, а прежде она от ума совсем не зависела. Человек мог всю жизнь совершать одни глупости и при этом считаться умным человеком.

Вот хотя бы папенька Трушка. Маменька ведь не зря ему говорила: «— Человек вы умный, и умнее вас я в свой век никого не знавала и не видела, а что ни скажете, что ни сделаете, то все это так глупо, что совершенно надобно удивляться, плюнуть... (и маменька плюнула, как уже плевали не раз: так в тот век политика была утончена!)».

Поди ж после этого доказывай, что глупость — это отсутствие ума, а ум — отсутствие глупости. Подумаешь об этом, подумаешь да по примеру брата Павлуса зевнешь «при выходе из размышлений».

Да и не глупость это у Трушка, это просто неприспособленность к мысли. Отсюда у него и неприспособленность к жизни, вернее, приспособленность лишь до тех пор, пока она повернута к нему безмятежной своей стороной. Любая же другая сторона жизни оборачивается сплошными неприятностями.

Как тут не посочувствовать беспомощному дворянскому сынку? Ведь вообще-то он не злой человек, он даже добрый. Но доброта у него — от доверчивости, а доверчивость — от беспомощности. Не был бы он беспомощным, не был бы он и добрым.

Он и не скуп, Трушко, он даже бывает щедрым, но щедрость его от незнания ничему цены. Он с детства привык, что всё есть, а раз всё есть, то оно ничего не стоит. Благодаря своему воспитанию Трушко на всю жизнь сохранил широко открытые младенческие глаза. Он с гордостью сообщает, как земляки слушали о его похождениях в Петербурге: «Они слушали меня, разинув рты, а некоторые и дремали». Он возмущается поручиками, которые вертятся вокруг его жены: «...зачем эти поручики в армии существуют? Всех бы их либо произвести, либо чины снять, лишь бы истребить этот ненавистный для меня сорт людей. Я не скажу ничего больше, но я терпеть их не могу!»

Он ни к чему не приспособлен: ни к Петербургу, ни к своему имению, которое ему лишь с чужой помощью удастся сделать своим, ни к собственной жене своей, ни к детям своим, ни к внукам. Да его по-настоящему ничто и не интересует. («Ну, да в сторону их, займемся собою».) Единственное, к чему приспособлен Трушко, это к минувшему веку, где

у него была маменька, он приспособлен был только к маменьке и таким остался в нынешний век. Вот почему он тоскует о веке минувшем.

Там, в минувшем веке, осталось у Трушка Халявского милое его сердцу семейство Простаковых, которые были наполовину Скотининными и чаще проявляли себя именно как Скотинины, а не как Простаковы. Наказанные своим автором в комедии, за пределами комедии они продолжали действовать безнаказанно, как это нередко бывает, и почтенный Митрофан Терентьевич, по батюшке Простаков, оставался матушкиным сыном, то есть Скотининым.

Где он сейчас, Митрофан Терентьевич, что поделывает в нынешнем веке? И где оно вообще, все минувшее? Зачем стал минувшим минувший век?

Автор «Пана Халявского» не разделяет тоски своего героя, хотя делает вид, будто разделяет. Он осуждает минувший век, восхваляя его устами своего героя. Он осуждает восхвалением, применяя испытанный сатирический прием, хотя в некоторых других своих произведениях, идя на уступку своему сословию, с которым он боится порвать, своему строю, который он старается сохранить, своему ограниченному, консервативному мировоззрению, — он восхваляет — восхваляя, — то есть применяет прием, в сатире недозволенный.

В этом смысле «Пану Халявскому» повезло. И это победа не только автора, но и его героя.

Парадоксально, но это так.

Автор осуждает своего героя, автор разоблачает своего героя... Но вместе с тем любой сатирический герой — не враг, а союзник автора. Фамусов — союзник Грибоедова, Плюшкин — союзник Гоголя, Иудушка Головлев — союзник Щедрина. Потому что настоящая борьба ведется в жизни, а не в литературе, и сатирические персонажи участвуют именно

в этой борьбе, они помогают разоблачать то, что заслуживает разоблачения.

Михаил Семенович Щепкин, замечательный русский артист (начинавший, кстати, свою актерскую деятельность в театре, директором которого был Квитка-Основьяненко), писал Гоголю по поводу его поправок к «Ревизору»: «...до сих пор я изучал всех героев «Ревизора», как живых людей; я так видел много знакомого, я так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским... Я их люблю, люблю со всеми слабостями... Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился... Нет, я их вам не дам! Не дам! пока существую. После меня переделайте хоть в козлов, а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог».

Вот что такое сатирический персонаж. Он — участник более серьезной борьбы, не ограниченной придуманным автором сюжетом, и на счету его не меньше, а зачастую больше побед, чем на счету положительных персонажей (пример тому — вся русская литература XIX века). Он борется против себя, он отрицает себя, утверждая, как правило, свою противоположность.

Вы думаете, тому же Плюшкину не хотелось бы быть лучше, чем он есть? Ему хотелось бы быть лучше, но он не имеет права быть лучше, пока в жизни существуют люди такие, как он. Не отвлеченные страсти, не общечеловеческие пороки, а живые люди, такие, как он. Вот почему так дорог Щепкину Держиморда. Потому что литературный Держиморда ведет борьбу не за, а против тех держиморд, которые существуют в жизни, а не в литературе.

И пан Халявский дорог Квитке-Основьяненко.

Автор смеется над ним, но это смех не над ним, а над его прототипами, над теми, которые в жизни не менее смешны, но над которыми в жизни не у каждого хватит мужества посмеяться.

Сравнение прошедшего с давно прошедшим — так ли оно важно в настоящем? Оно важно, потому что настоящее рождено прошедшим и, по естественному закону рождения, унаследовало некоторые его черты.

Спор между прошедшим и давно прошедшим решен в пользу настоящего. То, что было настоящим для Квитки, умершего в 1843 году, стало прошедшим, а затем и давно прошедшим. Этого настоящего Квитка не понимал, он не понимал тех процессов, свидетелем которых он был: ни роста антикрепостнического движения, ни первых революционных выступлений. Но его герой, пан Халявский, вместе с другими сатирическими персонажами русской и украинской литературы, уже одним своим появлением обличал бесчеловечность, невежество и тупость многочисленных реальных халевских, цеплявшихся за минувшее, чтобы удержать общество от естественного прогресса.

Спор между прошедшим и давно прошедшим решен, но спор между настоящим и прошедшим продолжается. И в этом споре принимает участие прогрессивная литература прошлого и прогрессивная литература настоящего, которая всегда — на стороне будущего. Потому-то она и бессмертна, литература, что она всегда — на стороне будущего. Не того будущего, которое торопится стать настоящим, а там, глядишь, и переметнется на сторону прошедшего, — а будущего, которое всегда остается будущим, в каком бы веке оно ни родилось. Потому что у него, у Будущего, есть только рождение, а смерти — нет.

Ф. Кривин

ПАН ХАЛЯВСКИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Тыфу ты, пропасть, как я посмотрю! Не наудивляешься, право, как свет изменяется!.. Да во всем: и в просвещении, и в обхождении, и во вкусе, и в политике, так что не успеешь приглядеться к чему-нибудь, смотри — уже опять новое. Вон, чтоб не далеко ходить, у моего соседа, у Марка Тихоновича, от деда и отца дом был обмазан желтою глиною; ну, вот и был; вот мы все смотрели, видели и знали, что он желтый; как вдруг — поди! — он возьми его да и выбели! И стал теперь белый, вот как бумага. Кто их знает? А все соседки поговаривают, что чуть ли это не молодая невестка — что недавно сына женили, — так не она ли выкинула этакую штуку? И то станется: она в пансионе воспитывалась — любит все переменять.

Все гоняются за просвещением. Дяденька мой, Фома Лукич, и сохрани бог подать одну свечку в комнату!.. «Тоска, голубчик, берет, — тотчас скажет, — при одной свечке сидеть: и на том свете насидимся во тьме; подавай побольше». Вот и подадут четыре свечи ему, да по две в проходную, да в столовую, да сюда, да туда, ан сколько в вечер сгорит. А ведь что четыре свечи, то и фунт. А к чему, а на что? Мой троюродный братец, Ва-

сий Дмитрий, затеял дом о двенадцати покоех да о двадцати окнах. «Не люблю тьмы, — рассуждает братец мой. — Светло так светло». Так, ни слова. Но зимою каково? Лишнее окно зимнее, стекла, обмазка, да и дров больше нужно, нежели в уютной — об одном, о двух окнах — комнате. Сосед мой, Трофим Иванович, ни одни именины и рождения в семье его не празднуются без плошек и смоляных бочек. «Пускай, говорит, всем светло, когда я гуляю...» Так, мысль прекрасная! Но, дяденька, братец и соседка, сосчитайте, что у вас на ваши прихоти лишнего в год изойдет, так вот вам и просвещение! А по старинке бы? Перед собой огарочек, где ночничок, а где из другой и третьей комнаты позаимствоваться светом. В комнатах не окна, а окошечки; да и то в зале два, три, а у прочих и по одному. К чему бочки и плошки? Была бы кухня исправна, найдутся усердные поздравители и нажелают столько, что и на два века вдоволь. Так куда!..

Об образовании и говорить нечего. Взгляните на всех наших паньчей, приезжающих на вакации из университета: тот ли образ и подобие у них, какой был у нас, отцов их? Где — косы, где — плетешки, где выстриженный и взъерошенный вержет?¹ Изменилось, изменилось образование!

Вкус также потерян. Где прежние водки — красная мастихинная, кардамонная с золотом, инбирная коричневая, зеленая? Еще только внесут этот судок с шестью карафинами² — и называвшийся прилично — кабачок, так по комнатам пойдет аромат, — истинно аромат, так теперь обоняю. А когда станешь пить, то, право слово, — наслаждение! Одной выпьешь, — уже на другую позовет. Да, вы-

¹ Вержет — кок.

² Карафины — графины.

пивши, уст не разведешь: так и слипнутся. А теперь? Хотя бы и у нашего предводителя... что это за водка? Совсем отличного колера, не прежнего вкуса. О винах говорить нечего. Хороши, канальские, да все уже не тот, не прежний вкус, которым мы наслаждались, пивши наши наливки! Нет, именно изменился вкус!

Политика приняла совсем другое направление — если говорить штатским языком, а просто — переменялась вовсе. Прежде бывало так: святками вот я и поеду к соседу, у кого по очереди все съехались. Вхожу, расшаркаюсь, всем общий поклон, да и пошел к ручкам всех дам и девиц подходить, как сидят в ряд, знакомых и незнакомых; да и какая мне нужда, что она незнакома? Всем делаешь честь и бережешься, чтобы не пропустить ни одной и тем без умысла не обидеть. Иная, приехав недавно, не успела теплых перчаток снять: по ряду подойдешь к ней: вот она хватъ-хватъ за перчатку; рука вспотела, пальцы отекли, перчатка не слезает, уже она и зубами тащит, уж она рвет ее, а перчатка, хоть ты что, так не лезет... Видишь, что бедная барышня мучится, вся вспотела, от конфузии покраснела, как калина, сжалишься над нею, скажешь: «Не беспокойтесь, сударыня! Все равно, пожалуйста и так». И хотя в перчатку, да сделаешь честь — поцелуешь. Тут же, только тебя усадили за жирные пироги, из которых сок так и течет от изобильной приправы масла и сметаны, вдруг входит одна из дочерей хозяйских или и чужая барышня, которой не было при моем приезде, и я с нею не виделся (то есть не подходил к ее руке), то я бросаю пирог и, как салфетки при завтраке не бывает, обтираю свой замасленный и засметаненный рот носовым платком, а если позабыл его дома, то ладонью, и подхожу к ручке новопришедшей барышни. Не дай бог

кого пропустить! Тотчас прозовут гордым. Оно таки и вежливо, политика того требует, а теперь и политика изменилася!

Определился в наш земский суд секретарем из приказных гражданской палаты молодой человек, как бы ни было, губернский секретарь. Вот, как нужный человек, мы давай его приглашать. В первый съезд, вот у Тимофея Васильевича... нет, лгу, — у Петра Степановича, — смотрим — он входит... Ведь то-то и жаль! Роста и фигуры порядочной, немного прихрамывает, но в бланжевых нанковых широких брюках; жилет из красной аладжи, в белой — хорошо собранной — манишке; блестящие перламутровые на ней пуговики и булавка с изображением мухи — простой, но так натурально сделанной, словно вот живая прилетела и села; сюртучок на нем голубого камлота, ловко сшитый, нараспашку; по всему-таки видно, что этот человек бывал в губернском городе в лучших обществах. Пожалуйте, к чему это я его привел?.. Да! вот такой-то человек вошел в наше общество, и... кив, кив головою на все стороны — и сел себе на первом попавшемся стуле, не дав хозяину и припросить тебя, чтобы сел. Не забудьте же, что тут было дам и девиц с лишком около двадцати, и много ему уже знакомых, а он ни к одной не подошел... Ну, божусь же вам честью, что ни к одной не подошел. Не верите, — спросите у тех, кто там был, все вам то же скажут... Так вот — теперешняя политика в губернских городах!.. Что ж? Этого мало. На него глядя и наша вся молодежь по его следам идет, и хоть ты разрекомендуй, что это, дескать, моя жена, а это мои дочери, — ничего не бывало! Подойдет к самому носу хозяйки и видит же, что та сняла уже перчатку и, почитай, руку протянула, — нет! он кивнет головой — и вся такова! — Бедные наши барышни!

Хоть целый день просиди в перчатках, никто не потревожит! Вот тебе и политика.

А обхождение?.. О! обхождение вывелось. Я на все буду вам — как выражается мой старший внук — буду представлять факты. Обедал я в губернском городе у живущего там старинного моего приятеля, — а может, и вы его знаете, — Осипа Дмитриевича... Что ж? Во весь обед хоть бы он раз встал да обошел гостей, да припросил, чтобы больше кушали и пили; и, коли правду сказать, так и около себя сидящих не просил о том, сам же кушал все исправно. Прежде же, когда, бывало, у него обедают гости, так он не присядет, все обходит и все упрасивает: «И это скушай, и того прибавь, и сего выпей». Ну, словом, из души прет, а он умаливает, а он сует, а он подкладывает: закормит, бывало, и запоит... Я, теперь сидя у него за обедом, надеясь на прежнее обхождение, с некоторыми блюдами и рюмками пасовал, жду: вот хозяин встанет, подойдет, припросит... Не тут-то было!.. А оттого и встал с порядочною проголодью. Впредь таков не буду. Правилom поставил, что подают — ем и пью, не ожидая просьб хозяйских, и всегда доволен. Но как необходимо приноравливаться к обычаям света, или — как говорят внуки мои — идти за веком, то я по совету с женою отменил и у себя всякое обхождение. На нас глядя и у соседей оно отменено. Пошли новые обычаи.

И с наших ли дней свет начал изменяться? Куда?.. Семьдесят лет живу на свете, и сколько я видел перемен! батюшки мои!..

Как-то мы с женой были в разладе. Уединясь в свой кабинет, я впал в меланхолию и предался сравнениям, как бывало прежде, и как идет ныне, как обращался мой батенька с маменькою, как они были им послушны, и как, напротив, живу я, сын

их, с моею женою, и уже не она мне, а я ей послушен. Это завлекло меня в глубь событий жизни моей; предавшись воспоминаниям и сравнивая прошедшее с давно прошедшим, а настоящее со всем вообще прошедшим, увидел большую разницу. Удивление мое подстрекнуло меня изложить все на бумаге, то есть описать главнейшие периоды жизни моей и любопытнейшие эпохи или случаи, со мной встречавшиеся.

Пусть это будет старости в наслаждение, а юности в наставление.

Начинаю с начала, то есть от самого детства моего.

У наших батеньки и маменьки нас, детей, всего было: Петруся, Павлуся, Трофимка, Сидорушка, Офремушка, Егорушка и Сонька, Верка, Надежда и Любка; шесть сынков-молодцов и четыре дочери — всего десять штук... Мы, сыновья, получали имена по-тогдашнему, по имени того дня, в который рождались; а дочерей батенька желали иметь по числу добродетелей и начали с премудрости... Были утешены, что уже хотя в конце супружеской их жизни явилась у них любовь. Несмотря ни на что, маменька все уверяли, что у них должен быть еще сын; но, когда батенька возражали на это, что уже и так довольно и что не должно против натуры идти, то маменька, не понимая ничего, потому что российской грамоты не знали, настаивали на своем и даже открыли, что они видели видение, что у них будет-де сын и коего должно назвать Дмитриюшею. Батенька поверили было маменькиному видению, но по прошествии нескольких недель начали возражать, что маменьке явилось ложное видение. Маменька плакали (они были очень слезливы: чуть услышат что печальное, страшное или не по их чувствам и воле, тотчас примутся в слезы; такая

была их натура) и уверяли, что точно должно быть у них сыну, но батенька решительно сказали: «Это у тебя, душко, мехлиодия!» Так батенька называли меланхолию, которой приписывали все несбыточные затеи. Тем и заключилось умножение нашего семейства к пользе благосостояния нашего.

Правду сказать, не все сынки были молодцы: один из нас, Павлуся, был горбат от неприсмотра нянек, которых за каждым из нас было по две, потому что батенька были богатый человек. Павлуся как-то оступился и упал с крыльца, а крыльцо было высокое; с него один наш Сидорушка — о! да и проворная же был штука! — мог только прыгать; следовательно, можете посудить, как оно было высоко! Так вот с этого-то крыльца Павлуся скатился вниз и повредил себя. Няньки тогда не сказали маменьке, да уже на пятом году возраста его увидели, что у него горб растет сзади. Досталось же тогда нянькам! Я думаю, что если они живы еще, то и теперь помнят благодарность батеньки и маменьки за присмотр Павлуся.

Брат Юрочка и сестра Любочка были у нас последние. У всех нас оспа была натуральная, и мы из рук ее вышли не вовсе изуродованными. Но у последних брата и сестры оспа была прививная, о которой батенька, прослышав, что она входит в моду, захотели привить своим детям. Для сего они приказали старому нашему Кондрату, — который, понаслышке, рвал зубы и оттого назывался «цылюрыком»¹, — так этому медику батенька растолковавши, как они об оспе слышали, приказали ему привить. Маменька плакали, убивались и несколько раз хотели сомлеть (что теперь называется — в

¹ Цылюрык — цирюльник, выполнявший в те времена, кроме стрижки и бритья, некоторые хирургические операции.



обморок упасть), однако не сомлевали, а ушли в другую горницу и шепотом укоряли батеньку, что они тиран, живьем зарезывают детей своих.

Батенька этого не слыхали, а если бы и слышали, то это бы их не удержало. Они были очень благоразумны и почитали, что никто и ничего умнее их не выдумает; и маменька в том соглашались, но не во всяком случае, как увидим далее...

Пожалуйте. Оспа пристала, да какая! Так отхлестала бедных малюток и так изуродовала, что страшно было смотреть на них. Маменька, когда увидели сих детей своих, то, вздохнувши тяжело, покачали головою и сказали: «А что мне в таких детях? Хоть брось их! Вот уже трех моих рождений

выкидываю из моего сердца, хотя и они кровь моя. Как их любить наравне с прочими детьми! Пропали только мои труды и болезни!» И маменька навсегда сдержали слово: Павлусю, Юрочку и Любочку они никогда не любили за их безобразие.

Нас воспитывали со всем старанием и заботливостью и, правду сказать, не щадили ничего. Утром всегда уже была для нас молочная каша, или лапша в молоке, или яичница. Мяса по утрам не давали для здоровья, и хотя мы с жадностью кидались к оловянному блюду, в коем была наша пища, и скоро уписывали все, но няньки подливали нам снова и заставляли, часто с толчками, чтобы мы еще ели, потому, говорили они, что маменька с них будут взыскивать, когда дети мало покушали из приготовленного. И мы, натужась и собравшись с силами, еще ели до самого нельзя.

После завтрака нас вели к батеньке челом отдать, а потом за тем же к маменьке. Как же маменька любили плотно позавтракать и всегда в одиночку, без батеньки, то мы и находили у нее либо блины, либо пироги, а в постные дни пампушки или горофяники¹. Маменька и уделяли нам порядочные порции и приказывали, чтобы тут же при них съесть все, а не носиться с пищею, как собака-де.

Отпустивши прочих детей, маменька удерживали меня при себе и тут доставали из шкафчика особую, приготовленную отлично порцию блинов или пирогов с изобилием масла, сметаны и тому подобных славностей. «Покушай, душко Трушко (Трофимушка), — приговаривали маменька, глядя меня по голове, — старшие больше едят, и тебе мало достается». Управившись с этим, я получал от маменьки либо яблочко, либо какую-нибудь сла-

¹ Г о р о ф я н и к и — гороховые лепешки.

дость на закуску и всегда с приказанием: «Съешь тут, не показывай братьям; те, головорезы, отнимут все у тебя». Такое отличие вразумило меня, что я маменькин «пестунчик» (любимец), что и подтвердилось потом. Но за что я попал в такую честь, хоть убейте меня, не знаю!.. Видно — по маменькиной комплекции.

Отдавши челом батеньке и маменьке, нас высылали в сад пробегаться. Дворовые ребяташки нас ожидали — и началась потеха. Бегали взапуски, лазили по деревьям; ломали ветви, и когда были на них плоды (хотя бы еще только зародыши), то мы тут же их и объедали; разоряли птичьи гнезда, а особенно воробьиные. Птенцам их тут же откручивали головки, и старым, когда излавливали, не было пощады. Нас так и наставляли: маменька не один раз нам изъясняли, что воробей между птицами — то же, что жид между людьми, и потому щадить их не должно. Маменька хотя и неграмотные были, но имели отличную память: и в старости не забывали историй, слыханных ими в детстве.

Среди таких невинных игр и забав нас позовут обедать. Это всегда бывало к полудню. Борщ с кормленою птицею, чудеснейший, салом свиным заправленный и сметаною забеленный, — прелесть! Таких борщей я уже не нахожу нигде. Я, по счастью моему, был в Петербурге, — не из тщеславия хваюсь этим, а к речи пришлось, — обедал у порядочных людей и даже обедал в «Лондоне», да не в том Лондоне, что есть в самой Англии город, а просто большой дом, не знаю, почему «Лондоном» называемый, так я, и там обедая, — духа такого борща не видал. Где ты, святая старина!

К борщу подавали нам по большому куску пшенной каши, облитой коровьим маслом. Потом мясо

из борща разрежет тебе нянька кусочками на деревянной тарелке и сверх еще присолит крупною, невымытою солью — тогда еще была натура: так и уписывай. Потом дадут ногу большого, жирнейшего гуся или индюка: грызи зубами, обгрызывать кость до последнего, а жир — верите ли? — так и течет по рукам; когда не успеешь обсосать тут же рук, то и на платье потечет, особливо если нянька, обязанная утирать нам рот, заезвается. Посмей же не съесть всего, что положено тебе на тарелку, то маменька, кроме того что станут бранить, а под сердитый час и ложкою шлепнут по лбу. «Ешь, дурак, не умничай» — и перестанешь умничать и выскребешь с оловянной тарелки или примешься выедать мясо от кости до последней плевочки. Спасибо, тогда ни у нас и нигде не было серебряных ложек, а все деревянные: так оно и не больно; тогда загудит в голове, как будто в пустом котлике.

После обеда батенька с маменькой лягут в спальне опочивать, а дети идут в сад, на улицу, лезут по деревьям, плетням, крышам изб и тому подобное. Когда же батенька и маменька проснутся, тогда позовут детей к лакомству. Тут нам вынесут или орехов, или яблоков, пастилы, повидла или чего-нибудь в этом роде и прикажут разделиться дружно, поровну и отнюдь не ссориться. Чего же? Только лишь Петруся, как старший брат, начинает делить и откладывает свою часть, мы подстаршие, в крик, что он несправедливо делит и для себя берет больше. Он нас не уважит, а мы — цап-царап! — и принялись хватать без счета и меры. Сестры и младшие дети, как обиженные в этом разделе, начнут кричать, плакать... Батенька, слышим, идут, чтоб унять и поправить беспорядок, а мы, завладевшие насильно, благим матом — на голубятню, втащим за собой и лестницу и, сидя там, не боимся



ничего, зная, что когда вечером слезем, то уже никто и не вспомнит о сделанной нами обиде другим.

Что бы мы ни делили между собой, раздел всегда оканчивался ссорой и в пользу одного из нас, что заставило горбунчика Павлусю сказать один раз при подобном разделе: «Ах, душечки братцы и сестрицы! Когда бы вы скорее все померли, чтобы мне не с кем было делиться и ссориться!»

В полдник нам давали молоко, сметану, творог, яичницы разных сортов — и всего вдоволь. Потом, к вечеру, мы «подвечерковывали»: обыкновенно тут давали нам холодное жаркое, оставшееся от обеда, вновь зажаренного поросенка и еще что-нибудь подобное. А при заходе солнца ужинать: галушки вздобные в молоке, «квасок» (особенное мясное кушанье с луком, и что за превкусное! В лучших домах, за пышными столами, его не видать уже!),

колбаса, шипящая на сковороде, и всегда вареники, плавающие в масле и облитые сметаной. Приказ от маменьки был прежний: есть побольше: ночью, мол, не дадут.

Описав домашнее наше времяпровождение, не излишним почитаю изложить и о делаемых батенькою «банкетах» в уреченные дни года. И что это были за банкеты!.. Куда! В нынешнее время и не приснится никому задать такой банкет, и тени подобного не увидишь!.. а еще говорят, что все вдались в роскошь! Да какая была во всем чинность и регула!..

Когда батенька задумывали поднять банкет, то заблаговременно объявляли маменьке, которые, бывало, тотчас принимаются вздыхать, а иногда и всплакнут. Конечно, они имели к тому большой предлог. Посудите: для одного банкета требовалось курей пятьдесят, уток двадцать, гусей столько же, поросят десять. Кабана непременно должно было убить, несколько баранов зарезать и убить целую яловицу. Все же это откормленное, упитанное зерном отборным. Ах, какие маменька были мастерицы выкармливать птицу или в особенности кабанов! Навряд ли из теперешних молодых барынь-хозяек знают все способы к тому, да и занимаются ли, полно, этой важною частью! Поверьте моему слову, что когда, бывало, убьют кабана — так у него, каналы, сала на целую ладонь, кроме что все мясо поросло салом! А птица — пальцем можно было разделять, а жир с нее во рту не помещается, так и течет!

Надобно сказать, что маменька не вдруг взялась к хозяйству, и сначала много было смешных с ними событий. Расскажу один чувствительный анекдот. Вскоре после замужества их с батенькою приехали к ним семья соседей только пообедать.

Маменька, чтобы хорошенько их угостить, призвав кухаря домашнего, приказали ему зарезать барана и изготовить, что следует. Кухарь, усердный человек к пользам господ своих, начал представлять резоны, что-де мы барана зарежем, да он весь не потребится на стол, половина останется и, по летнему времени, испортится: надо будет выкинуть. «Так ты вот что сделай, — сказали маменька, не долго думавши, — заднюю часть барана употреби на стол, а передняя пусть живет и пасется в поле, пока до случая». Кухарь так и расхохотался. А маменька принялись додумываться, что ему так смешно. Да как додумались и увидели, что они сказали нелепое и смешное, так махнули рукой, покраснели, как вишневка, и ушли от кухаря. После этого полно его держать: отпустили на свободу, а определили кухарку.

Пожалуйте, обратимся к своему предмету. Вот как батенька объявят маменьке о банкете, то сами пошлют в город за «городским кухарем», как всеми назывался человек, в ранге чиновника, всеми чтимого за его необыкновенное художество и искусство готовить обеденные столы; при том же он, при исправлении должности, подвязывал белый фартук и на голову вздевал колпак, все довольно чистое. Этот кухарь явится за пять дней до банкета и прежде всего начнет гулять. Известно, что три дня ему должно было погулять прежде начатия дела! И чего бы он в эти три дня ни спросил, должно все ему поставить; иначе он бросит все, уйдет и ни за что уже не примется. Отгуляв три дня, приступит к работе. Узнав от батеньки, сколько предполагается перемен при столе, он идет с маменькой в саж¹, где кормится живность, и

¹ С а ж — хлев или загородка для откармливания свиней, птиц.

выбирает сам, какую ему будет угодно. Помню и теперь, как маменька стоят у дверей сажа и, приложив руки к груди, жалостно смотрят на выбор кухаря. Когда же он заметит жирнейшую из птиц и обречет ее на смерть, тут маменька ахнут, оботрут слезку из глаз и не вытерпят, чтоб не шепнуть: «А чтоб ты сам лопнул! Самую жирнейшую взял, теперь весь саж хоть брось!» Впрочем, маменька это делали не от скупости и не жалея подать гостям лучшее, а так: любили, чтоб всего было много в запасе и чтобы все было лучшее. Они, бывало, и гостям хвалятся, что благословенны природою как изобилием детей, так и домашним скотом, то есть птицею и проч. На завтрашний день убылое место в саже наполнится птицами, которые по времени также будут выкормлены, а о взятых все-таки жалеют. Неизъяснимо сердце, непостижим характер хозяек, подобных маменьке!

Кухарь при помощи десятка баб, взятых с работы, управляет с птицею, поросятами, кореньями, зеленью; булочница дрожит телом и духом, чтобы опара на булки была хороша и чтобы тесто выходилось и булки выпеклись бы на славу; кухарка в другой кухне, с помощницами, также управляет с птицею, выданною ей, но уже не кормленую, а из числа гуляющих на свободе, и приготовляет в больших горшках обед особо для конюхов гостиных, для казаков, препровождающих пана полковника и прочих панов; особо и повкуснее для мелкой шляхты, которые приедут за панами: им не дозволено находиться за общим столом с важными особами. Дворецкий, выдав для вычищения большие оловянные блюда с гербами знаменитого рода Халявских и с вензелями прадеда, деда, отца папенькиных и самого папеньки, сам острит нож и другой про запас, для разбирания при столе птиц и других

мяс. Ключник разливает в кувшины пиво и мед из вновь початых бочек, из которых пробы носил уже к папеньке, и, по одобрению их, распределяет: из каких бочек подавать панам, из каких шляхте, казакам, конюхам и проч. Из бочонков же, особо стоящих и заключающих в себе отличные меда: липец, сахарный и т. п., будет он выдавать к концу стола, чтобы «уложить» гостей. Конюха на конюшенном дворе принимают лучшего овса и ссыпают его в свои закрома; заботятся о привозе сена из лучшего стожка и скидывают его на конюшню, чтобы все это задать гостиним лошадям по приезде их, дабы люди после не осуждали господ: такие-де хозяева, что о лошадях и не позаботились.

Одним словом, всем и каждому пропасть дела и забот, а батеньке и маменьке — более всех. Они каждый за всем смотрят по своей части, все наблюдают, и беда конюху, если он принял овес не чисто вывезанный, сено луговое, а не лучшее из степного; беда ключнику, если кубки не полны нацежены, для лучшего стола приготовлены худшего сорта напитки; беда булочнице, если булки не хорошо испечены; кухарке, если страва (кушанье) для людей не так вкусно и не в достатке изготовлена. Один «городской кухарь» не подлежит осмотру: ему дана полная воля готовить, что знает по своему искусству, и делать, как умеет и как хочет. Зато уже чего требует, все в точности спешат ему выдавать, хотя маменька и не пропустят, чтоб не поворчать: «А чтоб он подавился! какую пропасть требует масла, а рыжу?»¹ а родзынков?»² видимо-невидимо! Охота же Мирону

¹ Рыж — рис.

² Родзынки — изюм.

Осиповичу поднимать банкеты! Шутка ли: четыре раза в год! Не пропасешься ни с чем; того и смотри, что разоримся вовсе». Последние слова маменька произносили шепотом, чтоб батенька не слыхали; а то бы досталось им! Батенька, хотя и были очень политичны, но когда уж им чего захачивалось, так уж поставят на своем. Маменька, не узнавши еще хорошо их комплекции, лет пять назад, бывало, принимаются спорить против них, — так что же?.. Ну, не наше дело рассуждать, а знает про то кофейный шелковый платок, который не раз в таком случае слетал с маменькиной головы, несмотря на то что навязан был на подкапок из синей сахарной бумаги.

Пожалуйте, о чем бишь я говорил? Да, о банкете... Так. Вот в этот торжественный день прежде всего, утром еще, является команда казаков для почетного караула, поелику в доме будет находиться сам пан полковник своею особою. При этой команде всегда находятся сурмы (трубы) и бубны (литавры). Команда и устроит свой караул.

По прошествии утра, днем попозже, так часу в десятом пополудни, съезжаются званные гости. А кого только батенька не звали на банкет к себе? Верст за пятьдесят посылали, никого не пропустили, да все же и собрались. Неприлично же было такую персону, как был в то время его ясновельможность пан полковник, угощать при двадцати только чело-веках; следовало и звать, чести ради гостя, хоть сотню; следовало же всем и приехать, из уважения к такому лицу, и сделать честь батеньке, не маленькому пану по достатку и знатности древнего рода. Кто не имел на чем приехать, тот пешком пришел с семейством, принеся в узелке нарядное платье, потому что тут в простом невозможно было бы показаться. Да посмотрели бы вы, как все гости



разряжены, разубраны! Мужской пол в славных суконных черкесках темных цветов, рукава с веле-тами, то есть назад откидными; под ними кафтан глазетовый¹, блестящий; много-много, когда уже на ком моревый. То платье — знаете, что при дамах неприлично называть — красного сукна, широкое; пояса блестят, точно кованые; за поясом, на золотой или серебряной цепочке — нож с богатою оправой; сапоги сафьяна красного, желтого или зеленого; а

¹ Глазет — парча с шелковой основой.

кто пощеголеватее, так и на высоких подковах; волоса красиво подбриты в кружок, усы приглаженные, опрятные, как называли тогда — «чепурные». А женский пол, в свою очередь, — это прелесть! Кунтуши¹ богатейшей парчи, такой, что и не согнешь; на стану перехвачено, сутою² сеткою выложено; корсеты газетовые; запасочки заморских пестрых материй, плотных, как лубок. На головах кораблики или очипки парчи сутой, как жар горят! Нынешние дамы не сумели бы и надеть кораблик или очипок. На шее — намиста, намиста! Дукатов, еднусов, крестов... Господи, твоя воля! Девушки иные — для полегкости — без кунтушей, в одних юбках, то есть корсетах, и... как бы вам пополичнее сказать?... не стесняя натуры или природы — без рукавов. Но зато какие рукава их рубашек — это заглядение: тонкого холста, кисейные, какие можно вообразить! Да все это вышито преискусно разных цветов шелками, золотом, серебром. Головы убраны — на удивление как прелестно! Косы заплетены мельчайшими пасмами, свиты венками и уложены на макушке, а на лбу положены, одна на другой, разных цветов ленты, а поверх их — золотой газ сутой... Ну, одним словом, это прелесть! Ножки в суконных чулочках, белых или синих; башмачки красные на колодочках. Из-под шелковой плахты³ виднеется «ляхавка», то есть подол сорочки, таким же узором вышитый, как рукава... Так этакая краля невольно обратит глаза на себя одна, — а тут их собралось десятками! Не подумайте, что это они изубыточились и делали себе наряды

¹ К у н т у ш — род верхней одежды.

² С у т о й — пышный, великолепный.

³ П л а х т а — юбка.

для нашего банкета! Совсем нет! Каждая все это получила от матери, а та — от своей матери, и так все выше; теперь носит сама и передаст будущим своим дочерям и внукам. Теперешние сборы на банкет не стоили им ничего более, как кружки ключевой воды, чтобы умыться; а оделись во все готовое. Да как же они хороши! какой здоровый цвет в лицах! какой яркий, живой румянец в щеках! какая свежесть в прелестных глазах! Не мудрено: они ложатся спать ввечеру и с солнцем встают; они...

(Тут все, написанное мною, моя невестка, второго сына жена, женщина модная, воспитанная в пансионе мадам Гросваш, зачернила так, что я не мог разобрать, а повторить — не вспомнил, что написал было. Ну, да и нужды нет. Мы и без того все знаем всё. Гм!)

Вот такие-то гости собрались и сидят чинно. Так, уже к полудню, часов в одиннадцать, сурмы за-сурмили, бубны забили — едет *сам*, едет вельможный пан полковник в своем берлине;¹ машталер² то и дело хлопает бичом на четверню вороных коней, в шорах посеребренных, а они без фореса, по-теперешнему форейтора, идут на одних возжах машталера, сидящего на правой коренной. Убор на машталере и кожа на шорах зеленая, потому что и берлин был зеленый.

Батенька с маменькою вышли встретить его ясновельможность на рундук, то есть на крыльцо. Батенька бросились к берлину, отворили дверцы и принимали пана полковника, который вылезал, опираясь на батеньку. Тут батенька поцеловали его руку, а он — это, право, я сам видел и никак не лгу, — он, вылезши, обнял батеньку. Маменька на

¹ Б е р л и н — карета.

² М а ш т а л е р — кучер.

рундуке очень низко поклонились пану полковнику и, когда он взошел на наш высокий рундук, бросились также, чтобы поцеловать его руку, но он отхватил и допустил маменьку поцеловать себя в уста. Этим начал он давать знать, что недавно был в Петербурге и видел тамошнюю политику. За такую отличную честь маменька опять ему пренизко поклонились и униженно просили его ясновельможность осчастливить их убогую хижину своим присутствием. Полковник просил их идти вперед: но маменьку — нужды нет, что они были так несколько простоваты, — где надобно, трудно было их провести: хотя они и слышали, что пан полковник просит их идти вперед, хотя и знали, что он вывез много петербургской политики, никак же не пошли впереди пана полковника и, идучи сзади его, взглянулись с батенькою, на лице которого сияла радостная улыбка от ловкости маменькиной.

В сенях пана полковника встретил весь мужской пол, стоя по чинам и отдавая честь поклонами; при входе же в комнату весь женский пол встретил его у дверей, низко и почтительно кланяясь. Пан полковник, вопреки понятий своих о политике, заимствованной им в Петербурге, по причине тучности своей тотчас уселся на особо приготовленное для него с мягкими подушками высокое кресло и начал предлагать дамскому полу также сесть, но они никак не поступали на это, а только молча откланивались. Наконец, когда он объявил, что, бывши в Петербурге, ко всем присматривался и очень ясно видел, что женщины там сидят даже при особах в генеральских рангах, тогда они только вынуждены были сесть, но и сидели себе на уме: когда пан полковник изволил которую о чем спрашивать, тогда она спешила встать и, поклонясь низко его ясновельможности, опять садилась, не сказав

в ответ ничего. К чему же было и отвечать? Если ответ должен быть утвердительный, то это и без речей показывал поклон; если же следовало возразить что пану полковнику, то, не осмеливаясь на такую дерзость, изъясняли это поклоном. Где увидишь теперь эту утонченную вежливость? У наших молодых людей? Ой-ой-ой! Не говорите мне про них!

Заметно батенька были окуражены, что пан полковник изволил быть весел. Услышав громко и приятно поющего чижа в клетке, он похвалил его; как тут же батенька, низко поклонясь, сняли клетку и, вынеся, отдали людям пана полковника, чтобы приняли и бережно довели до дома, «как вещь, понаравившуюся его ясновельможности».

Пан полковник, разговаривая со старшими, которые стояли у стены и отнюдь не смели садиться, изволили закашляться и плюнуть вперед себя. Стремительно один из бунчуковых товарищей¹, старик почтенный, бросился и почтительно затер ногою плевание его ясновельможности: так в тот век политика была утончена!

Немного сгодом (спустя несколько) дворецкий внес большой поднос, кругом уставленный серебряными позлащенными чарками; а на другом подносе несли хрустальные — помню, купленные батенькою у проходящего к нам с товарами цесарца — карфины, наполненные разных сортов, вкусов и цветов водками, нарочно для сего маменькою приготовленными. Водки не подносили никому, пока батенька и маменька из своих рук не просили пана полковника. Когда он изволил принять в руки чарку, тогда только начали подносить гостям, и каждый

¹ Бунчуковый товарищ — один из чинов в казачьей войске, сопровождавший гетмана в походах; позже — отставной войсковой старшина.



наливал себе желаемой водки, а батенька не переставали упрашивать каждого, чтобы пополнее наливали.

Пан полковник был политичен. Он, не пивши, держал чарку, пока все не налили себе, и тогда

принялся пить. Все гости смотрели на него: и если бы он выкушал всю чарку разом, то и они выпили бы так же; но как полковник кушал, прихлебывая, то и они не смели выпивать прежде его. Когда он изволил морщиться, показывая крепость выкушанной водки, или цмокать губами, любуясь вкусом водки, то и они все делали то же из угождения его ясновельможности.

Пан полковник, выкушавши водку, изволил долго рассматривать чарку и похвалил ее. В самом деле, чарка была отличная: большемерная, тяжело-весная, жарко вызолоченная и с гербом Халявских. Политика требовала и чарку отдать пану полковнику, что батенька с удовольствием и исполнили.

Вслед за тем пан полковник прошен был выпить по другой чарке. Причем батенька с униженным поклоном докладывали: «Осмеливаюсь нижайше доложить вашей ясновельможности, что по первой не закусывают», — и на сей раз пану полковнику поставили другую чарку, таковую же, и он выкушать выкушал полную, но уже не хвалил чарки. Ему последовали и прочие гости, разумея один мужеский пол, поелику женщинам и подносить не смели; они очень чинно и тихо сидели, только повертывая пальчиками один около другого — мода эта вошла с незапамятных времен, долго держалась, но и это уже истребилось, и пальчики женского пола покойны, не вертятся! — или кончиком вышитого платочка махали на себя, потому что в комнате было душно от народа.

Еще немного сгодом батенька поступили к пану полковнику с докладом, что, «поставивши-де тарелки, не соблаговолите ли, ваша ясновельможность, по чарке горелки?». Тут пан полковник, приставши, сказал: «Погодите», — и пошли. Им пожелалось погулять. Такова была их натура. Лишь только пан

полковник встал, то и весь женский пол поднялся, то есть, с своих мест; а пан полковник, в сопровождении батеньки вышед в сени, закричал караульным: «А нуте же — сурмите, сурмите: вот я иду!» И разом на сурмах и бубнах отдавали ему честь до тех пор, пока он не возвратился в покои. Что значит высокий ранг!

Пожалуйте. Прежним порядком выпито было и по третьей чарке — и вдруг засурмили и забубнили уже в сенях в знак того, что пора к обеду и первая перемена стола уставлена.

Стол был приготовлен в противной комнате, то есть расположенной через сени, насупротив той, где находились до обеда. По стенам были лавки и перед ними стол длинный, покрытый ковром и сверх скатертью длиною, вышитою по краям в длину и на углах красною бумагою разными произвольными отличными узорами. На стол уставлены были часто большие оловянные блюда, или мисы, отлично, как зеркало, блестяще так вычищенные, и все с гербами Халявских, наполненные, то есть мисы, борщами разных сортов. Для сидящих не было более приборов, как оловянная тарелка, близ нее — большие ломти хлеба белого и черного, ложка деревянная, лаком покрытая, — и все это, через всю длину, на обоих концах покрывало длинное полотенце, так же вышитое, как и скатерть. Оно служило для вытирания рук вместо теперешних салфеток. Стол, кроме мисок, уставлен был большими кувшинами, а иногда и бутылками, наполненными пивами и медами различных сортов и вкусов... И какие это были напитки!.. Ей, истинно не лгу: теперь никому и не приснится вкус таких напитков; а чтоб сварить или приготовить, так и не говорите: никто и понятия не имеет. Вообразите себе пиво тонкое, жидкое, едва имеющее цвет желтоватый; поднесите же к устам, то уже



один запах манит вас отведать его, а отведавши, вы уже не хотите оставить и пьете его сколько душе вашей угодно. Сладко, вкусно, приятно, усладительно и в голове не оставляет никаких последствий!.. А мед? Это на удивление! Вы налили его, а он чистый, прозрачный, как хрусталь, как ключевая вода. «Что это за мед?» — сказали бы вы с хладнокровием, а может, еще и с презрением. Да подите же с ним, — начните его кушать, то есть пить, как от третьего глотка вы именно не раздвинете губ своих: они так и слипнутся. Сколько сладости! А аромат какой! Теперь ни от одной барыни нет такого благоухания, а откровенно сказать: когда



они выезжают в люди, так это они точно имеют. Нет, никто мне не говори, где именно Россия! Спорю и утверждаю, что она у нас, в Малороссии. Доказательство: когда россияне еще были славянами (это я, не помню, где-то читал), то имели отличные меды и только их и пили. Когда какому народу хотелось попить меду, то они ехали к славянам. В великой России таких медов, как у нас, в Малороссии, варить не умеют: следовательно, мы — настоящие славяне, переименованные потом в россиян...

Но оставим ученые рассуждения и возвратимся к батенькиному банкету. Так извольте же припомнить, что такие меды и пива стоят по всему столу. Увидите же, что из этого после выйдет.

Промежду кувшинами или бутылками стоят круж-

ки, стопы — и все серебряное, тяжеловесное, вычеканенное различными фигурами и мифологическими, то есть ложными, божествами — и все заклеянные пышным гербом Халявских, преискусно отработанным.

Его ясновельможность пан полковник изволил садиться, по обычаю, на самом первом месте, в голове стола; подле него не было приготовлено другого места, потому что никому же не следует сидеть наравне с такою важного ранга особою. Женский пол замужний садились, по чинам своих мужей, на лавках у стены. Хозяин должен был крепко наблюдать, чтобы пани есаулова не села как-нибудь выше пани бунчуковой товаришки; если он заметил такое нарушение порядка, то должен просить пани есаулову пересесть пониже; в противном случае ссора вечная у мужа униженной жены с хозяином банкета и с есаулом, мужем зазнавшейся; а если он ему подчинен, то мщенье и взыскание по службе. После усевшихся женщин садились девушки также по чинам отцов своих. Мужчины, и все же по чинам, садились на скамьях, или «ослонах», против женского пола. Хозяин банкета садился на самом конце стола, чтобы удобнее вставать по разным надобностям. Хозяйка же не садилась вовсе: она распоряжалась отпуском блюд и наблюдала за всем ходом банкета. Несколько девок дворовых, прилично случаю убранных, в своем национальном, свободном везде наряде — тогда не умели еще стеснять и снуровать — как бы это сказать?.. ну, натуры или природы — так стояли они в углу, близ большой печи, в готовности исполнять требования гостей. Хозяйкин глаз наблюдал и за ними — и беда девке, зазевавшейся до того, что гость сам скажет: «Девчино! подними мне хлеб или ложку», или что-нибудь потребует. Маменька, быва-

ло, из другой комнаты кивнут пальцем на виновную — а иногда им и покажется, что она будто виновата — так, вызвавши, схватят ее за косы и тут же ну-ну-ну-ну! да так ее оттреплют, что девка не скоро в разум придет. По щекам же в таком случае никогда не били, чтоб предосудительные звуки не дошли до слуха гостей. Проученная, поправив косы и все расстроенное, опять является на свое место и стоит, как свеча.

Вот, как уселися — и все смотрят на пана полковника. Он снял с тарелки рушник, или полотенце, положил к себе на колени — и все гости, обоих полов, сделали то же. Он своим ножом, бывшим у него на цепочке, отрезал кусок хлеба, посолил, съел и, взяв ложку, хлебнул из миски борщу, перекрестился — и все гости за ним повторили то же, но только один мужской пол. Женщины же и девушки не должны были отнюдь есть чего-либо, но сидеть неподвижно, потупив глаза вниз, никуда не смотреть, не разговаривать с соседками: а могли только, по-утреннему, или пальчиками мотать, или кончиком платка махать; иначе против них сидящие паньчи осмеют их и расславят так, что им и просветка не будет: стыдно будет и глаза на свет показать.

После первой ложки пошли гости кушать, как и сколько кому угодно. Против четырех особ ставилась миска, и из нее прямо кушали, выкидывая в тарелку, перед каждым стоящую, косточку, муху или другое, что неприличное попадется. По окончании одного борща подавали другого сорта. И скольких сортов бывали борщи — так на удивление! Борщ с говядиною, или, по-тогдашнему, с яловичиною; борщ с гусем, прежирно выкормленным; борщ со свининою; борщ Собиеского (бывшего в Польше королем); борщ Скоропадского (гетмана

малороссийского). Опять должен сделать ученое замечание: по истории нашей известно, что эти особы сами составили особого рода борщи, и благодарное потомство придало этим блюдам имена изобретателей. Рыбный борщ печерский, бикус, борщ с кормленою уткою... да уже и не вспомню всех названий борщей, какие, бывало, подают!

Когда оканчивались борщи, то сурмы и бубны в сенях возвещали окончание первой перемены. При звуке их должно было оставить кушать и положить ложки. Гости мужского пола вставали с своих мест и становились к сторонке, чтобы дать кухарю свободно действовать. Он забирал опорожненные миски, а девки по знаку маменьки, из другой комнаты поданному и с прикриком: «Девчата, а нуте! заснули?» — опрометью кидались к столу, собирали тарелки, сметали руками со стола хлебные крошки, кости и прочее, устраивали новые приборы и, окончив все, отходили в сторону. Тут при новом звуке сурм и бубен являлся кухарь с блюдами второй перемены и уставлял ими стол, и тогда вставший мужской пол садился по-прежнему.

За сим подносилась водка; пан полковник и гости прошены были выпить перед второю переменою.

Вторую перемену составляли супы, также разных сортов и вкусов: суп с лапшою, суп с рыжем и радзынками (сарачинское пшено¹ и изюм) и многие другие, в числе коих были и суп исторический, подобно борщу, носивший название «Леопольдов суп», изобретение какого-то маркиграфа Римской империи, но какого — не знаю. Любопытные могут узнать наверное из исторических рассмотрений критик и споров ученых мужей.

¹ Сарачинское пшено — рис.

При начале второй перемены пан полковник, а за ним и все гости, все же мужского пола, облегчали свои пояса.

При первой и второй переменах пили пиво, мед, по произволению каждого.

Несмотря на то что у гостей мужского пола нагревались чубы и рделися щеки еще при первой перемене, батенька с самого начала стола ходили и, начиная с пана полковника и до последнего гостя, упрашивали побольше кушать, выбирая из мисок куски мяса, и клали их на тарелки каждому и упрашивали скушать все; даже вспотеют, ходя и кланяясь, а все просят, приговаривая печальным голосом, что, конечно-де, я чем прогневал пана Чупринского, что он обижает меня и в рот ничего не берет? Пан Чупринский, кряхтя, пыхтя и тяжело дыша, силится съесть положенное ему на тарелку против силы, чтобы не обидеть хозяина.

Мясо разрезывалось на тарелке имевшимся у каждого гостя ножом, а ели — за невведением еще вилок, или виделок, — руками.

Третья перемена происходила прежним порядком.

За третьею переменою поставлялися блюда с кушаньями «сладкими». То были: утка с радзынками и черносливом на красном соусе, ножки говяжьих с таким же соусом и с прибавкою «миндалю», мозги, разные сладкие коренья, репа, морковь и проч. и проч., все преискусно приготовленное. При сей перемене пан полковник снимал с себя пояс вовсе, и батенька, поспешив принять его, бережно и почтительно несли и чинно клали на постель, где они (то есть батенька) с маменькою обыкновенным образом опочивали. Гости мужского пола, сняв свои пояса, прятали их в свои карманы или передавали через стол своим женам, а те уже прятали их у

себя за корсет или куда удобнее было. При третьей перемене поставлялись на стол наливки: вишневка, терновка, сливянка, яблоновка и проч. и проч. Рюмок тогда не было, и их не знали, и их бы осмеяли, если б увидели, а пили наливки теми же кубками и стопами, что пиво и мед. Всякому предоставлялось выпить по воле и комплекции.

С прежним порядком поставлена и четвертая перемена, состоящая из жареных разных птиц, поросят, зайцев и т. п.; соленые огурцы, огурчики, уксусом прилитые, также с чесноком; вишня, груши, яблоки, сливы опошнянские и других родов горами навалены были на блюда и поставлены на стол. Чем стол более близился к концу, тем усерднее батенька упрашивали гостей побольше кушать и пить, чтоб их после не осуждали, что они не умели угостить. Уже на блюдах мало чего оставалось, но батенька и остатки подкладывали почетнейшим гостям, упрашивая «добирать все и оставить посуду в чистоте». Наконец, чтоб заставить гостей долго вспоминать свой банкет, батенька упрашивали пана полковника и гостей уже обоих полов выпить «на потуху»¹ по стаканчику медку. Тут же, пожалуйста, какая штука выйдет: в продолжение питья наливок, как уже к пиву и меду не касались, искусно был подменен мед медом же, но другого свойства.

Прошенные гости, чтобы сделать хозяину честь и доставить удовольствие за его усердие, помня, что мед был отлично вкусен, охотно соглашались приятным напитком усладить свои чувства. Мед на вид был тот же — чистый, как ключевая вода, и светлый, как хрусталь. Вот они, наливши в кубки, выпивали по полному. Батенька, поглотив свой смех и уклонясь пану полковнику и всем гостям, вежли-

¹ На потуху — в заключение.

вым образом просили извинения, что не угостили, как должно, его ясновельможность и дорогих гостей, а только обеспокоили их и заставили голодовать.

Пан полковник, быв до того времени многоречив и неумолкаем в разговорах со старшинами, близ него сидящими, после выпития последнего кубка меда онемел, как рыба: выпуча глаза, надувался, чтобы промолвить хотя слово, но не мог никак; замахал рукою и поднялся с места, а за ним и все встали... Но вот комедия! встать встали, да с места не могли двинуться и выговорить слова не могли. Это — надобно сказать — батенькин мед производил такое действие: он был необыкновенно сладок и незаметно крепок до того, что у выпившего только стакан отнимался язык и подкашивались ноги.

Проказники батенька были! И эту шутку делали всегда при конце стола и хохотали без памяти, как гости были отводимы своими женами или дочерьми; а в случае, если и жены испивали рокового напитка, то и их вместе проводили люди.

Пана полковника, крепко опьяневшего, батенька удостоились сами отвести в свою спальню для опочивания. Прочие же гости расположились где кто попал. Маменьке были заботы снабдить каждого подушкою. Если же случались барыни, испившие медку, то их проводили в детскую, где взаперти сидели четыре мои сестры.

«Молодые отрасли женского пола», — как их батенька называли на штатском языке, а просто «панночки», или — как теперь их зовут — «барыш-ни», выходили из дому и располагались на присбах¹ играть в разные игры. Которая из них была подогладливее, та привозила с собою креймашки, и все, посажая в кружок, играли. Это превеселая и пре-

¹ П р и с б а (призьба) — завалинка.

занимательная игра! Креймашек есть не что иное, как обделанный кружок из разбитых тарелок или кафлей¹, величиною в медную копейку. Каждая панночка положит перед собою один креймашек, а другой кидает вверх, и, пока тот летит обратно вниз, она должна схватить лежащий и уловить летящий. В эту презанимательную игру тогдашние панночки играли хоть целый день. А теперь где вы увидите, чтобы наши барышни занимались в креймашки? Легко станется, что они и понятия о них не имеют!.. Ужас как свет изменился!

Пожалуйте! Пока так занималась молодость женского пола, в то время панычи тут же на дворе между собою боролись, бегали «на выпередки» (взапуски), играли в мяч, «в скракли». Тоже не думаю, чтобы кто из теперешних молодых, даже благовоспитанных, юношей имел понятие об этой игре! Скракли! И что это за веселая и за нравственная игра! Выбиваешь из города (то есть за черту) противной партии палки; победишь — и в награду на побежденном едешь верхом в триумфе в завоеванный город. Сколько тут мыслей, поощрения к подвигу, возмездия за ловкость! Это, должно быть, нечто из обычаев древних римлян.

А деркач! Вот игра: это умереть надобно со смеху! Вколачивают колышек в землю и к нему на длинных веревках привязывают двух панычей, и обоим им, завязав глаза, дадут в руки одному крепко свитый жгут, а другому зарубленные две палочки, чтобы терчал ими. Вот один терчит и бережется товарища; а тот тоже, не видя ничего, подкрадывается и хочет его ударить жгутом — и... паф! — бьет по воздуху; а тот, изворотясь, терчит уже с другой стороны... Тот бросается туда, а этот

¹ К а ф л я (кафель) — изразец.

уходит сюда... Ну, ложатся, бывало, от смеху! И попадет жгут деркача, так уже дубасит, дубасит сколько душе угодно!.. Умора уморою!..

Ах, сколько было подобных веселых, острых, замысловатых игр! И где это все теперь?.. Посмотрите на теперешнее юношество — так ли оно воспитано? Кожа да кости! Как образованы! Не распознаешь от взрослых мужей. В чем упражняются? Наука да учение. Как ведут себя? Совсем противно своему возрасту... Об этом предмете поговорю после...

Вот панночки, соскучась, что панычи не пристаут к ним и даже не обращают на них внимания, приступают к хитростям: начинается между ними игра в короли. «Король, король, что прикажете делать?» — спрашивает каждая у избранного из них короля.

— У короля жены нет, — отвечает король.

Спрашивавшая должна бы целовать короля, но она кричит громко, чтобы панычи услышали: «Вот еще выдумали что! Что нам — целоваться между собою? Это будет горшок о горшок, а масла не будет». При чем некоторые глядят на панычей, подходят ли они к ним, и если еще нет, то продолжают маневры, пока успеют привлечь их к себе.

Панычи с разными обходами, наконец, подошли к кругу панночек и просят «скуки ради» принять их до компании. Кружок раздвигается, панычи уселись между панночками, и начинается игра. Разными хитростями и явными неправдами король избран всегда из красивых.

— Король, король, что прикажете делать? — спрашивает первая, краснея, зная содержание приказания.

Король отвечает важно: «Короля должно шано-

вать (почитать) и всем панночкам по семи раз целовать».

— Вот выдумали! вот выдумали! Довольно бы и по два раза, а то по семи, — кричат бунтовщицы, но нечего делать: каждая, обтирая губки, подходит к королю, и ровно, ни больше, ни меньше семи раз, целует верно, без фальши, счастливца и спокойно возвращается на свое место.

— В стыдное место поцеловать короля! — приказывает король другой. Всеобщий хохот, и все смотрят на смутившуюся. «Что же? чего ты стала? ты думаешь что?.. разве не знаешь?» — так кричат ей подруги, и одна из них предлагает: «Дай я за тебя исполню».

Получив доверенность, она подходит к королю и свободно целует его в обе щеки — место, где обнаруживается стыд.

— Королю отпустить лент пять аршин! — приказывается третьей, и получившая такое приказание панночка подходит к королю, берет его за руки и протягивает их, как будто меряя на аршин и целуя при каждом отмеривании.

— Собрать подать для короля! — И король со спрашивавшею идет взыскивать с каждой подать. Получает поцелуй от каждой панночки и целует свою подругу, якобы складывая в сумку подать.

— Да не щипайтесь же, панычу! — вдруг вскрикивает из круга одна панночка, отодвигаясь от своего соседа.

— Я совсем не щипаю, а только щекочу, — отвечает проказник.

— И щекотать не прошу: я щекотки боюсь.

И много происходит тут веселых шуток. Смех, забавные речи, острые и умные слова занимают молодых людей, которые и не заметят, как день пройдет.

А ныне в каком обществе молодых людей найдете подобное препровождение времени, подобные замысловатые игры, веселость, свободу, ум, удовольствие? Все, все изменилось!

Но вот, часу в четвертом с полудня, пан полковник и прочие гости, выпавшись, сходятся в большую комнату. Маменька, по заботливости своей, приготовили им изобильный полдник. Блины, вареники, яичницы, разные мяса холодные беспрестанно одно за другим. Теперь уже маменька хлопочут упрашивать гостей, чтобы поболее кушали, и каждому — впрочем, по рангу гостя — подкладывают отличные кусочки и поливают маслом и сметаной, более или менее, смотря на важность особы. Батенька же то и дело обходят гостей, прося о наливках, которые разных цветов, вкусов, сортов и родов разносятся в изобилии. По очищении блюд подносится «на потуху» «вареная»... Вот опять не вытерплю, чтобы не сказать: где найдете у нас этот напиток? Никто и составить его не умеет. А что за напиток! Так я вам скажу: «вещь»! — что в рот, то спасибо! Сладко так, что губ не разведешь: так и слипаются; вкусно так, что самый нектар не стоит против него ничего; благоуханно так, что я в бытность мою в Петербурге ни в одном «козмаитическом» магазине не находил подобных духов. Дешево и ничего не стоит, потому что весь материал домашний: водка, ягоды разные и несколько ароматных произведений: перец, корица, лавровый лист. Подите же вы! И этот драгоценный по благоуханию, здоровью, вкусу и дешевый по материалам напиток откинули и погрязли в винах, якобы заморских, когда честью уверяю, что все эти вина с мудреными названиями составляются тут же на месте, у нас, и продаются по дорогой цене на вред карманам и здоровью православных. Сердце болит, и

душа стесняется!.. Где ты, блаженная старина?..

Пожалуйте. Вот как выкушают по несколько чашек вареной, пан полковник пожелает проходиться по двору, осмотреть батенькину конюшню, скотный двор и другие заведения. Пошел — и все чиновники за ним; батенька предшествует, а сурмы сурмят и бубны гремят в честь полковника, но уже с заметным разладом, потому что изобильное угощение было и трубящим — как казакам, конюхам и всем с гостями прибывшим людям.

На конюшне и везде пан полковник, осматривая, что похвалит, то немедленно выводится прочь и сдается на руки полковничьим людям, нарочно для сего прибывшим. Батенька от удовольствия даже облизуется, что их хозяйство одобряется паном полковником.

Осмотрев все, возвращаются в дом, где маменька между тем угощали женский пол... чем вздумали; и как при этом не присутствовал никто из мужского пола, то, по натуральности, дело было на порядках... И странно: перед ними стоят орехи каленые и мышеловки¹, яблоки, повидлы (медовые варенья) разных сортов и всякая такая мебель, а наш женский пол, покрасневшия препорядочно, щекочут, балагурят, рассказывают одна другой разные разности, и каждая, одна другой не слушая, продолжает свое. Самый приход пана полковника им незаметен, и маменька, бегая от одной к другой, удерживают их от разговоров. «Да замолчите же, пани обозная! Да перестаньте же, пани бунчукова товарищка! Вот пан полковник пришел». И в силу, в силу их ускорят.

Понявши, что пан полковник здесь, они утихнут и, как должно, вставши со своих мест, начнут ма-

¹ Мышеловки — здесь: щипцы для раскалывания орехов.

нериться: и улыбаются к нему, платочками утираются и, хотя не к чему, на все кланяются; пока его ясновельможность не соизволит сесть и, почти приказом, не усадит их. Все лакомство со стола снято, и поданы блюда «подвечерковать». Ветчина, солонина, буженина, полотки¹, соленые перепелки и другие жареные птицы украшают стол. После нескольких рюмок водки принимаются гости «подвечерковать» и очищают все при беспрестанном потчевании разными сортами пива и меду.

Между тем, в продолжение этого времени, паночки, наигравшись в короли, не имея чем заняться, «скуки ради» идут к реке, за садом протекающей, и там купаются. А панычи «для забавки» идут в проходку в кустарники, за рекой против самого купанья находящиеся, и там любуются рассматриванием натуры или природы. Теперь, как уже старики, известно, после подвечеркованья должны уехать, то вот вся молодежь, освежившись купаньем и налюбовавшись натурой и природою, приходит к общему собранию и снова не глядит друг на друга, потому что неблагопристойно при почтенных особах показать, что они знакомы между собой.

Окончив последнюю трапезу, пан полковник встает, чтобы уезжать. Берлин его подан. Машталер то и дело хлопает бичом. Батенька подносят кубок, прося о полном, «чтобы в оставляемом его ясновельможностью доме все было полно». При выходе в сени, на пороге, подносится кубок, «чтобы хозяйские «вороги» (враги) не переступали через пороги». На рундуке еще выпивается полный кубок, «чтобы изливалось изобилие на все видимое хозяйство». Дойдя до берлина, пан полковник прошен снова выпить «гладко», чтобы гладилася дорога

¹ Полотки (полоток) — половинки распластанной птицы, соленой, вяленой, копченой и т. д.

его ясновельможности. Выкушав также до дна и сей кубок, пан полковник обнимает батеньку, а они, поймав ручку его, целуют несколько раз и благодарят в отборных, униженных выражениях за сделанную отличную честь своим посещением и проч., а маменька, также ухитряся, схватили другую ручку пана полковника и, целуя, извиняются, что не могли прилично угостить нашего гостя, проморили его целый день голодом, потому что все недостойно было такой особы и проч. Пан полковник, преисполненный... чувствами, не может ничего выговорить, а только машет рукою и силится поднять ногу, знаками показывая, что он хочет сесть в берлин. Предстоявшие бросаются, поднимают его и усаживают. Тут батенька еще с кубком для пожелания пану полковнику благополучного пути; пан полковник, почесав чуб, запинаясь, с трудом произносит: «Верно пан подпрапорный (батенька имел чин подпрапорного; я расскажу, как они его дослужились), верно подносит того меду, что за обедом...» Батенька предузнали вопрос его и подносили точно тот мед. Пан полковник, опорожнив кубок, тут же свалился на подушку, не сказав уже ни слова. Берлин тронулся, сурмы засурмили, бубны забубнили в честь полковника, чего он, однако же, слышать не мог. За берлином вели лошадей, бугаев, коров, везли кабанов и все то, что понравилось у батеньки пану полковнику.

Проводив такого почетного гостя, батенька должны были уконтентовать¹ прочих, еще оставшихся и желающих показать свое усердие хлебосольному хозяину. Началось с того, чтобы «погладить дорогу его ясновельможности». Потом благодарность за хлеб-соль и за угощение. Маменька поднесли еще

¹ Уконтентовать — убогатворить.

«ручковой», то есть из своих рук. Потом пошло провожание тем же порядком, как и пана полковника, до колясок, повозок, тележек, верховых лошадей и проч. и проч., и, наконец, все гости до единого разъехались.

А что? Просим покорно сказать мне: есть ли теперь хоть тень подобного пиროвания, искреннего, веселого, чинного, изобильного? То-то и есть!

А вот изволите видеть, как батенька попали в подпрапорные. Его ясновельможность, наш пан полковник, после трех-четырех банкетов у батеньки описанным порядком, начал уважать батеньку, хотел вывести его в сотники, потому что батенька были очень богаты как маетностями, так вещами и монетою; так-де такой сотник скомплектует сотню на славу и весь полк покрасит. Вот и прислал к батеньке универсал¹, что он батеньку за усердную службу возводит на степень подпрапорного, с обнадёживанием и впредь дальней милости. Как же получили батенька этот универсал — господи, что тут было! И рассказывать страшно!.. Ногами затопали, начали кричать гневно, как будто в глаза пану полковнику, и даже запенились... После, одумавшись, поехали к пану полковнику и объяснили, что они служить не желают, избегая от неприятеля наглой смерти, и что они нужны для семейства, и что они долго верхом ехать не могут, тотчас устанут, и тому подобных уважительных причин много представили. Но когда пан полковник, даже побожая, уверил батеньку, что они в поход никогда не пойдут, то батенька и согласился остаться в военной службе; но сотничества, за другими охотниками, умевшими особым манером снискивать милости полковника, батенька никогда не получили

¹ У н и в е р с а л — гетманский указ или грамота.

и, стыда ради, всегда говорили, что они выше чина ни за что не желают, как подпрапорный, и любили слышать, когда их этим рангом величали, да еще и вельможным, хотя, правду сказать, подпрапорный и в сотне «не много мог», а для посторонних и того менее.

Обращаюсь теперь к продолжению описания нашего воспитания. Правду сказать, можно было бы благодарить батеньке, а еще более маменьке: их труды не втуне остались. Мы были воспитаны прекрасно: были такие брюханчики, пузанчики, что любо-весело на нас глядеть: настоящие бочоночки!

Когда уже с нами достигнуто до главного, то есть когда обеспечено было наше здоровье, тогда начали подумывать о последующем. В один день, когда у батеньки разболелась голова от нашего шуму и они досадовали, что нами переломаны были лучшие из прищеп в саду, так они, вздохнувши, сказали маменьке: «А что, душко, пора бы наших хлопцев отдать учиться письму?»

Не могу и до сих пор наудивляться решительности маменькиной. Они были от природы сложения горячего, крикливого, спорного, бранчивого, так что и господа! Но это бывало с булочницами, птичницами, ключницами и прочими должностными, ей подчиненными лицами. Против батеньки же они не смели никогда пикнуть. Даже до чего! — кормление птиц и кабанов было под неограниченным распоряжением маменьки, и они были к этому делу весьма склонны и искусны в нем, знали все части по этой отрасли и не позволяли ничего переменять. Но когда батенька вмешивались и приказывали что невпопад, — как и часто случалось, — то маменька не противоречили и исполняли по воле батенькиной, хотя бы ко вреду самого откормленного кабана, — конечно, не без того, что, забившись к себе в опо-

чивальню, перецыганят батенькино приказание, пересмеют всякое слово его, но все это шепотом, чтоб никто и не услышал. Кроме этого предмета, чего бы только батенька не пожелали, не потребовали, не приказали, маменька, как законная жена, повиновались, спешили исполнить во всей точности требуемое и приказываемое, даже и в мыслях не ворча на батеньку. Так я к тому говорю: они и в любимой своей старости не противоречили явно; но в этом обстоятельстве, когда батенька напомнили о приступе к учению нашему, маменька вышли из своей комплекции против батеньки. Конечно, и то надобно правду сказать, природа во всех тварях одинакова: посмотрите на матерей из всех животных, когда их детищам умышляют сделать какое зло, — тут они забывают свое сложение, не помнят о своем бессилии и с остервенением кидаются на нападающих. Так поступили и маменька, когда увидели, что их рождению предстоит ужасное положение: отлучка из дома, невременная пища, принужденное сидение, забота об уроках и, всего более, наказания, необходимые при учении. Они, видя, что это касается уже не к какому-нибудь гусаку, кабану или индейскому петуху, а к их исчадию, вышли из себя и, видя, что материя серьезная, начали кричать громко, и слова у них сыпались скоро, примером сказать, как будто бы кто сыпал из мешка орехи на железную доску. Так резко и звонко они в ответ на батенькины слова закричали:

— Помилуйте вы меня, Мирон Осипович! Человек вы умный, и умнее вас я в свой век никого не знавала и не видала, а что ни скажете, что ни делаете, что ни выдумаете, то все это так глупо, что совершенно надобно удивляться, плюнуть (тут маменька в самом деле плюнули) и замолчать. — Но они плюнуть плюнули, а замолчать не замолчали и

продолжали в том же духе: — С чего вошло вам в голову морить бедных детей грамотою глупою и бестолковою? Разве я их на то породила и дала им такое отличное воспитание, чтобы они над книгами исчахли? Образумьтесь, побойтесь бога, не будьте детоубийцею, не терзайте безвинно моей утробы!.. — Тут маменька горько заплакали.

Я таки не наудивляюсь перемене и батенькиного обхождения. Бывало, при малейшем противоречном слове маменька не могли уже другого произнести, ибо очутивались в другой комнате, разумеется, против воли... но это дело семейное; а тут папенька смотрели на маменьку удивленными глазами, пыхтели, надувались и, как увидели слезы ее, то, конечно, войдя в материнские чувства, сказали без гнева и размышления, а так, просто, дружелюбно:

— А как же бы вы, Фекла Зиновьевна, думали: чтобы мои дети росли дураками и ничего не знали?

Тут маменька, хотя и видно было, что они решились на большие крайности, нежели очутиться даже в сенях, — материнское сердце! — увидя, что батенька сохраняют против нее мягкость, приободрились и усилили свой крик.

— Поэтому и я дура, — кричали они, — и я ничего не знаю оттого, что не училась вашей глупой грамоте? Так и я дура?.. Дожилаесь у вас чести за восемь лет супружеской жизни!..

— То вы, душко, а то они...

— И не говорите мне: все равно! Вы, конечно, глава; но я же не раба ваша, а подружие. В чем другом я вам повинуюсь, но в детях — зась!¹ Знайте: дети не ваши, а наши. Петрусь на осьмом году, Павлусе не вступно семь лет, а Трушку (это я) что

¹ З а с ь — нет, не смей.

еще? — только стукнуло шесть лет. Какое ему ученье? Он без няньки и пробыть не может. А сколько грамоток истратится, покуда они ваши дурацкие буки да веда затвердят. Да хотя и выучат что, так, выросши, забудут.

Батенька призадумался и начали считать по пальцам наши годы от рождения, коих никогда в точности не знали, а прибегли к этому верному средству. И видно, что маменькин счет был верен, потому что они, подумав, почмокав, чем изъяслялась у них досада, и походив по комнате, сказали, что мы еще годик погуляем.

Маменька приметно обрадовались и, чтобы подобриться к батеньке, сказали: «Как знаете, так и делайте. Вы мужской пол: вы разумнее нас».

Хитрые же и маменька были! Видите, как они поступили: криком и слезами заставили батеньку отстать от своей мысли, да потом и говорят «делайте по своей воле... вы-де умнее...». Батенька поверил начистоту и заметно весь тот день к маменьке были мягкосердечны.

Да и шалили же мы и проказничали во весь льготный год! Сколько окон в людских перебили! сколько у кухарок горшков переколотили! сколько жалоб собиралось на нас за разные пакости! Но маменька запрещали людям доносить батеньке на нас. «Не долго им уже погулять! — говорили они. — Пойдут в школу — перестанут. Пусть будет им чем вспомнить жизнь в родительском доме».

Наконец, пришло наше к нам. Не увидели, как и год прошел. Перед покровым днем призван был наш стихарный дьячок, пан Тимофтей Кнышевский, и спрошен о времени, когда пристойнее начинать учение детей.

Пан Кнышевский, кашлянувши несколько раз, по обычаю дьячков, сказал: «Вельможные паны и

благодетели! Премудрость чтения и писания не ежедневно дается. Подобаает начать оную со дня пророка Наума, первого числа декемвриа месяца. Известно, что от дней Адама, праотца нашего, как его сын, так и все происшедшие от них народы и языки не иначе начинали посылать детей в школу, как на пророка Наума, еже есть первого декемвриа; в иной же день начало не умудрит детей. Сие творится во всей вселенной».

Маменька и тому обрадовались, что хотя два месяца еще погуляют, и поскорее сказали: «Когда ж во всей вселенной с того числа начинают, так и нам надобно делать по ней». Маменька были неграмотные и потому не знали, что и они во вселенной живут и заключаются; оттого и сказали так... немножко... простовато... Но тут же выпросили у батеньки позволение торговаться с паном Кнышевским за наше обучение — и после долгого торга положили: вместо сорока алтын (120 коп.) от ученика платить по четыре золотых (80 коп.) и по мешку пшеничной муки за выучку Киевской грамотки с заповедями; грамотки должны быть наши. За меня же, как меньшего, мука выговорена не пшеничная, а гречишная, для галушек собственно пану Кнышевскому, и букварь его, а не наш.

Я был у маменьки «пестунчик», то есть любимчик, за то, что во всякое время дня мог все есть, что ни дадут, и съедать без остатков. Только лишь стал разумеать, то маменька открыли во мне это достоинство и безмерно меня за то жаловали и хвалили перед всеми, что во мне нет никакого упрямства. Если бы маменькина воля была, они меня не отдали бы ни в школу к пану Кнышевскому и никуда не отпустили бы меня от себя, потому что им со мною большая утеха была: как посадят меня подле себя, так я готов целый день просидеть,

не вставая с места, и не проговорить ни слова; сколько б ни пожаловали мне чего покушать, я все без упрямства молча уберу и опять молчу. Маменька не нарадовались мною. Видя же необходимость пустить меня в учение, они по окончании торга, позвав пана Кнышевского в кладовеньку попотчевать из своих рук водкою на магарыч, начали всеусерднейше просить его, чтобы бедного Трушка, то есть меня, отнюдь не наказывал, хотя бы и следовало; если же уже будет необходимо наказать, так сек бы вместо меня другого кого из простых учеников. За это маменька тут же отрезали ему пять локтей (аршин около осьми) домашнего холста, немного согнившего от неудачного беленья.

Маменька были такие добрые, что тут же мне и сказали: «Не бойся, Трушко, тебя этот цап (козел) не будет бить, что бы ты ни делал. Хотя в десять лет этой поганой грамотки не выучил, так не посмеет и пальцем тронуть. Ты же как ни придешь из школы, то безжалостному твоему отцу и мне жалуйся, что тебя крепко в школе били. Отец спроста будет верить и будет утешаться твоими муками, а я притворно буду жалеть о тебе». Так мы и положили условие с маменькою.

И вот наступил роковой день!.. Первого декабря нас накормили выше всякой меры. Батенька, благословляя нас, всплакнули порядочно. Они были чадолюбивы, да скрывали свою нежность к нам до сего часа; тут не могли никак удержаться. Приказывали нам отныне почитать и уважать пана Кнышевского, как его самого, родителя, а притом... Тут голос батеньки изменился, и они, махнув рукою, сказали: «после», перецеловали нас, обливая слезами своими, и ушли в спальню.

Но маменька!.. вот уже истинная мать!.. Что может сравниться с нежностью материнского серд-



ца?.. Они плакали навзрыд, выцеловывали нас, а потом принялись голосить и приговаривать, точно как над умершими: «Ах, мои деточки-голубяточки! Куда же вы отправляетесь, мои соколики! В дальнюю сторону, в дьячкову школу... за этую проклятую наукою!.. Никто вас там не приголубит, не приласкает... Замучат вас глупым учением дурацких книг... Кого я буду прикармливать вкусными варениками?.. Для кого изготовлю молочную кашу?..» — и много подобных тому нежностей приговаривала всяма жалко, так что и теперь, когда вспомню, меня жалость берет.

А какие же маменька были хитрые, так это на удивление! Тут плачут, воют, обнимают старших сыновей и ничего; меня же примутся оплакивать, то тут одною рукою обнимают, а другую — из-за

пазухи у себя — то бубличек, то пирожок, то яблочко... Я обременен был маменькиными ласками...

Петрусь, брат, шел охотой; Павлуся, быв всегда весел, тут что-то повесил нос, я шел весьма равнодушно и старался идти за братьями, чтобы они не заметили, как я пожираю лакомства, маменькою мне в путь данные. «Пропала батенькина мука и четыре золотых за мое учение!» — так рассуждал я, пожирая яблоко, скрываемое мною в рукаве, куда я, запрятав рот с зубами, там ел секретно, чтобы не заметили братья. Я имел какой-то благородный характер и не терпел принуждения к тому, что мне не нравилось. Быв одинаковой натуры с маменькой, я терпеть не мог наук и потому тут же давал себе обещание как можно хуже учиться, а что наказывать меня не будут, я это твердо помнил.

Со стороны маменькиной подобные проводы были нам сначала ежедневно, потом все слабее, слабее: конечно, они уже попривыкали разлучаться с нами, а наконец, и до того доходило, что когда старшие братья надоедали им своими шалостями, так они, бывало, прикрикнут: «Когда б вас черт унес в эту анафемскую школу!» Батенька же были к нам ни се ни то. Я же, бывши дома, от маменьки не отходил.

Пожалуйте, как же мы начали свое ученье? Большое строение, разделенное на две половины длинными сенями; вот мы и вошли. Налево была хата и «комната», где жил пан дьяк Тимофтей Кнышевский с своим семейством, а направо большая изба с лавками кругом и большим столом.

Пан Тимофтей, встретив нас, ввел в школу, где несколько учеников, из тутошних казацких семейств, твердили свои «стихи» (уроки). Кроме нас, паньчей, в тот же день, на Наума, вступило также не-

сколько учеников. Пан Кнышевский, сделав нам какое-то наставление, чего мы, как еще неученые, не могли понять, потому что он говорил свысока, усадил нас и преподавал нам корень, основание и фундамент человеческой мудрости. Аз, буки, ве́ди — приказано было выучить до обеда.

«А что ты мне сделаешь, если я не выучу?» — подумал я, увидев, что мне никак не шли в голову и странные эти названия и непонятна была фигура этих каракулек. Я знал, что пану Кнышевскому отпущено было пять локтей холста за то, чтобы он следующее наказание мне передавал другому, и потому, вовсе не занимаясь уроком, рассуждал с сидевшим со мною казацким сыном, осуждая все. «К чему эта грамота? — рассуждали мы. — Чему научат эти крючки? Хорошо маменька делают, что не любят грамоты!» Проклиная все учение и ученых, выдумавших его, мы назло азбуке дали свои наименования: «аз» стал у нас раскоряка; «буки» — горбуном с рогом, «ве́ди» — пузан. Эти названия мы затвердили скоро, а подлинные забыли и не старались вспомнить.

Время подошло к обеду, и пан Кнышевский спросил нас с уроками. Из нас Петрусь проговорил урок бойко: знал назвать буквы и в ряд и вразбивку; и боком ему поставят, и вверх ногами, а он так и дует, и не ошибается, до того, что пан Кнышевский возвел очи горé и, положив руку на Петрусину голову, сказал: «Вот дитина!» Павлусь не достиг до него. Он знал разницу между буквами, но ошибочно называл и относился к любимым им предметам; например, вместо «буки» все говорил «булки» и не мог иначе называть.

Пан Кнышевский только вздохнул; потом призывал меня.

— Что это за слово?— спросил он, указывая на аз.

— А кто его знает!— отвечал я с духом, помня тайные условия маменьки с паном Кнышевским. — Трудно как-то зовут эту раскоряку.

Гневные слова посыпались на меня из уст пана Кнышевского. Насмешка, брань, упрек за дерзость мою, что я, вместо православного наименования, приложил ругательные; наконец, изрек он запрещение, чтобы я не ходил обедать, а все бы твердил свой урок.

Мне обед не важен был, я накормлен был порядочно; притом же из запасов, данных мне маменькою в час горестной разлуки, оставалась еще значительная часть. Как же школа отстояла от нашего дома близко, а я ленив был ходить, то я еще и рад был избавиться двойной походки. Для приличия я затужил и остался в школе заниматься над своим букварем, вполовину оборванным.

Немного времени прошло, как гляжу — две служанки от матушки принесли мне всего вдоволь. Кроме обыкновенного обеда в изобильных порциях, маменька рассудили, «чтобы дитя не затосковалось», утешить его разными лакомствами. Чего только не нанесли мне! Пан Кнышевский по обеде отдыхал и не приходил в школу до начала учения; следовательно, я имел время кончить свое дело отличным образом.

По еде мысли мои сделались чище и рассудок изобретательнее. Когда поворачивал я в руках букварь, мне пришла счастливая мысль: «Если бы не было букв, что бы я учил? Следовательно, если их не будет, мне нечего учить». Подумал, решился и исполнил. Несносные аз, буки, веи — одно за другим — были мною вырваны, истерты пальцами и, чтобы не отыскились вскоре, зарыты мною

в угол школы. Я не только был покоен, но даже весел, не имея что учить.

Пришли братья, и вся школа собралась. Началось послеобеденное учение. Кончилось. Подали уроки... Братья — куда! — к «како» дошли. Их расхвалили. Позвали меня...

— Где твои слова? — возопил грозно пан Тимофтей, взглянув в букварь.

— Не знаю, — отвечал я почти смело, приготовясь к ответу.

— Как не знаешь? Их здесь не обретается.

— Верно, выпали из грамотки, — сказал я и начал шарить по полу.

— Выучил ли ты их?

— Выучил очень твердо, так вот же выскочили куда-то.

— Смотри сюда, — возгласил пан Кнышевский и представил пред глаза мои другой букварь, в коем ясно торчали и аз, и буки, и веде, те самые, которые я уничтожил. Я полагал, что уже и во всей вселенной не можно отыскать их, а они, как волшебники, возродились снова и явились целыми, даже не измятыми!

Несмотря на прежнее мое уверение, что я знаю урок, я не мог поименовать их. Отговорка, что как это не моя книжка и потому я этих слов не учил, не помогла. И пан Кнышевский повелел виновной руки пальцы сложить вместе и... торжественно, с каким-то припевом, ударил линейкой по пальцам три раза... О! вы не можете ни с чем сравнить этой боли!!! Хорошо ли вы помните чувство, которое вы ощущали, когда секли вас? А уже, верно, вас секли в детстве. Так, поверьте, тридцать ударов розгою все не то, что эти три удара линейкою по пальцам. У-у-у — как больно.

Возвратясь домой, отдали мы в своем ученье от-

чет батеньке; братьев похвалили, а меня порвали за чуб порядочно. Зато маменька пожаловали мне два маковника: один за батенькину «скубку», а другой — за дьячкову «палию». Причем маменька сказали: «Пусть толчет, собачий сын, как хочет, когда без того не может, но лишь бы сечением не ругался над ребенком». Не порадовало меня такое маменькино рассуждение!

Начало ученья меня не потешило и еще более усилило отвращение к наукам. Иногда, не хвастаясь скажу, приходило как будто и желание что-нибудь выучить, но что же? — бьюсь-бьюсь, твержу-твержу, не идет в голову. Так и брошу. Братья уже бойко читали шестопсалмие¹, а особенно Петруся — что это за разум был! целый псалом прочтет без запинки, и ни в одном слове не поймешь его; как трещотка — тррр! — я же тогда сидел за складами. Братья оканчивали часословец, а я повторял: «зло, тло, мну, зду», и то не чисто, а с прибавкою таких слов, каких невозможно было не только в Киевском букваре, но и ни в какой тогдашней книге отыскать... Я про теперешние ничего не говорю: свет изменяется, и книги на что теперь похожи?

Нуте, пожалуйста. Вот я учусь плохо, а братья лезут вперед; пан же Кнышевский берет плату и за меня, как будто за порядочно учащегося. На мою беду, он был совестлив и, получая плату, хотел непременно научить меня всему, чему сам знал. «Не вотще же мне получать деньги, — «добьюсь» у пана Трофима премудрости». И точно, начал ее «добиваться». При первом разе, когда он нарушил свое условие с маменькою, то есть когда положил меня на ослон (скамейку)... ох! и теперь помню, как это больно!.. я, пришедши домой, пожаловался мамень-

¹ Шестопсалмие — шесть псалмов, читаемые в начале заутрени.

ке, что пан Кнышевский не только бьет меня каждый день, но сегодня уже и высек. Что же маменька? Вообразили себе, что я нарочно так говорю при батеньке, слыша от них, как они попрекали маменьку, что они упростили пана Кнышевского, чтобы он спускал их пестунчику. Так маменька, выслушавши мою жалобу, сказали: «И хорошо, Трушко, — за бито-го двух небитых дают». Причем и подморгнули мне, давая знать, что они поняли мою хитрость. Каково же сыграли со мною!..

Пан Кнышевский, узнав, что я жаловался на него, начал учащать наказания. Что мне оставалось делать, как молчать перед маменькою, и всякий раз, когда меня полагали, я приговаривал мысленно: «Пропали, маменька, ваши пять локтей холста: меня бьют так, как будто и ничего от вас не платится».

Но что же успел пан Кнышевский со своими наказаниями? Таки совершенно ничего. Я с наукою никак не подвигался вперед. Наконец, пану Тимофтею пришло на мысль, что человеку даются различные таланты: иной грамоту плохо знает, но хватается писать (в этом пункте свет, видно, мало изменился). Основавшись на этом, он изрек: «А ну, пане Трофиме! не угобзишься¹ ли ты в писании? Несть человека без дарования; иный славен в одном, другой в другом; ов² мудро четет, ов красно пишет; иный умудряется звонить, а иный отличается в шалостях — и то талант. И самое питие горелки требует дарования: ов от чарки упивается и творится безгласен, а ов и осьмухою³ неодолим пребывает. Итак, пане Трофиме, воспримемся испытывать твои

¹ Угобзишься — окажешься способным.

² Ов — тот.

³ Осьмуха — восьмая доля известной меры или веса, стакан.

таланты». После чего пан Кнышевский зело засуетился, собирая что-то, и я ожидал, что он поставит предо мною штоф¹ водки, дабы испытать, имею ли я талант к питию ее. Но все это клонилось к приготовлению для письма.

Предложили мне черную доску, разведенный в воде мел и перо. Пан Кнышевский объяснил со всем жаром пользу писания, что без него «како бы возможно было словесно помянуть всех усопших? А понеже придумано писание, то и все покойники от Адама до сего дне, все до единого переписаны и записаны в поминальные грамотки, и никто без поминания не остается. А каковый доход дается пишущим грамотки упокойные!.. Потщися, панычу, почерпнуть сию премудрость — и будеши имети мзду велию. При благоприятном случае, егда от свирепующих болезней многие умирают, угобзится тебе не мало толико! Писание таковых грамоток одна полезная вещь, а прочее — все суета; не подобает унижати сего великого художества на такое мизерное тщеславие». Тут следовало изъяснение, как держать перо, как писать и т. п. — и моя десница пошла писать... Но что это были за фигуры вместо букв, я вам и рассказать не умею; одним словом, пробовал он учить меня писать уставом, полууставом и скорописью — и все никуда не годилось!

Пан Кнышевский справедливо заключил, что мне «не дадесе мудрость и в писании», и потому отложил свои труды; но, желая открыть во мне какой ни есть талант, при первом случае послал меня на звонницу отзвонить «на ьерую» по покойнику.

На колокольне нашей было колоколов всего пять, и я мог уже и один с ними управиться. Подобрал

¹ Ш т о ф — четырехгранный стеклянный сосуд с коротким горлышком, вмещающий 1/10 ведра вина.

веревки и видя, что никто не оспаривает у меня удовольствия звонить, я с восторгом принялся трезвонить во все руки, а между тем читать весь символ, как наставлен был паном Кнышевским, читать неспешно, сладко и не борзяся по стихам, а с ами-нем перестать — забыл. «Разбестия Артемий! — прибавил к наставлению пан дьяк. — Мог бы по случаю скончания родителя расщедриться и угобзиться на целый пятидесятый псалом, но заплатил только на символ».

Испытали ли вы, господа, наслаждение звонить, а еще того более — трезвонить? Не в переносном смысле, а в прямом, буквальном! Нет? Жалею о вас. Это особого рода удовольствие! Вы взлезаете на колокольню, вы выше всех, все ниже вас. Еще взбираетесь на нее: сколько мальчиков, по сродной им склонности, обгоняли вас, не пускали, сталкивали; но вы сяк-так превозмогли все препятства, победили все, удержали место за собою. Не встречая препятствий, подобрали все веревки в руки, уладили их — и давай греметь, трезвонить во все руки. Какой восторг! По всей деревне раздается «динь-динь-динь-бем-бем-бом». Всех оглушает звон, и все это производите вы, стоя на возвышении, а чернь, то есть ваша чернь, стоящая и ходящая ниже вас, слыша ваш трезвон, поглядывает на вас, подняв головы, как на нечто возвышенное. Тут удовлетворено ваше славолубие, самолюбие и даже честолубие! Вы плаваете в восторге! Весь этот шум производите вы, нарушаете всеобщую тишину... Не хотите перестать, повинуетесь одной необходимости, отрезвонили и с колокольни прочь, смешались со всеми, никто и не глядит на вас, не отдает вам цены и не замечает вас в толпе... Не скорбите! вы были выше всех; шум и звон ваш слышали все. После него не осталось ничего? Нужды нет: вы на-

слаждались, вы шумели, вы трезвонили... Испытайте, прошу вас, это особого рода наслаждение! Спросите у бывших на колокольне и трезвонивших в свой черед; они готовы вам целый день рассказывать, как они подбирали веревки, как улаживали все, как старались громче звонить!.. Никто вам этого, кроме действовавшего, не расскажет, потому что все прочие слышали только звон, а звонившим не занимались, да и звон с последним ударом колокола забыли, — и почитают, что человек, или глупый мальчик, только затем взбирался на возвышение, чтобы пустым звоном набить уши другим...

В таких философских рассуждениях я трезвоню себе во все руки больше полчасу, забыв все наставления пана Кнышевского, и продолжал бы до вечера, как он явился ко мне на звонницу и с грозным взором вырвал у меня веревки, схватил за чуб и безжалостно потащил меня по лестнице вниз; дома же порядочно высек за то, что я оттрезвонил более данных ему денег.

— Не имеет и в звоне таланта, — сказал пан Кнышевский, ударяя себя руками по бедрам.

В то время был благочестивый в школах обычай — и как жаль, что в теперешнее время он не существует ни в высших, ни в нижних училищах. В субботу школяры не имели уроков, но, протвердив зады и собравшись в кучу, приходили к пану Кнышевскому. Ученик, первый по учению (и это всегда был брат Петруся), возглашал за всех: «Мир ти, благий учителю наш!» — «Треба бити вас», — отвечал важно пан Тимофтей, а мы должны поклониться низко. После того все ученики, без различия состояний, становились в две линии; посредине поставлялся ослон (скамейка), и у нее восстоял пан Кнышевский, имея рукава засученные и в грозной деснице держа толстый пук розог. В линиях



стояли отдельно псалтырщики, часословщики и грамотники; школа делилась на три класса; писатели не отличались особо, потому что учащий псалтырь учился и писать.

Когда все было устроено, пан Кнышевский возглашал «пане Петре!», и брат мой подходил свободно, что нужно расслабивая, дабы не задержать других... Пан Кнышевский относился к одному из учеников: «Пане Закрутинский, кая есть четвертая заповедь? Прочти нам ее повагом и не борзяся»¹.

¹ Повагом и не борзяся — внушительно и не торопясь.

И ученик провозглашал: «Помни день субботний...» и прочее, слово за словом, медленно; а пан Кнышевский полагал шуйцею брата Петра на ослон¹, а десницею ударял розгою, и не по платью, а в чистоту... ударял же по расположению своему к ученику — или во всю руку, или слегка; а также или сыпал удары часто, или отпускал их медленно. Я сделал расчисление, что иному доставалось ударов пятнадцать, смотря по скорости движения руки дьяка в продолжение чтения; а иному — только три. Получивший напоминание заповеди, вскакивал, кланялся пану Кнышевскому и, целуя руки его, должен был сказать: «Благодарствую, пане Тимофtee, за научение». И пан Тимофтей со всей важностью запечатлевал обряд, приговаривая: «Сие тебе за прошедшие и будущие прегрешения. Помни день субботний до грядущия субботы; иди с миром». Ученик тут же выбегал из школы и был свободен до понедельника.

Потом производилось то же действие с каждым учеником поодиночке, до последнего. И как в иной год учеников бывало до пятнадцати благородных и низкородных (кроме нас, панычей, были и еще дети помещиков, нашего же прихода), то мы, грамотники, как последние, нетерпеливо ожидали очереди, чтобы отбыть неминуемое и скорее бежать к играм, шалостям и ласкам матерей. Ожидая очереди, мы, все должное расслабив, поддерживали руками, чтобы не затрудняться при наступлении действия.

От действия субботки не освобождался никто из школярей, и самые сыновья пана Кнышевского получали одинаковое с нами напоминание.

¹ Полагал шуйцею брата... на ослон — бросал левою рукою брата на лавку.

Зато какая свобода в духе, какая радость на душе чувствуема была нами до понедельника! В субботу и воскресенье, что бы ученик ни сделал, его не только родители, но и сам пан Кнышевский не имел права наказать и оставлял до понедельника, и тогда «воздавал с лихвою», как он сам говорил.

Действие субботки мне не понравилось с первых пор. Я видел тут явное нарушение условия маменькиного с паном Кнышевским и потому не преминул пожаловаться маменьке. Как же они чудно рассудили, так послушайте. «А что ж, Трушко! — сказали они, глядя меня по голове. — Я не могу закона переменить. Жалуйся на своего отца, что завербовал тебя в эту дурацкую школу. Там не только я, но и пан Кнышевский не властен ничего отменить. Не от нас это установлено».

Узнав о моей жалобе, пан Кнышевский взял свои меры. Всякий раз, когда надо мною производилось действие, он заставлял читающего ученика повторять чтение несколько раз, крича: «Как, как? Я не расслышал. Повтори, чадо! Еще прочти». И во все это время, когда заповедь повторяли, а иногда «пятерили», он учащал удары мелкою дробью, как барабанщик по барабану... Ему шутки — он называл это «глумлением», — но каково было мне? Ясно, что маменькин холст пошел задаром.

В одну из суббот, когда пан Кнышевский более обыкновенного поглумился надо мною, до того, что мне невозможно было идти с братьями домой, я остался в школе ожидать, пока маменька пришлет мне обед, который всегда бывал роскошнее домашнего, и прилег на лавке, додумываясь: по какой причине мне более всех задают память о субботе? В это время пан Кнышевский, распустив школу, уселся

в своей светлице и принялся за ирмолой¹ протвердить ирмосы догматики и другие напевы, требуемые в наступающую вечерню и воскресное служение. Голос у него был отличный: когда брал низом, то еще все ничего; но когда поднимал горою, так тут прелесть была! Конечно, на третьей улице слышно было это резкое, звонкое, пронзительное пение.

До того голос его был разителен, что все слушающие его сознавались, что при его пении у них кожу на спине подирало, точно так, как при пилении железа.

Вот он как протверживал свое пение, я слушал его с наслаждением. Когда же дьячиха покледила его обедать, то я, скуки ради, начал себе лежа попевать; и далее, далее, придя в пассию, вырабатывал своим голосом самые трудные штучки.

Пропев одну псалму, другую, я оглянулся... о, ужас! пан Кнышевский стоит с поднятыми руками и разинутым ртом. Я не смел пошевелиться; но он поднял меня с лавки, ободрил, обласкал и заставил меня повторять петую мною псалму: «Пробудись от сна, невеста». Я пел, как наслышался от него, и старался подражать ему во всем: когда доходило до высших тонов, я так же морщился, как и он, глаза сжимал, рот расширял и кричал с тою же приятностью, как и он.

С восторгом погладил меня по голове пан Кнышевский и повел меня к себе в светлицу. Там достал он пряник, и в продолжение того, как я ел его, он уговаривал меня учиться ирмолойному пению. Струсил я крепко, услышав, что еще есть предмет учения. Я полагал, что далее псалтыря

¹ Ирмолой — церковная книга, содержащая ирмосы — стихи песенной молитвы.

нет более чему учиться человеку, как тут является ирмолой; но, дабы угодить наставнику и отблагодарить за засохший пряник, я согласился.

Пан Кнышевский развернул предо мною ирмолой и, пробы ради, начал толковать мне значение ирмолойных крючков. Сам не знаю, как это сделалось, только я понимал всю эту премудрость и быстро следовал за резким голосом пана Тимофтея, до того, что мог пропеть с ним легонький догматик. Правду сказать, что и метода его была самая благоуспешная. Пользы ради других учеников и в наставление других учащихся вообще пеню, я должен открыть ее. Он держал меня за ухо: когда тоны спускались вниз, он тянул меня книзу; возвышающиеся тоны заставляли его тянуть ухо мое кверху. При самых высоких тонах он тянул ухо кверху сколько было у него силы, а я пел или — правильнее — кричал что было во мне мочи. При переливах голоса он дергал меня из стороны в сторону, и я выделявал все га-га-га-га чудесно. Вот и весь секрет; я не утаиваю ничего и говорю во всеуслышание. Советую первому учителю пения испытать эту методику над учеником или ученицею и честью уверяю, что в несколько часов научит громкому пеню. Я тому живой пример. Век открытий! Изобретены способы в несколько уроков читать, писать, рисовать, обучиться всем наукам; вот новый способ в два-три часа выучиться петь так, чтобы далеко слышно было. Способ легкий, незатейливый и удачливый.

Дело у нас шло удивительно успешно. Но учение мое происходило келейно, тайно от всех. Пан Кнышевский хотел батеньку и маменьку привести в восторг нечаянно, как успехами и других братьев, а именно:

Петруся, как я и сказал, удивительно преуспевал в чтении; после трех лет ученья не было той

книги церковной печати, которой бы он не мог разобрать, и читал бойко. В одно воскресенье, когда батенька и маменька были в церкви, вдруг выходит читать апостол... кто же? — Петруся!.. Посудите, пожалуйста: мальчик по двенадцатому году, не доучивши и девятой кафизмы¹ — и читает апостол! Да как читает! Без лести сказать, дело давно прошедшее, и мы же с ним всю жизнь провели в ссорах и тяжбах, но именно, как бы сам пан Кнышевский читал: так же выводит, так же понижает, так же оксии...² Нет, брат имел необыкновенный ум! Конечно, гортань детская, не против звонкой, резкой гортани пана Кнышевского — это также чудо в своем роде, но все-таки гортань по возрасту редкая!

Без умиления нельзя было глядеть на батеньку и маменьку. Они, батенька, утирали слезы радости; а они, маменька, клали земные поклоны и тут же поставили большую свечу. Пан Тимофтей получил не в счет мерку лучшей пшеничной муки и мешок гороху, а Петруся, после обеда, полакомили бузинным цветом, в меду варенным.

Горбун Павлуся также в грамоте силу знал; но как его натура была ветреная, то он все делал — как теперь говорят — «неглиже». Он склонен был более к художествам: достать ли чего нужно из маменькиной кладовой без пособия ключа; напроказив что самому, сложить вину на невинного, из явной беды вывернуться — на все это он был великий мастер; но колокольня была его любимое занятие. И, сказать по справедливости, как он звонил, так на удивление! Не подумайте, однако ж,

¹ Кафизмы — отдельные главы псалтыря.

² Оксия — надстрочный знак церковной грамоты, обозначающий ударение.

чтобы его кто учил или показал метод — пан Кнышевский или Дрыгало, наш плешивый пономарь; честию моею уверяю, что никто его не наставлял, а так, сам от себя: натура или, лучше сказать, природа. Не из хвастовства сказать, а как опять к речи пришлось, что я удостоился на своем веку быть в Петербурге и прислушивался, как звонят... Бывал в Москве, слышал различные звоны... Хорошо, но все не то, что Павлусино звонение; пусть себе столичные жители хотя обижаются, но я правды не потаю.

Дело прошлое, он хотя и брат мой, и уже умер, но скажу, что он вызванивал разные штучки: умел на колоколах выражать, как утки квакают, как гуси игекгекают, петухи кукарекают... Да чего не выражал он! Даже до того дошел, что «вдавал», как дьячиха на пана Тимофтя ворчала и грызла его: это он выражал маленькими колокольчиками... да как затрещит, запорошит, вот точно слышишь: «Сгинь, пропади, твоя голова, старый, неуклюжий, тарататарата...» — как обыкновенно жены грызут мужей. А большой колокол выражал гневного пана Кнышевского, якобы ворчащего: «Баба, полно, будет». Великий художник был брат Павлусь!

Однажды пан Кнышевский послал Павлуся отзвонить по преставившемся обывателе, богатом и оставившем большое семейство. Павлуся отличался, а дьяк у колокольни читал семнадцатую кафизму, как меру, пока должно звонить, потому что заплачено за позвон щедро.

В то время батенька с маменькою были в проходке и подошли к звоннице послушать необыкновенного звона.

— Кто это так умирительно звонит? — спросила маменька у пана Кнышевского.

— Один из школярей моих, — сказал с лукавством пан Кнышевский, прервав стих псалма.

— Мастерски! — сказал батенька.

— Явственно выражает, — продолжал дьяк, — и скорбь супруги, и плач чад, и звон оставшихся денег, их же не мало остася.

— Прикажите ему, пане Тимофtee, — сказали маменька, — когда перезвонит, чтобы пришел ко мне: я ему дам моченое яблоко в услужение, как он усладил меня своим звоном.

— Сие можно учинить и в сие мгновение, — сказал пан Кнышевский, махнув рукою, чтоб Павлусь перестал звонить и сошел.

Слезши с звонницы, брат Павлусь явился взору родителей моих — и радостный крик их остановил глаголение дьяка. Невозможно описать восторга батеньки, увидевших и удостоверившихся, что и у второго сына их, обиженного натурою, произведшею на спине его значительный горб, открылся талант и еще отличный. Полные радости душевной, как нежные родители, они попеременно ласкали Павлуса и повели с собою, чтобы покормить его молочной кашею, приготовленною для них после проходки. А пану Кнышевскому ни за что ни про что — потому что вовсе не учил Павлуса этому художеству — батенька подарили копну сена, а маменька клубок валу (пряжи) на светильни для каганца.

Наступило время батеньке и маменьке узнать радость и от третьего сына своего, о котором даже сам пан Кнышевский решительно сказал, что он не имеет ни в чем таланта. И так пан Кнышевский преостроумно все распорядил: избрал самые трудные псалмы и, заведя меня и своего дьячонка скрытно от всех на ток (гумно) в клуне (риге), учил нас вырабатывать все гагаканья... О, да и досталось же моим ушам!

Пан Кнышевский, трудясь до пота лица, успел, наконец, в желании своем, и мы в три голоса могли пропеть несколько псалм умилительных и кантиков восхитительно. Для поражения родителей моих внезапную радостью избрал он день тезоименитства маменьки, зная, что по случаю сей радости у нас в доме будет банкет.

В радостный тот день, когда пан полковник и гости сели за обеденный стол, как мы, дети, не могли находиться вместе с высокопочтенными особами за одним столом, то и я, поев прежде порядочно, скрывался с дьячком под нашим высоким крыльцом, а пан Кнышевский присел в кустах бузины в саду, ожидая благоприятного случая. Первую перемену блюд мы пропустили, чтобы дать вволю гостям свободно накушаться. Но когда сурмы и бубны возвестили о другой перемене, тут мы вошли в сени, прокашлялись, развернули ирмолой, пан Кнышевский взял меня и дьячка за уши, и мы начали... Внезапное изумление поразило всех трапезующих.

Батенька, как были очень благоразумны, то им первым на мысль пришло: не слепцы ли это поют? Но, расслушав ирмолойное искусство и разительный, окселентующий голос¹ пана Тимофтея, как сидели в конце стола, встали, чтоб посмотреть, кто это с ним так сладко поет. Подошли к дверям, увидели и остолбенели... Наконец, чтоб разделить радость свою с маменькою, тут же у стола стоявшею, отозвались к ней:

— Фекла Зиновьевна!.. Посмотри!.. — Больше ничего не могли сказать: слезы их проняли...

Маменька очень любила пение; и кто бы им ни запел, они тотчас задумываются, тут же они подносили пану полковнику тот кусочек от курицы, что

¹ Окселентующий голос — вторящий голос.

всякий желает взять, и как услышали наше сладкопение, забыли и кусочек, и пана полковника, и все стали как вкопанные, очень задумались и голову опустили.

Услышав же батенькин отзыв, подумали и спросили: «Чего там смотреть?»

— Посмотрите, душко, кто это поет? — сказали батенька.

— А нуте, нуте, кто это там поет? — сказали маменька.

Тут батенька, взяв пана Кнышевского за пояс, втащили его в горницу, а за ним и мы втянуты были дьяком, не оставлявшим ушей наших, дабы не расстроилась псалма.

Маменька, как увидели и расслушали мой голос, который взобрался на самые высочайшие тоны — потому что пан Кнышевский, дабы пощеголять дарованием ученика своего, тянул меня за ухо что есть мочи, отчего я и кричал необыкновенно — так вот, говорю, маменька как расслушали, что это мой голос, от радости хотели было сомлеть, отчего должно бы им и упасть, то и побоялись, чтобы не упасть на пана полковника или чтоб не сделать непристойного чего при падении, то и удержались гостей ради, а только начали плакать слезами радости. Конечно, им бы следовало сильнее выразить свою чувствительность, затем что когда батенька, и не любивши меня, прослезились, увидя мое дарование, а им, маменьке, как о пестунчике своем, одних слез недостаточно было, но я их не виню: банкет, пан полковник и все гости помешали большому «пасажу».

Батенька, с дозволения пана полковника, поднесли пану Кнышевскому большую чарку вишневки и просили еще услаждать пением. Пан полковник

приказал стать поближе к себе, и мы, ободренные, пошли вдаль, все вдаль. Пан полковник, хотя кушал индейку, начиненную сарацинским пшеном с изюмом, до того прельстился нашим пением, что, забыв, что он за столом, начал нам подтягивать басом, довольно приятно, хотя за жеванием не разводил губ, причем был погружен в глубокие мысли, чаятельно вспомнил свои молодые лета, учение в школе и таковое же пение. Гости были в восторге от нашего пения, маменька все плакала от умиления, потому что мы пели псалмы все чувствительные. Батенька не могли усидеть на месте, забывали угощать гостей, и, когда я вырабатывал, при помощи дранья меня за ухо, высшие ноты, они подходили ко мне и целовали меня в голову.

После обеда батенька приказали уkontентовать пана Кнышевского елико можаху, а меня закармли все, кто чем успевал, и все любовались и завидовали моему громкому и звонкому голосу.

Торжество мое было совершенное. После этого достопримечательного дня мне стало легче. В школе — знал ли я, не знал урока — пан Кнышевский не взыскивал, а по окончании учения брал меня с собою и водил в дом богатейших казаков, где мы пели разные псалмы и канты. Ему давали деньги, а меня кормили сотами, огурцами, молочною кашею или чем другим, по усердию.

Маменька очень рады были, что у любимого их сына открылся любимый ими талант, и когда, бывало, батенька покричат на них порядочно, то маменька, от страха и грусти ради, примутся плакать и тут же шлют за мною и прикажут мне петь, а сами еще горше плачут — так было усладительно мое пение!

Таким побытом продолжалось наше учение, и уже прочие братья: Сидорущка, Офремушка и Его-

рушка поступили в школу; а старший брат Петрусь, выучив весь псалтырь, не имел чему учиться. Нанять же «инспектора» (учителя) батенька находили неудобным тратиться для одного, а располагали приговорить ко всем троим старшим, но я их задерживал: как стал на первом часе — да ни назад, ни вперед.

Брату Петрусью было уже пятнадцать лет. Он пана Кнышевского и в грош не ставил; и как был одарен отличным умом и потому склонен к шалостям, то начал изобретать разные потехи.

Дьячиха, жена пана Кнышевского, преобладала мужем своим, несмотря на все его уверения, доказательства, что он есть ее глава. «Как бы ты был в супружестве рука, — возражала на это дьячиха, — тогда бы ты что хотел, то и делал; но как ты голова, да еще дурная, глупая, то я, как руки, могу тебя бить». И с этим словом она колотила порядочно его голову и рвала за волосы.

— Воздержись, окаянная! — вопил Кнышевский. — Измождай тело мое, но не глумись над волосами, на них же не подобает железу взыти...

— Я не железом, а грешными руками рву твои патлы... — приговаривала дьячиха, таская его за длинную косу, коею он всегда отличался.

Он был в совершенной ее зависимости по самый день смерти ее. Когда она умерла, положивши ее как должно, назначил псалтырьщиков своих читать над нею, умилился сердцем и возопил при всех нас: «Брате Тимофее, лукавствуй! Твоя воля, твори, ежи хочещи, несть препинающий тя». И потом, выпив на калган¹ гнатою горелки, пошел в школу отдыхать на лаврах, избавясь от гонительницы своей.

¹ К а л г а н — народное название некоторых травянистых растений, имеющих лекарственное применение.



Это делалось вечером. Лишь только пан Кнышевский восхрапел, брат Петрусь приступил к действию. Меня поставили к псалтырю, приказав мурлыкать, будто кто читает. Брат Павлусь, как великий художник, пробил в горшке глаза, нос и рот, заклеил бумагой и оттенил углем. Брат Петрусь достал дьячихино платье, принарядился кое-как и приготовленный горшок поставил вверх дном на голову, а в середину его утвердил свечу. Фигура была ужасная, от которой нет такого храброго в мире воина, чтобы насмерть не испугался. В этом наряде Петрусь пошел к спящему зело крепко в школе пану Кнышевскому. Петрусь был окружен школьниками, держащими кошек, коих при входе в школу начали они тянуть за уши и хвосты; кошки подняли страшный крик, мяуканье, визг... Пан Кнышевский невольно воспрянул от сна и, увидев необычайное явление, начал творить заклинания. Но Пет-



русь не боялся их и тонким, визгливым, резким голосом, как покрикивала умершая, начал грозить пану Кнышевскому, чтобы он не полагал ее в отсуствии от себя, что душа всегда будет находиться в зеленом поставчике и, смотря на его деяние, по ночам будет мучить его, если он неподобное сотворит. Повелевала не наказывать вовсе ни за что школярей и не принуждать их к учению, а особенно панычей (коих с поступившими от других помещиков было всего одиннадцать), которым при-

казывала давать во всем полную волю... и много тому подобного наговорив, Петрусь скрылся с глаз дьяка.

Трепещущий, как осиновый лист, вошел в хату пан Кнышевский, где уже Петрусь как ни в чем не бывало читал псалтырь бегло и не борзяся, а прочие школяры предстояли. Первое его дело было поспешно выхватить из зеленого поставца калгановую и другие водки и потом толстым рядом покрыть его, чтобы душа дьячихи, по обещанию своему там присутствующая, не могла видеть деяний его.

С тех пор Петрусь что хотел, то и делал. Школа наша превратилась в собрание шалунов самых дерзких. Главным занятием было, под предводительством Петруся, приобретение дынь, арбузов, огурцов, груш и проч. и проч. Никакие плетни не удерживали школярей; где же встречались запоры или замки, тут действовало художество брата Павлуся, и он препобеждал все. Дерзким шалостям не было конца. Не уважаемый нами, пан Кнышевский восставал на нас с грозой и требовал, чтобы мы сидели смиренно и твердили стихи; но Петрусь при том вскрикивал: «Пане Кнышевский! Не слышите ли, что это в зеленом поставце шевелится?»

— Гм! Гм! — покашливая, взглядывал пан Кнышевский на поставец и медленно уходил в свою светлицу, а мы, школяры, продолжали свои занятия неудержанно никем.

Дома своего мы вовсе не знали. Батенька хвалили нас за такую прилежность к учению; но маменька догадывались, что мы вольничаем, но молчали для того, что могли меня всегда, не пуская в школу, удерживать при себе. Тихонько, чтобы батенька не услышала, я пел маменьке псалмы, а они закармливали меня разными сладостями.

Братья же мои, пребывая всегда в школе с благородными и подлыми товарищами, «преуспевали на горшее», как говорил пан Кнышевский, вздыхая, не имея возможности обуздать своих учеников.

Брат Петрусь, как всегда великого ума люди, был любовной комплекции, но в занятия такого рода, по тогдашнему правилу, не мог пускаться, потому что еще не брил бороды, ибо еще не исполнилось ему шестнадцати лет от роду.

Когда же настал этот вожделенный для него день, день рождения его, коим начиналось семнадцатое лето жизни его, то призван был священник, прочтена была молитва; Петрусь сделал три поклона к ногам батеньки и маменьки, принял от них благословение на бритье бороды и получил от батеньки бритву, «которую, — как уверяли батенька, — голился еще прапращур наш, войсковой обозный Пантелеймон Халявский», и бритва эта, переходя из рода в род по прямой линии, вручена была Петрусью с тем же, чтобы в потомстве его, старший в роде, выбрив первовыросшую бороду, хранил как зеницу ока и передавал бы также из рода в род.

Маменька же благословила Петруся куском греческого мыла и полотенцем, вышитым разными шелками руками также прабабушки нашей в подарок прадедусшке нашему, для такого же употребления. Вот и доказательство, что род Халявских есть один из древнейших.

Церемония была трогательная. Сами батенька даже всплакнули; а что маменька, так те навзрыд рыдали. Конечно, очень чувствительно для родителей видеть первенца брака своего, достигшего совершенных лет, когда уже по закону или обычаю он должен был исполнять действие взрослых людей. В теперешнее время где найдем сей похваль-

ный обычай? Кто из юношей достигает шестнадцатилетнего возраста с небритою бородою и с удалением себя от некоторых действий, свойственных совершенным людям? Наши, то есть теперешние, юноши в шестнадцать лет смотрят стариками, твердят, что они знают свет, испытали людей, видели все, настоящее их тяготит, прошедшее (у шестнадцатилетнего!!!) раздирает душу, будущее ужасает своею безбрежною мрачностью и проч. и проч. И все такие черные мысли у них оттого, что они не имели учителей, подобных пану Кнышевскому, с его субботками, правилами учения, методою в преподавании пения и всем и всем. Святая старина!

Пожалуйте же, что там, на церемонии, происходит. По окончании поклонений и подарков Петрусь тут же был посажен, и рука брадобрея, брившего еще дедушку нашего, оголила бороду Петруся, довольно по черноте волос заметную; батенька с большим чувством смотрели на это важное и торжественное действие; а маменька пугались всякого движения бритвы, боясь, чтобы брадобрей, по неосторожности, не перерезал горла Петруся, и только все ахали.

Когда кончилось действие (должен объявить, что усы у Петруся, по тогдашнему обыкновению, не были выбриты), тогда батенька попотчевали из своих рук брадобрея и Петруся, которому приказали выпить свою рюмку, сказав: «Ты теперь совершенный муж, и тебе разрешается на вся». Потом был обед праздничный и после него лакомства разных сортов.

Пан Кнышевский в числе прочих детей имел дочь, достигшую пятнадцатилетнего возраста. Увидев, что Петрусь, оголив свою бороду, начал обращение свое с нею, как совершенный муж, коему —

по словам батеньки — разрешается на вся, он начал ее держать почти взаперти во все то время, пока панычи были в школе, следовательно, весь день; а на ночь он запирали ее в комнате и бдёл, чтобы никто не беспокоил ее ночную порою. Затворница крепко тосковала и при случае успела шепнуть, что она рада бы избегать от такого стеснения. Немедленно приступлено к делу.

Вечером несколько школярей по одному названию, вовсе не хотевших учиться, не слушая и не уважая пана Кнышевского, тут собрались к нему и со всею скромностью просили усладить их своим чтением. Восхищенный возможностью блеснуть своим талантом в сладкозвучном чтении и красноречивом изъяснении неудобопонимаемого, пан Кнышевский уселся в почетном углу и разложил книгу; вместо каганца даже самую свечу засветил и, усадив нас кругом себя, подтвердив слушать внимательно, начал чтение.

На третьей странице я отпросился выйти. Не успев выйти из сеней, я начал кричать необыкновенным голосом: «Собака, собака! Ратуйте... собака!..»

Пан Кнышевский первый бросился ко мне на помощь; но лишь только он выскочил из сеней, как собака бросилась на него, начала рвать его за платье, свалила на землю,хватила за пальцы и лизала его по лицу.

Пан Кнышевский кричал не своим голосом. Все школяры высыпали из хаты, закричали на собаку, которая, отбежав и никого не трогая, смотрела с угла на происходящее. Не пораненного нигде, но более перепуганного, пана Кнышевского втащили мы в хату и, осмотрев, единогласно закричали, что это бешеная собака, которая если не покусала его, то уже, наверное, заразила его. Пан Кнышевский

задрожал всем телом, а школяры начали кричать: «Бесится, пан Тимофтей бесится; давайте воды попробовать». Мы, не выпуская его из рук, приготовлялись обдать водою, а он кричал ужасно, даже ревел. Тут мы больше принялись утверждать, что «пан Тимофтей бесится».

— Чада моя! Спасите меня! — начал он просить нас умоляющим голосом, и мы признали за необходимость связать ему руки и ноги и, так отнеся его в пустую школу, там запереть его. Трепеща всем телом и со слезами, он согласился и был заключен в школе, коей дверь снаружи заперли крепко.

— Фтеодосию!.. Фтеодосию!.. — начал кричать пан Кнышевский из своего заключения, вспомнив про дочь свою. — Фтеодосию спасите! Да идет она на пребывание к пономарке Дрыгалыхе, дондеже перебешуся.

Но мы, уверив беснующегося, что дочь его при первой суматохе побежала звать знахарку, тем успокоили его.

Брат Петрусь, как расположивший всем этим происшествием, торжествовал победу... А Павлусь, как отличный художник, быв наряжен и действуя собакою и так сильно напугавши пана Кнышевского, теперь переряживался в знахарку.

Когда все кончилось и Павлусь также был готов, то Петрусь пошел с нами к заключенному. Фтеодосия, смущенная, расстроенная, дрожащими руками несла перед нами свечу.

Знахарка вошла, шептала над страждущим, плевала, лизала его, умывала и, намешав толченого угля с водою, дала ему выпить эту воду, все продолжая шептать. Все мы уверяли, что с больного как рукою сняло бешенство, и мы выпустили его.

Горбунчик Павлусь прекрасно сыграл свои роли: был настоящею собакою, ворчал, лаял, выл и тормозил пана Кнышевского вот-таки как истинная собака. Знахарку он также представил весьма натурально: поговорки, приговорки, хрипливый голос, удушливый кашель — все, все было очень хорошо. Недурно и Петрусь сыграл свою роль, даже весьма успешно; и это ему так понравилось, что он затеял повторить эту комедию и на следующий вечер.

Вечером, когда мы уселись опять слушать чтение пана Кнышевского и когда он со всем усилием выражал читаемого, Фтеодосия из комнаты, где она запираема была отцом своим, закричала: «Ах, мне лихо! Посмотрите, панычи, чуть ли не бесится мой пан отец?»

— Ах, так и есть, так и есть! — начал кричать Петрусь, а за ним и все кричали: — Бесится пан Кнышевский, бесится!

— Берите же меня паки, — простонал несчастный, — свяжите вервием¹ и предайте заключению во тьму кромешную...

Мы его честно связали и поволокли в школу. Он оттуда кричал дочери: «Фтеодосие! По-вчерашнему...»

— И без вас знаю, — отвечала она, поспешая в комнату.

— Пригласите волшебницу спешнее! — вопил дьячок.

В свое время знахарка явилась и освободила пана Кнышевского от бешенства. Он сам сознавался, что в сей раз бешенство овладело им менее, нежели вчерашний день.

Пан Кнышевский охотно давал себя связывать,

¹ В е р в и е — льняная или пеньковая веревка.

и мы уверены были, что он без ворожбы с места не подвинется, а потому день ото дня беспечнее были насчет его: слабо связывали ему руки и почти не запирали школы, вводя его туда.

Эти комические интермедии с паном Кнышевским повторялись довольно часто. В один такой вечер наш художник Павлусь, от небрежности, как-то лениво убирался знахаркою и выскочил с нами на улицу ради какой-то новой проказы. Пану Кнышевскому показалось скучно лежать; он привстал и, не чувствуя в себе никаких признаков бешенства, освободил свои руки, свободно разрушил заклепы школы и тихо через хату вошел в комнату.

Тут он в самом деле взбесился и «возрыкал, аки вепрь дикий», как сам после рассказывал. Виновный пробежал мимо его за ворота, на улицу... Не понимая, в чем дело, мы также пустились «во все лопатки» за Петрусем домой!

На другой день очень рано пан Кнышевский явился к батеньке с жалобою на всех нас.

— Помилуйте, вельможный пане подпрапорный! — вопил пан Кнышевский, и просил, и требовал удовлетворения, причем рассказал весь ход интриги нашей и все действия изъяснил со всею подробностью.

Батенька так и покатались со смеху и с удивлением восклицали: «Что за умная голова у этого Петруся! Что за смелая бестия этот Петрусь! Мне бы и во сто голов так не выдумать. Это удивление, а не хлопец!»

Когда же пан Кнышевский умолял и требовал возмездия за поругание, то батенька сказали ему:

— Да чего ты, пане Кнышевский, так турбуешься (хлопочешь)? Что дитя так пошалоило, а ты уже и за дело считаешь.

— Истина глаголет устами вашими, вельможный пане подпрапорный! — сказал пан Кнышевский, прижав руки к груди и возведя очеса свои горе. — Но иначе... последствие...

— Будет еще время толковать об этом, пане Кнышевский, а теперь иди с миром. Станешь жаловаться, то, кроме сраму и вечного себе бесчестья, ничего не получишь; а я за порицание чести рода моего уничтожу тебя и сотру с лица земли. Или же возьми, когда хочешь, мешок гречишной муки на галушки и не рассказывай никому панычевской шалости. Себя только осрамишь.

Пан Кнышевский, поклонясь, пошел и, не отказавшись от муки, принес ее домой, а происшествие предал вечному молчанию, а Фтеодосия и подавно никому не открывала.

И хорошо сделал пан Кнышевский, что замолчал. Он ничего бы не выиграл против батеньки, а только раздражил бы их. Хотя они были не больше как подпрапорные, но, оставляя титул, по своему богатству были очень сильны и важны. Но как были нравны, так это ужас! Все их трепетали, а они ни о ком и не думали. Не приведи господи взойти на нашу землю хотя курице господской — в прах разорят владельца ее; а если вздумает поспорить или упрекнуть, так и телесно над ним наругаются, а сами и в ус себе не дуют. И пан полковник таки всегда за батеньку руку тянул, помня отличные его банкеты и другого рода уважения.

Так куда же было пану Кнышевскому подумать тягаться с батенькою, так уважаемым и чтимым не только всею полковою старшиною, но и самим ясно-вельможным паном полковником? Где бы и как он ни повел дело, все бы дошло до рассудительности пана полковника, который один решал все и всякого рода дела. Мог ли выиграть ничтожный дьячок

против батеньки, который был «пан на всю губу»? И потому он и бросил все дело, униженно прося батеньку, чтобы уже ни один паныч не ходил к нему в школу.

Батенька, топнув ногою, прикрикнули на него: «Вот глупый дьяк, умствует из-за своей дрянной дочки! Сам не знает уже, чему учить, да и находит пустую причину к отказу. Вздор! Меньшие хлопцы: Сидорушка, Офремушка и Егорушка — должны у тебя учиться по договору, а старших трех ты не умеешь чему учить».

В таковых батенькиных словах заключалась хитрость. Им самим не хотелось, чтобы мы, после давишнего, ходили в школу; но желая перед паном Кнышевским удержать свой «гонор», что якобы они об этой истории много думают — это бы унизило их, — и потому сказали, что нам нечему у него учиться. Дабы же мы не были в праздности и не оставались без ученья, то они поехали в город и в училище испросили себе «на кондиции»¹ некоего Игнатия Галушкинского, славимого за свою ученость и за способность передавать ее другим.

Маменька крепко поморщилась, увидев приведенного «нахлебника, детского мучителя и приводчика к шалостям». «Хотя у него и нет дочки, — так говорили они с духом какого-то предвидения, — но он найдет чем развратить детей еще горше, нежели тот цап (так маменька всегда называли дьячка за его козлийный голос). А за сколько вы, Мирон Осипович, договорили его?» — спрашивали они у батеньки, смотря исподлобья.

— Стол вместе с нами всегда, — рассказывали батенька, однако ж вполголоса, потому что сами видели, что проторговались, дорогонько наз-

¹ Кондиции — уроки учителя в частных домах.

начили, — стол с нами, кроме банкетов: тогда он обедает с шляхтою; жить в панычевской; для постели войлок и подушка. В зимние вечера одна свеча на три дня. В месяц раз позволение проездиться на таратайке к знакомым священникам, не далее семи верст. С моих плеч черкеска, какая бы ни была, и по пяти рублей от хлопца, то есть пятнадцать рублей в год.

— Так он уже за эту цену выучит детей всем на свете наукам? — спросили маменька хитростно и укорительно против оплошности батенькиной в высокой цене.

— Каким же всем наукам? — говорили батенька, смотря в окно, чтоб скрыть свой маленький стыд. — Российскому чтению церковной и гражданской печати, писанию и разумению по-латыни...

— И по-латыни! — воскликнули маменька удивленно-жалким голосом. — То были простые, а теперь будут латинские дурни!..

— Нуте же, полно, — сказали батенька, возвышая голос, — не давайте воли язычку. Вы знаете меня. Идите себе к своему делу.

И точно, маменька очень хорошо знали батенькину комплекцию и потому поспешили убраться в свою опочивальню, где наговорились вволю, осуждая батенькины распоряжения об нас, но все, по обычаю, тихо, чтоб никто не слышал. Потом волею или неволею, а поместили пана Галушкинского в панычевской.

Новое ученье наше началось 1-го сентября. Мы принялись прямо читать по-латыни. Инспектор наш, Галушкинский, объявил, что он, не имея букварей латинских, которых батенька, поспешая выездом из города, позабыли купить, не имеет по чем научить нас азбуке и складам латинским, то и начал нас учить прямо читать за ним по верхам. Не понимая,

отчего и почему, указывая на слово, мы должны были непременно говорить *manus*, *pater* и проч. На вопрос об этом Петруся, как весьма любознательного, инспектор всегда отвечал: «Того требует наука. Не ваше дело рассуждать».

Петрусь, по своему необыкновенному уму, в чем не только прежде пан Кнышевский, но уже и пан Галушкинский, прошедший риторический класс, сознавался, равно и Павлуся, по дару к художествам, мигом выучивали свои уроки; а я, за слабою памятью, не шел никак вдаль. Да и сам горбунчик Павлуся, выговаривая слова бойко, указывал пальцем совсем на другое слово.

К удивлению и обрадованию батенькиному — маменька же всегда, когда доходило до нашего ученья, замахивали руками и уходили прочь — в первое воскресенье инспектор привел нас к батеньке и заставил читать, «что мы выучили за неделю». Молодцы принялись отлепетывать бойко, громко, звонко, с расстановкой, руки вытянув вперед себя, глаза уставив в потолок (домине¹ Галушкинский, кроме наук, взялся преподавать нам светскую ловкость или «политичное обращение»), и с акцентами по своему произволению: «Патер ностер, кви ест ин целис»² — и проч., до половины.

Горбунчик Павлуся, как отрок изобретательного ума, самые слова выговаривал по своему произволению, например, *est in coelis* он произносил: «Есть нацелился» — и проч.

Батенька, слушая их, были в восторге и немного всплакнули; когда же спросили меня, что я знаю, то я все называл наизворот: *manus* — хлеб, *pater* —

¹ Домине — господин.

² «Патер ностер, кви ест ин целис» — «Отче наш, иже еси на небесех...» — начало молитвы.

зубы, за что и получил от батеньки в голову щелчок, а старших братьев они погладили по головке, учителю же из своих рук поднесли «ганусковой» водки.

Маменька же, увидевши, что я не отличился в знании иностранного языка и еще оштрафован родительским щелчком, впрочем весьма чувствительным, от которого у меня в три ручья покатились слезы, маменька завели меня тихонько в кладовую и — то-то материнское сердце! — накормили меня разными сладостями и, приголубливая меня, говорили: «Хорошо делаешь, Трушко, не учись их наукам. Дай бог и с одною наукою ужиться, а они еще и другую вбивают дитяти в голову».

Таким побытом инспектор наш, домине Галушкинский, ободренный милостивым вниманием батенькиным, пустился преподавать нам свои глубокие познания вдаль и своим особым методом. Ни я, ни Петруся, ни Павлуся не обязаны были, что называется, учиться чему или выучивать что, а должны были перенимать все из слов многознающего наставника нашего и сохранять это все, по его выражению, «как бублики, в узел навязанные, чтобы ни один не выпав, был годен к употреблению».

Хорошо было братьям — им все удавалось. Петруся, как необыкновенно острого ума человек, все преподаваемое ему поглощал и даже закидывал вперед учительских изъяснений. Домине Галушкинский изъяснял, что, вытвердив грамматику, должно будет твердить пиитику. Любопытный Петруся даже не усидел на месте и с большим любопытством спросил: «А чему учит пиитика?»

Домине Галушкинский погрузился в размышления и надумавшись и кашлянувши несколько раз, сказал решительно: «Видите ли, грамматика сама по себе, и она есть грамматика! А пиитика сама

по себе, и она уже есть пиитика, а отнюдь не грамматика. Понял ли?» — спросил он, возвыся голос и поглядев на нас с самодовольством.

— Поняли, — воскликнул я за всех и прежде всех, потому что и тогда не любил и теперь насмерть не люблю рассуждений об ученых предметах и всегда стараюсь решительным словом пресечь глубокомысленную материю. Вот потому я и поспешил крикнуть «поняли», хотя, ей-богу, ничего не понял тогда и теперь не понимаю. Видно, такая моя комплексция!

В другой раз Петруся, принявшись умствовать, находил в грамматике неполноту и полагал, что нужно добавить еще одну часть речи: брань — так он витийствовал и принялся в примерах высчитывать всевозможные брани и ругательства нарицательные и положительные, известные им во всех родах, свойствах и оборотах, испрашивал: «К какой части речи это принадлежит? Оно-де не имя, не местоимение, не предлог и даже не междометие, следовательно, особая часть речи должна быть прибавлена».

Я желал, чтобы вы взглянули тогда на нашего инспектора. Недоумение, удивление, восторг, что его ученик так глубоко рассуждает, — все это ясно, как на вывеске у портного в Пирятине все его предметы, к мастерству относящиеся, было изображено. Когда первое изумление его прошло, тут он чмокнул губами и произнес, вскинув голову немного кверху: «Ну!» Это ничтожное «ну» означало: «Ну, растет голова!» И справедливо было заключение домина! Во всем Петруся преуспел; жаль только, что не сочинил своей грамматики!

Павлуся, как малый художественный, изобретательного ума, отделялся прежде всех. Какую бы ни дали ему задачу — из грамматики ли или из

арифметики, он мигом, не думавши, подпишет так, ни се ни то, а черт знает что, вздор, какой только в голову придет. Подмахнул, скорее со скамейки, с панычевской, уже на улице у ожидающих его мальчишек... и дует себе в скракли, в свайку и едет торжественно на побежденных. Задачу же, ему данную, домине Галушкинский сам потеет да решает. Сначала пробовал его возвратить и заставить исправить упущение... Куда! И не говори ему о том.

Со мною домине Галушкинскому было тяжелее, потому что я не выучивал своих уроков и не требовал у него объяснений ни на что. Я находил, что во мне есть какая-то благородная амбиция, внушающая мне ничего ни у кого не **искать**, чтобы не быть никому обязану. Итак, все мои сомнения в науках и ученых предметах я, по комплекции моей, разрешал и доходил сам. Например, для меня казалось странно: к чему так говорить, чтобы понимали мною говоримое? Писать не как мысль идет, а подкладывать слово к слову, как куски жареного гуся на блюдо, чтобы все было у места, делало вид и понятно было для другого? По-моему, говорю ли я, пишу ли — все для себя. Отзвонил, да и с колокольни прочь; пусть другие разбирают, о чем звон был: за здравие или за упокой? Так и тут: выговорил все, что на душе, написал все, что на уме, и — баста! Разбирай другой, что к чему, а я вдвойне не обязан трудиться, чтоб писать или говорить и притом еще думать. Эту задачу, поверьте мне, я решил без помощи домина Галушкинского сам и не учась многому. Вместе с прочими науками одна часть была у меня и пресловутой арифметике, которую домине Галушкинский уверял, что сочинил какой-то китаец Пифагор, фамилии не припомню. Если бы, говорит, он не изобрел таблицы умноже-

ния, то люди до сих пор не знали бы, что $2 \times 2 = 4$. Конечно, домине Галушкинский говорил по-ученому, как учившийся в высших школах; а я молчал да думал: к чему трудился этот пан Пифагор? К чему сочинял эти таблицы, над которыми мучились, мучатся и будут мучиться до веку все дети человеческого племени, когда можно вернее рассчитать деньги в натуре, раскладывая кучками на столе? Давайте мне и всякую науку, я докажу, что можно жить без них, быть покойну, а потому и счастливу. Домине Галушкинский, видно, был противного со мною мнения: он против воли нашей хотел сделать нас умными, да ба! Маменька прекрасно ему доказывали, что он напрасно трудится. Они всегда ему говорили: «Лиха матери дожدهшься, чтоб с моих сыновей был хотя один ученый», — и при этом, бывало, сложат шиш, вертят его, вертят и тычут ему к носу, прицмокивая. О! маменька ему ни в чем не спускали, разумеется, без бытности батеньки: а то бы...

Домине Галушкинский, злясь в душе, и примется за свои предметы; все меры употребляет, чтобы *вбить* нам науки, так куда же! Братья от нападков домина инспектора отделявались собственными силами и сами тузили людей, призванных «для сделания положения». А домине Галушкинский побесится-побесится, да и отстанет и батеньке не скажет, потому что он заметил: когда жалуется на братьев, то батенька и на него сердятся; а когда хвалит за успехи, так батенька поднесут «ганусковой» водки. Так он и давай все хвалить. Мне же этого рода метод не был полезен. Первоначально еще маменька с Галушкинским заключили тайный «аллианс»¹, чтобы на меня за леность и тупость кричать и жа-

¹ А л л и а н с — союз.

ловаться, но отнюдь не наказывать, и за всякое снисхождение обещано от маменьки Галушкинскому какое-то награждение из съедомого. Так домине инспектор для приобретения себе водки и закуски всегда братьев хвалил, а меня порицал. Хитрый-хитрый человек, а и в Петербурге не был. И что же? Он пожалуется, и его уконтентуют, а мне батенька дадут тут же щипки, и я плачу, но тут же прислушиваюсь, не звонят ли маменькины ключи у кладовой? Я хорошо знал их натуру: когда батенька меня бранят или пощелкают, тут они с лакомствами и примутся утешать меня, приговаривая: «Пускай батенька твой сердится. Ты, Трушко, не унывай, не вдавайся в их слова. И батенька твой ничему же не учился, а, право, в десять раз умнее всех инспекторов». И правда их была.

Но... оставим ученые предметы. Домине Галушкинский и вне учения был против нас важен с строгостью. По вечерам ни с собою не брал в «проходку», ни самим не позволял отлучаться и приказывал сидеть в панычевской смирно до его прихода. Куда же он ходил, мы не знали.

Мне это нравилось. Моя комплекция вела меня к уединению, и я тотчас после учения добирался к своим, днем от маменьки полученным и старательно спрятанным лакомствам, съедал их поспешно и, управившись дочиста, тут же засыпал в ожидании желаемого ужина. Братьям же моим такое принуждение было несносно. На беду их, батенька очень не любили, чтобы дети без призыва приходили в дом, а потому и прогоняли нас оттуда. Маменька же рады были всякому принуждению, братьям делаемому, и все ожидали, что батенька потеряют терпение и отпустят инспектора, который, по их расчету, недешево приходился. В самом деле, как посудить: корми его за господским сто-



лом, — тут лишний кусок хлеба, лишняя ложка борща, каши и все более обыкновенного; а все это, маменька говаривали, в хозяйстве делает счет, как и лишняя кружка грушевого квасу, лишняя свеча, лишнее... да таки и все лишнее, кроме уже денег, — а за что?.. тьфу!.. При этом маменька всегда плевали в ту сторону, где в то время мог находиться домине Галушкинский.

Притом же он, как ученый, не знал даже вов-



се политики. Бывало, когда съест порцию борща, а маменька, бывало, накладывают ему полнехонькую тарелку, — то он, дочиста убрав, еще подносит к маменьке тарелку и просит: «Усугубите милости». Спору нет, что маменька любили, чтобы за обедом все ели побольше, и, бывало, приговаривают: «Уж наварено, так ешьте; не собакам же выкидывать». Но все же домине Галушкинский поступал против политики.

И в какие же дураки он попался в один день! Надобно знать, что у нас к обеду готовился один день борщ, а в другой день суп, чтобы не прискучило. В суповой день принесли к столу свежей

рыбы и раков. Маменька пожелали рыбного борщу и приказали изготовить. Кухарка, зная порядок, изготовила, как требовала очередь, и суп с лапшой и гусем. Из раков же, как их было немного, сами приготовили ботвинье, называвшееся у нас «холодец», которого по малому числу раков едва достаточно было на две порции — батеньке и маменьке. Маменька имели привычку раздать всем горячее, а потом уже принимались кушать сами, чтобы ничто их не развлекало. Как же они иностранных языков не знали, то и не могли выговаривать «домине», равно не любя распространяться вдаль, Галушкинского сокращали просто в «Галушку» и потому без «домине» звали его просто: Галушка да и Галушка, и больше ничего. Хорошо. Вот мы сели за стол: маменька, отставив в сторону для себя и батеньки «холодец», начали раздавать горячее, спрашивая, кто чего хочет — супу или борщу? Вопрос натуральный, когда есть суп и борщ, потому всякий из нас отвечал по желанию. Дошла очередь до инспектора. Маменька спросили его: «А ты, Галушка, чего у чешь: борщу или супу?» Домине, с ослабленным лицом, произнес, не обинуясь: «И борщика, и супцу, а коли можно, то и холодцю пожалуйста мне, вельможна пани!»

Боже мой! тут надобно было видеть маменьку! Они все побагровели и тут же, отложив тарелки, как сложили двойные шиши на обеих руках, да как завертят! — минут пять вертели, а потом цмокнули и ткнули ему шиши к носу, промолвив: «А зуски¹ не хочешь? Видишь, какой ласый до холодцю? Нет же тебе ничего!»

Напек же раков домине Галушкинский, то есть, просто говоря, покраснел, как сукно, и, не имея

¹ З у с к а — кукиш.

духу стыда ради на кого-либо взглянуть, просидел весь стол, опустивши голову, и не ел ничего. Вот тебе и полакомился «холодцом»!

Но все это посторонняя материя, и сказано только кстати. Обратимся к настоящему предмету.

Художественный Павлуся, а потом и Петруся, чрез отличный свой разум, заметили, что реверендиссима¹ домине Галушкинский каждую ночь, в полном одеянии, а иногда даже выбрившись, выходит тайным образом из дому и возвращается уже на рассвете. В одну ночь брат-художник тихонько пустился по следам его и открыл, что наш велемудрый философ «открыл путь ко храму радостей и там приносит жертвы различным божествам» — это так говорится ученым языком, а просто сказать, что он еженощно ходил на вечерницы и веселился там до света, не делая участниками в радостях учеников своих, из коих Петруся, как необыкновенного ума, во многом мог бы войти с ним в соперничество. От такого поступка самолюбие братьев моих крепко было пощечено. Как? после того, как Петруся, по внушению домашних лакеев, располагал было, «любопытства ради», проходиться на вечерницы и домине Галушкинский удержал, не пустил и изрек предлинное увещание, что таковая забава особам из шляхетства неудобоприлична, а кольми паче² людям, вдавшимся в науки, и что таковая забава тупит ум и истребляет память... после всего этого «сам он изволит швандять (так выражался брат), а мы сидим дома, как мальчишки, как дети, не понимающие ничего? Так докажем же, что мы знаем и понимаем все и даже можем оставлять других с детьми, а сами гулять

¹ Реверендиссима — уважаемый.

² Кольми паче — тем более.

по своей воле. Идем за ним на вечерницы!..» Они собрались, пошли, взяв и меня с собою для того, чтобы всему нашему ученому обществу равно пить из одной чаши радостей или, в противном случае, отвечать.

Войдя в хату одной из вдовых казачек, у коих обыкновенно собираются вечерницы, мы увидели множество девок, сидящих за столом; гребни с пряжей подле них, но веретена валялись по земле, как и прочие работы, принесенные ими из домов, преспокойно лежали по углам; никто и не думал о них, а девки или играли в дурачки, или балагурили с парубками, которые тут же собирались также во множестве; некоторые из них курили трубки, болтали, рассказывали и тому подобно приятным образом проводили время.

Над всеми ими законодательствовал наш реверендиссимае Галушкинский, которого и величали «скубент» (испорченное «студент»), потому что он был в бекеше и курил табак из коренковой трубки.

О! как изумился он, увидя воспитываемое им юношество, пришедшее насладиться удовольствиями, о которых он запрещал им и мыслить!.. Тайные подвиги его открыты!.. Когда мы вошли, он с одной девкою пел песню: «Зелененький барвиночку», и остановился на полуслове... Пришед в себя, начал кричать и прогонять нас домой. Но брат Петрусь, имевший отважный дух и геройскую смелость, неустрашимо стал против него и объявил, что если он и пойдет, то пойдет прямо к батеньке и сей же час расскажет, где находится и в чем упражняется наставник наш.

Домине Галушкинский опешил и не знал, чем решить такую многосложную задачу, как сидевшая подле него девка, внимательно осмотрев Петруся, первая подала голос, что панычи могут остаться

и что если ему, инспектору, хочется гулять, то и панычам также, «потому что и у них такая же душа». Прочие девки подтвердили то же, а за ними и парубки, из коих некоторые из крестьян батенькиных, так и были к нам почтительны; а были и из казаков, живущих в том же селе, как это у нас везде водится.

— Вашицы должны благодарить Малашке, — сказал наставник наш, указывая на свою пару, — ее логика убедила меня. Но не смейте сообщать родителям вашим...

Братья побожились в том и присоединились к обществу.

— Что же входного от вас? — вскрикнул один парень и выступил против нас. — Я здесь есть атаман и смотрю за порядком. Вновь вступающий парубок, — хоть вы же и панычи, а все же парубки, — должны внести входное.

Брат-горбун, раскинув в широком уме своем, тотчас вызвался требуемое поставить — и вышел. Вскоре возвратился он и, к удивлению инспектора и Петруся, принес три курицы, полхлеба и полон сапог пшеничной муки. Все это он, по художеству своему, *секретно* набрал у ближних спавших соседей; как же не во что было ему взять муки, так он — изобретательный ум! — разулся и полон сапог набрал ее. Все эти припасы отданы были стряпухе, готовившей ужин на все общество.

Павлуся исполнил требуемое правилами. Теперь Петрусь должен был поставить горелки. Денег у него не было. Изобретательный ум Павлуся отказался удовлетворить в сем по той причине, что к шинкарю трудно войти *секретно*, а явно не с чем было. Все пришло в смятение; но великодушный наставник наш все исправил, предложил для такой необходимости собственные свои деньги, сказав

Петрусю: «Постарайтесь, вашиц, поскорее мне их возвратить, прибегая к хитростям и выпрашивая у пани подпрапорной, маменьки вашей, но не открывая, как, что, где и для чего, но употребляя один лаконизм; если же не удастся выманить, то подстерегите, когда их сундучок будет не заперт, да и... что же? — это ничего. Нужда изменяет закон».

За такое мудрое наставление, послужившее много Петрусю и нам в пользу при разных случаях, брат благодарил реверендиссима.

Получив деньги, Павлуся, по усердию своему, побежал в шинок и скоро возвратился с горелкою. Пошла гуляня. Чтобы доставить и мне среди общества занятие, приятное другим, наставник принялся петь со мною псалмы, чем мы усладили беседу до того, что и девки затянули свои песни, парубки к ним пристали — и пошла потеха! Ужин наш был изобильный во всем; простота в обращении с парубками и любезничанье с девками брата Петруся так всех расположило к нему, что тут же единогласно он был избран атаманом наших вечерниц, и все, даже сам почтенный студент философии, доmine Галушкинский, дали торжественную клятву повиноваться всем распоряжениям атамана.

Если сии строки дойдут до могущих еще быть в живых современников моих, то, во-первых, они не дадут мне солгать, что в век нашей златой старины все так бывало и с ними, и с нами, и со всеми, начиная от «воспитания», то есть вскормления (теперь под словом «воспитание» разумеется другое, совсем противное), чрез все учения у панов Кнышевских, приключения в школе, субботки, Фтеодосия, так и у доминов Галушкинских, даже до хождения на вечерницы; везде, взявши от семейства самого наияснелишнейшего пана гетмана до последнего подпрапорного (не в батеньке речь),

езде все так было, конечно, с изменениями, но не с разительными. А потому они, современники мои, признают, что лестно, точно лестно было для брата Петруся без больших подвигов обратить на себя внимание такого общества и от всех приобрести доверенность. А Петрусе было не более как семнадцать лет! Вот что значит дарование и способности.

Брат Павлусь, за его способность в изобретении средств, ловкость и проворство в произведении их, и все к общей пользе и удовольствию, не оставлен без внимания, а избран ключником наших вечериц. Его дело было заботиться, как он знает, чтобы в ужине у нас было всего в изобилии. Стряпухи были в заведывании его. Ему открыто было пространное поле выказывать свои дарования и искусство. Ужины наши были роскошные: кормленные куры маменькины, яйца, молоко, масло, дрова и прочее; все это было брато у соседей *секретно*, а изобретательным умом брата-горбунчика все следы закрыты искусно и ни от кого ни одной жалобы не бывало.

Вхожу в подробности, конечно, излишние для теперешних молодых людей; они улыбаются и не верят моему рассказу, но мои современники ощущают, наверно, одинаковое со мною удовольствие и извинят мелочи воспоминаний о такой веселой, завидной жизни. Часто гляжу на теперешних молодых людей и с грустным сердцем обращаюсь ко всегдашней мысли моей: «Как свет переменяется!» Так ли они проводят свои лучшие, золотые, молодые годы, как мы? Куда! Они рабы собственных, ими изобретенных правил; они, не живя, отжили; не испытав жизни, тяготятся ею! не видав еще в свой век людей, они уже удаляются от них; не насладясь ничем, тоскуют о *былом*, скучают настоя-

шим, с грустью устремляют взор в будущее... Им кажется, что вдали, во мраке мерцает им заветная звезда, сулит что-то неземное... а до того они, как засохшие листья, спавши с деревьев, носятся ветром сюда и туда, против их цели и желаний... Так ли мы жили? Мы жили и наслаждались, а они не живут и грустят!.. Ну, да в сторону их, займемся собою.

Домине Галушкинский, вместо наставника нашего, стал совершенно подчинен нам. Лишь вздумает только заговорить несколько повелительным голосом, то мы и начнем угрожать, что скажем батеньке о посещении вечерниц, и тогда он лишится места, дающего ему, кроме содержания, пятнадцать рублей в год и черкеску с плеча самого батеньки нашего, да еще отпишут к начальству его, и он лишится «кондиции» навсегда. Это его останавливало, и он дал нам совершенную волю во всем. Днем мы были неотлучно в панычевской, куда нам приносили сытые и изобильные завтраки. Мы их уничтожали, курили трубки, слушали разные повести, рассказываемые наставником нашим о подвигах бурсаков на вечерницах и улицах в городе, ночных нападениях на бакчи и шинки за городом, извороты при открытии и защите товарищей и много тому подобное. Многое из того мы прятали на память нашу, чтобы воспользоваться при случае. В дом приходили только к обеду, челомкались с батенькою и маменькою, обедали, наблюдая скромность и учтивость, преподанные нам великим по сему предмету мужем, студентом философии Игнатием Галушкинским. После обеда, возвратясь в панычевскую, мы ложились спать, чтобы быть бодрыми в ночь, и потом принимались за приготовления к наступающим вечерницам. От движения, неумеренной веселости, если мы тогда не могли уснуть, тогда ментор наш давал нам выпить по доброй чарке водки, изъясняя,

что она дает сон, а сон укрепляет человека и дает ему силу! Сила же человеку во всякое время и при всяком обстоятельстве весьма необходима; ergo¹, — приговаривал реверендиссимо, — водка преползшая вещь и потому не должно уклоняться от нее. Нам это средство нравилось, и мы находили в нем удовольствие. Правда, я не должен был бы пить водки, потому что за молодостью лет не получил еще благословения брить бороду и разрешения на вся, как старшие братья, но доmine принуждал меня и приводил какой-то латинский стих — не помню уже, — в силу коего всякий, желающий себе блага, должен непременно пить. Повинуясь латинским мудрецам, я пил, но немного — голова не могла выносить; братья же, напротив, могли пить много и не были хмельны. Такая была счастливая их натура!

И за обедом, при батеньке и маменьке, и на вечерницах, при сторонних людях, в нашем разумном обществе нужно было нам иногда передать мысли свои, чтобы другие не поняли. Как тут быть? Опытный наставник наш открыл нам таинственный бурсацкий язык. В один класс мы поняли его и свободно могли изъясняться на нем. По моему мнению, это язык — отросток латинского, трудного, неудобопонимаемого, несносного языка. И для чего бы не оставить вовсе всех этих иностранных языков, за коими, как хвост, следует грамматика со своими глупостями? Тут же какая легкость и удобство! Вот вам пример. В молодости я твердо знал слов десять латинских, понимал и значение их; но теперь — хоть сейчас убейте меня! — не помню ничего; на том же, бурсацком, я могу и теперь свободно обо всем говорить. Прелегкий и презвучный язык, достойнейший быть во всеобщем употреблении более, нежели

¹ Следовательно (лат.).

теперь французский, за выучение коего французские мусьи — вроде Галушкинских — берут тысячами и морят ребенка года три; а этот язык можно без книги понять в полчаса и без копейки. Какая экономия даже и во времени!.. Даже прекрасный пол с восторгом принял бы этот язык, потому что на нем можно выражать все тончайшие нежности усадительнее, нежели на французском; не нужно гнусить, а говорить ярко; притом же, как пожелается, можно объяснять чувства свои открыто и прикрито... Но, видно, не нам переучивать людей!..

В один обед, когда домине Галушкинский управился со второю тарелкою жирного с индейкою борщу и прилежно салфеткою, по обычаю, вытирал пот, оросивший его лицо и шею, батенька спросил его: «А что? Каково хлопцы учатся и нет ли за ними каких шалостей?» Тут домине из решпекта¹ встал, как и всегда делывал в подобных случаях, и в отборных выражениях объяснял все успехи наши (о которых мы и во сне не видали) и в конклюзию (в заключение) сказал, что мы «золотые панычи».

Приметно было на батенькином лице сердечное удовольствие, и они нацедили крохотную рюмочку вишневки и подвинули к инспектору, сказав с принужденным равнодушием: «Пей, домине!» Домине Галушкинский встал, почтительно выпил и, отблагодарив за честь, утерся с наслаждением и, сев по-прежнему, сказал Павлусю: «Домине Павлуся! Не могоментус украдентус сиеус вишневентус для вечерницентус?» А брат без запинки отвечал: «Как разентус; я украдентус у маментус ключентус и нацедентус из погребентус бутылентус». Надобно было видеть, какое действие произвел этот разговор на батеньку! Они были умный человек и отменно

¹ Решпект — почтение.

любили ученость. Каково же было их родительскому, нежности к нам исполненному, сердцу слышать, что дети его так усовершенствованы в учении, хотя и при нем говорят, но они не понимают ничего? Чувства его могут постигнуть и теперешние родители, слыша детей, ведущих подобного содержания разговор на французском языке, и также не понимая его ни в одном слове.

Глаза у батеньки засияли радостью, щеки воспламенились; они взглянули на маменьку таким взором, в коем ясно выражался вопрос: «а? что, каково?», и в первую минуту восторга уже не нацедили, а со всем усердием налили из своей кружки большую рюмку вишневки и, потрепав инспектора по плечу, сказали милостиво: «Пейте, пан инспектор! Вы заслужили своими трудами, возясь с моими хлопцами».

Домине Галушкинский, как следует при получении от благотворителя какой милости, встал, поклонился батеньке низко, благодарил за лестное ободрение посильных трудов его, сел с повторением поклонов и усладился выпитием рюмки до дна и заключил похвалу сему напитку риторическою фигурою: «Таковый напиток едва ли и боги на Олимпе пьют в праздничные дни».

С маменькою же было совсем противное. Ах, как они покосились на инспектора, когда он заговорил на неизвестном им языке; а еще более, когда отвечал Павлусь. Но когда батенька из своей рюмки уделили инспектору вишневки, да еще в большую рюмку, тут маменька уже не вытерпели, а сказали батеньке просто:

— Помилуйте вы меня, Мирон Осипович! С чего это взяли так разливать вишневою? Ведь у нас ее не море, а только три бочки. И за что ему такая благодать сверх условленного?

— Фекла Зиновьевна! — отвечали батенька с важностью. — Не смущайте в сию минуту моего родительского сердца, преисполненного радостью. Я в сей момент не только рюмку вишневки, но и целую вселенную отдал бы пану инспектору.

НВ. Батенька при какой-либо радости всегда говорили таким возвышенным штилем и голосом громче обыкновенного.

— Вселенную как хотите, мне до нее нужды мало, — отвечали маменька, — кому хотите, тому ее и отдавайте: не мною нажитое добро; но вишневкою не согласна разливаться. Это дело другое.

НВ. Маменька, по тогдашнему времени, были неграмотные и потому не могли знать, что никак невозможно отделить вишневку от вселенной. Да, конечно: куда вы вселенную ни перенесете, а вишневку где оставите? На чем ее утвердите, поставите? Никак невозможно.

— Я же только рюмку и налил, — сказали батенька, — кажется, рюмка вишневки стоит радости, какую мы имеем, слыша детей наших, говорящих на иностранном диалекте?

— Подлинно что иностранный! Никто и не поймет его, — сказали с явным неудовольствием маменька. — И как-то сбивает на вечерницы да на украдку. Ужасно слушать!

НВ. Я долго не мог сообразить, отчего маменька неграмотные, а скорее, нежели батенька, которые были, напротив, умный человек и любили ученость, поняли, о чем говорил доmine инспектор. Они как раз расслушали вечерницы и «украд», а батенька и с ученостью, да прозевали всю силу. Теперь уже мусье гувернер одного из внуков моих объяснил мне, что иногда человек и без ума, а скажет слово или сделает действие такое, чего умному и на мысль не придет, «и что, — прибавил он, — мать ваша, как

женщина, одарена была... статистическим чувством». Что маменька была женщина — это так; но чтоб имела такое чувство, — я в ней не заметил, и она не сознавалась. Мне кажется, это произошло так, без всякого чувства.

На ее замечание батенька возразили: «Это, маточко, оттого, что вы вовсе не знаете в языках силы».

— Видите, какие вы стали неблагодарные, Мирон Осипович! А вспомните, как вы посватались за меня и даже в первые годы супружеской жизни нашей вы всегда хвалили, что я большая мастерица готовить, солить и коптить языки; а теперь уже, через восемнадцать лет, упрекаете меня явно, что я в языках силы не знаю. Грех вам, Мирон Осипович, за такую фальшь! — И маменька чуть не заплакали: так им было обидно!

— Умилосердитесь надо мною, Фекла Зиновьевна! — почти вскрикнули батенька и бросили назад поднесенную уже ко рту косточку жареного поросенка, которую предпринимали обсосать. — Вы всегда превратно толкуете. У вас и столько толку нет, чтоб понять, что я не о говяжьих языках говорю, а о человеческих. Вы их не знаете, так и молчите.

— По крайней мере, я имею свой язык и знаю его короче, нежели ваш, и потому говорю им, что думаю. Говорю и всегда скажу, что детский язык, не тот, что у них во рту, а тот, которым они говорят не по-нашему, язык глупый, воровской, непристойный.

NB. Маменька имели много природной хитрости. Бывало, как заметят, что они скажут какую неблагоразумную речь, тотчас извернутся и заговорят о другом. Так и тут поступили: увидев, что не попадало начали толковать о скотских языках, так и отошли от предмета.

Батенька, чтоб больше маменьке досадить, нача-

ли подтрунивать над ними и просили домине инспектора проэкзаменовать и нас в иностранной словесности.

Петрусь на заданный вопрос отвечал *бойко и отчетисто* (слова, мною недавно схваченные в одной газете, а смысла их совсем не понимаю); батенька улыбнулись от восхищения. Дошла очередь ко мне, и домине спросил: «У когентус лучшентус голосентус — у Гапентус или у Веклентус?» Вопрос был удобен к решению и совершенно по моей части. Для не знающих бурсацкой словесности я переведу на русский язык: «У кого, дескать, лучше голос — у Гапки или Веклы?» Это были две девушки, которых домине Галушкинский учил петь со мною разные кантики. Я мог бы одним словом решить задачу, сказав, что «у Гапки-де», потому что у нее в самом деле был необыкновенно звонкий голос, от которого меня как морозом драло по спине. Но я был маменькиной комплекции: чего мне не хотелось, ни за что не скажу и не сделаю ни за какие миллионы, и хоть самая чистейшая правда, но мне не нравится, то я и не соглашаюсь ни с кем, чтоб то была правда. И как вижу, что маменьке, имевшей отвращение от всякой учености, не нравится наша иностранная словесность, решился притвориться не понимающим ничего и молчал... молчал, не внимая никаким убеждениям, намекам и понуждениям домине Галушкинского.

Батенька, озляся, вставши со стола и проходя мимо меня, дали мне такой щипки в голову, что у меня слезы покатались в три ручья, и пошли опочивать.

NB. У батеньки рука была очень тяжела. Маменька же, напротив, погладив меня по голове и обтерши горькие мои слезы, взяли за руку, повели в свою кладовенку и надавали мне разных лакомств и,

усадив меня со всем моим приобретением у себя в спальне на лежанке, сказали: «Сделай милость, Трушко, не перенимай ничего немецкого! (NB. Известно уже, что маменька были неграмотные и до того несведущие в *светском* положении, что не знали разницы между немецким и латинским государствами. Им и на мысль не входило, что эти различные между собою народы говорят различными языками. По их разумению, все немцы да и немцы.) Ты и так от природы глупенек, а как научишься всякой премудрости, то и совсем одуреешь».

«Достопамятное изречение! Его следовало бы изобразить золотыми буквами на публичном столбе каждого города. Следуя ему, сколько молодых людей от дверей училища возвратились бы прилично мыслящими и были бы пристойно живущими людьми: а то, не имея собственного рассудка и вникнув в бездну премудрости, но поняв ее превратно, губят потом себя и развращают других».

Это рассуждение поместил в моих записках один из многого числа племянников моих, который, хотя и был записан в студенты, но, следуя предостережению маменьки моей, далее сеней университетских не доходил, даже в карцере не бывал. Впрочем, был *умная голова!*

Маменька на этом увещании не остановились. Они были из нежнейших маменек нашего века, кои, правда, и теперь в новом поколении можно бы найти тысячи, под другою только формою, но с теми же понятиями о пользах и выгодах любимчиков сынков своих.

Итак, маменька, продолжая мотать нитки, продолжали наставлять меня: «Я с утешением замечаю, что ты имеешь столько ума на то, чтоб не выучиваться всем этим глупостям, которые вбивает в голову вам этот проклятый бурсак. Ты, душка, выслушивай

все, да ничего не затверживай и не перенимай. Плюй на науки, и останешься разумным и с здоровым желудком на весь век. Вместо этой дурацкой грамоты, которая только и научит тебя, что читать, я бы желала, чтобы ты взялся за иконопиство или, по крайней мере, за малярство. Что за веселая работа! Что мазнул кистью, то либо красная, либо блаkitная полоса! И мне бы когда обмалевал сундучок или дзиглик (так тогда называлась стулка, то есть стул). Я бы умерла спокойно, если бы увидела что-нибудь окрашенное твоим искусством...»

В ту пору я доедал моченое яблоко из пожалованных мне маменькою лакомств и поспешил обрадовать маменьку, что я уже умею раскрашивать «кунштики»¹.

— О?.. — вскричали восхищенные маменька и, от восторга забывши, что они мотают нитки, всплеснули руками и уронили клубок свой. — Кто же тебя этому художеству научил? — спросили они, даже облизываясь от радости.

— Никто не учил, а сам перенял, — отвечал я. И не солгал. Почувствовал в себе влечение к живописи и, увидя у доmine Галушкинского несколько красок и пензелик², я выпросил их и принялся работать. Нарисовав несколько из своей головы лошадей, собак и людей и быв этим доволен, я решился идти вдаль и раскрашивать все, попадавшееся мне в книжках. В Баумейстеровой логике и в Ломоносовой риторике, какие были цветочки или простые фигурки, я так искусно закрашивал, что подлинного невозможно было и доискаться; и даже превращал весьма удачно цветочки в лошадку, а скотинку в женщину.

Маменька не совсем поверили мне; но когда я

¹ К у н ш т и к — рисунок, картинка.

² П е н з е л и к — уменьшительное от *пензель* — кисть.

принес свое художество, то они ахнули, а потом прослезились от восторга. Долго рассматривали мною раскрашенные кунштики; но как были неграмотны, то и не могли ничего понять и каждый кунштик держали к себе или вверх ногами, или боком. Я им все толковал, а они не переставали хвалить, что как это все живо сделано! То-то материнское сердце: всегда радуется дарованию детей своих! При расспросах о значении каждого кунштика им вдруг пришла в голову следующая счастливая мысль:

— Послушай, Трушко, что я вздумала. У твоего пан отца (маменька о батеньке и за глаза отзывались политично) есть книга, вся в кунштах. Меня совесть мучит, и нет ли еще греха, что все эти знаменитые лица лежат у нас в доме без всякого уважения, как будто они какой арапской породы, все черные, без всякого человеческого вида. Книга, говорят, по кунштам своим редкая, но я думаю, что ей цены вдвое прибавится, как ты их покрасишь и дашь каждому живой вид.

Я задрожал от восхищения, что мне предстоит такая знаменитая работа, и тут же обещал маменьке отделать все куншты так, что их и узнать не можно будет.

Маменька скоро нашли случай вытащить эту книгу у батеньки и передали ее мне для приведения в лучший вид. С трепещущим от радости сердцем приступил я к работе. Всех кунштиков было сто. Первый куншт представлял какого-то нагого человека в саду, окруженного зверями. Не было у меня красок всех цветов, но это меня не остановило. Я пособил своему горю и раскрасил человека, как фигуру, лучшею краскою — красною, льва желтою, медведя зеленою и так далее по очереди, наблюдая правило, о коем тогда и не слыхал, а сам по себе

дошел, чтобы на двух вместе стоящих зверях не было одинакового цвета.

Работа моя шла быстро и очень удачно. Маменька не находили слов хвалить меня и закармливали ласощами¹. Только и потребовали, чтобы нагих людей покрыть краскою сколько можно толще и так, чтобы ничего невозможно было различить. «Покрой их, Трушко, потолще; защити их от стыда». И я со всем усердием накладывал на них всех цветов краски, не жалея, и имел удовольствие слышать от маменьки: «Вот теперь живо; невозможно различить — человек ли это или столб?»

Лица, нравившиеся мне, я красил любимыми цветами, например: лицо — зеленое, волосы и борода — желтые, глаза красные; но как «пензель» у меня был довольно толст, то и крашение мое переходило чрез границы, но это вовсе не портило ничего. Тех же, кто мне не нравились, — ух, какими уродами я сделал! Чтобы иметь выгоду представить их по своему желанию, я вместо лица намазывал большое пятно и на нем уже располагал уродливо глаза (у злейших моих врагов выковыривал их вовсе), нос и рот и все в самом отвратительном виде. И поделом им! Как им равняться с порядочными людьми...

Домине Галушкинский и братья мои озабочены были своими делами и не имели времени подметить мои занятия и полюбоваться моим художеством.

Наконец, работа моя кончилась, и маменька собирались обрадовать батеньку нечаянно. У них обоих было общее правило: о чем-нибудь хорошем, восхитительном не предварять, а вдруг поразить нечаянностью. Маменька так и расположились до случая, который вскоре открылся.

Домине Галушкинскому истекал срок быть «на

¹ Л а с о щ и — лакомства.

кондициях», и он должен был возвратиться в школу, чтобы продолжать свое учение. За руководство нас в науках он получал изрядную плату и не желал лишиться ее, для чего он предложил батеньке, чтобы нас, панычей, определить в школу для большого усовершенствования в науках, в коих мы, под руководством его, так успели. Батенька нашли это выгодным и договорились с ним вновь: вместо платя с плеча батенькиного должно было ему «набрать» сукна, цветом, какого он сам изберет, и к этому снабдить его снурками и кистями, как следует для кирей¹. Деньги прежние сами по себе. Жить ему с нами на квартире и на наших харчах. В городе приискана была уже квартира, и сукно для кирей пана Галушкинского было куплено цветом, какого он желал. Избранный им цвет сукна был чудесный! Это был вишневый, смешанный с красным, черным и голубым. Чудесный отлив был! Пожалуйте же, что с этим прелестного цвета сукном случится, так это умора! Расскажу после. Теперь же батенька, что от них зависело, до последнего все распорядили; оставалось маменьке устроить нас провизией, посудой и прислугою. Батенька искали удобного времени объявить об этом маменьке, не потому, чтобы их не огорчить внезапным известием о разлуке с детьми, но чтобы самим приготовиться и, выслушивая возражения и противоречия маменькины, которых ожидали уже, не выйти из себя и гневом и запальчивостью не расстроить своего здоровья, что за ними иногда бывало.

На таков конец батенька начали довольно меланхолично:

— Прикажите, Фекла Зиновьевна, завтра поутру рано отпустить муки, круп, масла и что нужно...

¹ Кирей — кафтан со стоячим воротником.

— Не опять ли комиссару? — спросили маменька твердым голосом, не ожидая ничего неприятного.

— Какому комиссару? Подите себе с ним в болото, а слушайте меня. Всего этого отпустите сколько надобно для детей. Они завтра переедут в город учиться в школах.

Маменька так и помертвели!.. Через превеликую силу могли вступить в речь и принялись было доказывать, что учение вздор, гибель-де нашим деньгам и здоровью. Можно быть умным, ничего не зная, и, всему научась, быть глупу. «Многому ли научились наши дети? — продолжали они. — Несмотря что сколько мы на них положили кошту пану Тимофтею и вот этому дурню, что по-дурацки научил говорить наших детей и невинные их уста заставил произносить непонятные слова...»

— Чудны вы мне, Фекла Зиновьевна, с вашей глупостью! Каково было бы вам слушать, если бы я начал толковать о ваших нитках или кормленных птицах? Так и тут. Наук совсем не знаете, а толкуете об них.

— Первые годы после нашего супружества, — сказали маменька очень печальным голосом и трогательно подгорюнились рукою, — я была и хороша и разумна. А вот пятнадцать лет, счетом считаю, как не знаю, не ведаю, отчего я у вас из дур не выхожу. Зачем же вы меня, дуру, брали? А что правда, я то и говорю, что ваши все науки дурацкие. Вот вам пример: Трушко также ваша кровь, а мое рождение; но так как он еще непорочен и телом, и духом, и мыслю, так он имеет к ним сильное отвращение.

— Вы мне, Фекла Зиновьевна, не колите глаза своим пестунчиком Трушкой; он, хотя и непорочен, но из дураков дурак, и из него будет не более как свинопас.

Батенька от противоречий начали уже приходить в азарт.

Тут маменька нашли удобную минуту опешить батеньку, и, подойдя к столу, достали немецкую книгу, и начали переворачивать листы, изукрашенные моим художеством.

— Кто... кто это сделал? — вскричали батенька, вскипев от гнева.

Маменька, не заметив в тонкости состояния духа их, а относя крик их к удивлению, отвечали таким же меланхоличным тоном, как батенька при начале разговора: «Это дурак из дураков так украсил; он не более как свинопас!» Маменька такую аллегориею хотели кольнуть батеньку.

— Как он смел это сделать? — не кричали, а ревели батенька до того, что окна и двери в доме тряслися. В запальчивости бросились они к маменьке, желая, по обычаю, потузить их хорошенько... И тогда мне лучше было бы. У батеньки такая была натура, что когда разлютуются, так и колотят первого, кто попадетсЯ; когда же выбьют свое сердце, то виноватому уже и слова не скажут. Тут же, к моему несчастью, маменька ушли от ударов батенькиных, оставив в дверях и епанечку¹ свою; а я, спрятавшийся было в пуховики маменькины, вытащен и наказан чувствительно и больно.

Батенька целый день не могли успокоиться и знай твердили, что книга их по кунштам была неоцененна; что иконописец, расписывающий в ближнем селении иконостас, сам предлагал за нее десять рублей.

Маменька же, хотя и не смели на глаза показываться батеньке, но, сидя в другой комнате, переговаривали их слова тихонько: «Десять рублей, великое дело! Кажется, своя утроба дороже стоит».

Однако же это происшествие не удержало бы нас

¹ Е п а н е ч к а — короткая, безрукавная шубейка, накидка.

от поездки в город; но случилось нечто еще страннее. На конце отъезда, когда домине Галушкинский, по обычаю, управлялся с другою тарелкою борщу, вдруг... как обваренный, кидает ложку, схватывается за живот, вскакивает со стула и бежит... формально бежит из комнаты... Маменька насупились за такую его неучтивость, а батенька, то же подумав, что и маменька, улыгнулись, а за ними мы, дети, и особливо меньшие, расхохотались во все горло. Ну, и нужды нет, пересмеялись, подумали и принялись за следующее блюдо... как бежит наш домине, бледный как мертвец, волосы, как ни были связаны крепко в косе, однако все ж напужились от внутреннего его волнения; в руках он несет какую-то дерюгу, рыже-желто-красного цвета, с разными безобразного колера пятнами, а сам горько плачет и, обращаясь к батеньке, жалостливым голосом говорит:

— Вот, ваша вельможность, мой милостивый патрон и благодетель, вот что учинилось с вашим даром!..

Батенька изумились таким его речам, взяли эту дерюгу, развернули ее и насилу узнали, что это было то сукно, которое они пожаловали по уговору на кирею домине Галушкинскому и которое было необыкновенно прелестного цвета, как я сказал выше, а теперь стало мерзкого цвета с отвратительными пятнами.

По миновании батенькиного удивления они принялись расспрашивать домине, отчего сукно изменило свой цвет. И тот, то есть домине Галушкинский, среди вздохов и всхлипываний рассказал следующий пассаж: получив он от милостей батенькиных сказанное сукно, понес, дабы похвалиться им, Ульяне, нашей ключнице, молодой женщине и дружно жившей с домине инспектором, до того, что она каждое утро присылала ему «горяченькую булочку» с мас-

лом и сметаню ради фриштыка¹. Но это другая материя; отложим в сторону. В ту самую пору, когда он принес сукно, Ульяна разливала уксус, и как доминe Галушкинский необыкновенно близко подошел к Ульяне, то одна мельчайшая капелька брызнула на сукно и сделала на нем пятнышко ярко-оранжевого, необыкновенно прелестного цвета. По возвращении от Ульяны доминe Галушкинскому пришла счастливая мысль — все сукно превратить в такой чудесно прекрасный цвет. На сей конец, получив от Ульяны достаточное число уксусу, намочил в нем несчастное сукно... Как намочил, а сам пошел в проходку; возвратился, поужинал, лег спать, а сукно все мокнет. Уже и утро; доминe Галушкинский исполнил все должное, сел обедать, а сукно все мокнет!.. Он всегда говорил о себе, что чем бы он ни занимался, что бы ни делал, всегда имел философические мысли в голове. Так и теперь: евши борщ, он рассуждал, что малое количество пищи не может утолить сильного голода. От сего силлогизма, восходя все выше и выше, с приспособлениями и применениями, он мысленно сошел и до сукна — как вдруг озарила его свежая мысль: когда капнула капля уксуса на сукно, то он его в тот же миг стер и оттого вышел цвет неизъяснимо прелестный; но когда сукно мокнет невступно целые сутки, то не испортилось бы оно... Эта догадка, как молния, поразила его, и он, как кипятком облитый, выскочил и побежал, «оставя по себе сомнение,— так заключил он свое повествование,— насчет моей благопристойности...».

Батенька и мы все много смеялись несчастьем доминe инспектора; одни маменька ужасно сердито смотрели, не из сожаления к убытку «Галушки», а опасаясь, что батенька из жалости «к этому дур-

¹ Ф р и ш т ы к — завтрак.

ню» — так они его часто называли — наберут ему вновь столько же сукна. Так и вышло. Единственно в пику маменьке батенька послали в город за сукном, и, пока его привезли, мы это время наслаждались домашнею жизнью.

Нуте. Чтобы недолго рассказывать, нас, собравши, отправили в повозке в город. Кроме избыточной во всем провизии для пропитания нашего, нам дан хлопец Юрко; он должен был прислуживать нам троим и домине инспектору нашему. Для наблюдения за насыщением наших откомандирована была «бабуся», мастерица производить блины, пироги, пирожки, пирожочки, пироженчики и тому подобные разные вкусные блюда и лакомства. Ей дано было подробное наставление — и все это от нежнейшей маменьки нашей, — чем и по сколько раз в день кормить нас. В помощь ей дана была девка, стряпуха; на ней лежала обязанность мыть нам головы еженедельно, чесать и заплетать длинные косы наши ежедневно, распоряжать бельем и т. п.

Еще с вечера отъезда нашего маменька начали плакать, а с утра печального дня «голосить» и оплакивать нас с невыразимо трогательными приговорами. Само по себе разумеется, что я, как объявленный «пестунчик» их, получал более ласк, нежели старшие братья мои. Таким образом, приговаривая и лаская меня, вдруг они и в самом деле сомлели и валяться-валяться — и упали на пол... Я испугался и закричал: «Батенька, пожалуйста сюда: маменька померли!» Батенька пришли и, увидев, что они не совсем умерли, а только сомлели, дали мне препорядочного туза, чтобы я не лгал, а сами принялись освобождать от обморока маменьку, шевеля ей в носу бумажкою. Это скоро помогло: маменька чихнули раза три и встали сами по себе как ни в чем не бывало и принялись опять за свое — голосить.

Ну, как же не хвалить старины? Чудное дело, как было все совершеннее! Как бы крепко маменька ни сомлела, батенька, пощекотавши им в носу бумажкою, в ту же минуту приводили их в себя. Теперь же прошу покорно! Жена моя то и дело что по слабости натуры сомлевает, но щекотать ей в носу даже и я не смею: строжайше запретила, не объяснив причины. А тут избегаемся все: я, дети, прислуга; кто спирт к носу тычет, кто «поль де коком» виски ей трет; кто, разведя ложку «гимназии» в красном вине, даст ей выпить, и тьма хлопот! А не успеем привести в чувство, как она вновь сомлела — и бац на пол. Пощекотать бы ей в носу, так и не было бы таких бед!

И то сказать: и различные обмороки и от различных причин бывают. В старину маменька сомлевала от всякого сильного чувства; в среднее время моя любезнейшая супруга упадет в обморок так, ни от чего, ни с радости, ни с печали, когда вздумает, — бац! — и возися с нею. В новейшее же, усовершенствованное — как нынешние люди думают — время вторая моя невестка, хотя ей ужасная радость или печаль, ни за что не упадет в обморок, когда не случится тут «гувернер» сына ее. Он, изволите видеть, какой-то природный маркиз, но имеет особую страсть воспитывать юношество и потому, сложив свою знатность, договорился у моей невестки, когда она была на чужестранных водах, образовать сына ее... О, да и взял же с нее — гунстват!¹ — между нами сказавши — очень дорого! Правда, кроме образования мальчика, он ей полезен в обмороках: никто-де так ловко не поддержит, как этот мусье гувернер. А по той причине, когда он при ней, что часто бывает, то она уже смело падает, чтобы насладиться

¹ Г у н с т в а т — шельмец, пройдоха.

удовольствием быть поддержанной мусье маркизом. Вот и выходит, что и обмороки, и причина к ним теперь совсем отличны от прежних.

Пожалуйте, о чем бишь я рассказывал?.. Да, вот нас принялись провожать... Но я не в состоянии вам пересказать этого чувствительного пассажа. Меня и при воспоминании слеза пронимает! Довольно скажу, что маменька за горькими слезами не могли ничего говорить, а только нас благословляли; что же принадлежит до ее сердца, то, верно, оно разбилось тогда на мелкие куски, и вся внутренность их разорвалась в лохмотья... ведь материнское сердце!

Что же относится до батеньки, то они показали крепкий свой дух. Не мудрено: они имели крепкую комплекцию. Они не плакали, но не могли и слова более сказать нам, как только: «Слушайте во всем пана Галушкинского; он ваш наставник... чтоб не пропали даром деньги...» — и, махнув рукою, закрыли глаза, маменька ахнула и упала, а мы себе поехали...

Еще мы не выехали из селения, как меня одолевала сильная грусть по той причине, что я забыл свои маковники в бумажке, для дороги завернутые и оставленные мною в маменькиной спальне на лежанке. Заторопился я и забыл. Тоска смертельная! Ну, воротился бы, если бы можно было! Но тут уже неограниченно властвовал доmine Галушкинский над нами, лошадьми и малейшею частицею, обоз наш составляющею.

В силу чего занял он в повозке первое место, разлегся и приказал нам размышлять о пути, о цели поездки нашей, о намерениях наших, как-нам употребить время, и что встретится нам в размышлениях наших умненькое или сомнительное, объявлять ему, а он будет разрешать.

Долго царствовало между нами молчание. Кто о чем думал — не знаю; но я все молчал, думая о забытых маковниках. Горесть маменькина не занимала меня. Я полагал, что так и должно быть. Она с нами рассталась, а не я с нею; она должна грустить... Как вдруг брат Петруся, коего быстрый ум не мог оставаться покоен и требовал себе пищи, вдруг спросил наставника нашего:

— Скажите, пожалуйста, реверендиссимае доминe Галушкинский, где же город и наше училище? Вы говорили нам, что где небо соединено с землею, там и конец вселенной. Вон, далеко, очень видно, что небо сошлось с землей, ерго, там конец миру; но на этом расстоянии я не вижу города. Где же он? Туда ли мы едем?

— Бене, доминe Халявский! Ваше предложение глубокомысленно, и вы мне показали, что голова ваша занята важными размышлениями; но я должен рассеять ваши сомнения. — Так сказал великий наш наставник и, поправив под собою подушку, продолжал ораторствовать: — Видимое нами соединение неба с землею не есть в существе, а это... просто... как бишь?.. «фле... флегматический» обман. Напротив, нам надобно ехать долго и очень долго, пока мы доедем до моря, и все нам будет казаться, что впереди нас земля соединилась с небом, но это ложь, обман, призрак. Потом и морем мы должны ехать еще долее, нежели на суше, но уже не в кибитке, а в корабле или другом сосуде (иначе называть доминe Галушкинский почитал непристойно и осуждал за то других) и тогда достигнуть до края вселенной, то есть где небо сошлось с землею. Но никто из смертных еще не достигал сего. Итак, на этом-то пространстве, которое мы переезжаем до края вселенной, встретится нам город, в коем наше училище...

— Так мы и морем поедем? — спросил Петруся живо, а я, боясь воды, уже принимался плакать.

— О нет! — воскликнул наш реверендиссиме. — Это в описании я употребил только риторическую фигуру, то есть искажил истину, придав ей ложный вид. Но мы морем не поедем, потому что не имеем приличного для того сосуда, а во-вторых, и потому, что училище наше расположено на суше; ерго, мы сушею и поедем.

Засим домине инспектор обратился с испытательными вопросами к Павлусе, углубившемуся размышлением своим в лошадей. Повторенный вопрос наставника: о чем он глубоко размышляет? — едва извлек его из задумчивости.

— А вот, — сказал Павлуся, зевая при выходе из своих размышлений, — я нахожу, что в лошадиной упряжи много лишнего: и кожи, и ремней, и колец; так я дохожу, как бы этот беспорядок исправить.

— Во всем виден изобретательный ум! — проговорил вполголоса домине и продолжал свои вопросы.

Как ни вслушивался я в ученые разговоры нашего наставника, но меня одолел сон, и я не слышал ни окончания на сем переезде начатого, ни в последующие затем дни в дороге нашей разговоров, потому что лишь только влезал в повозку, то и засыпал... ерго, скажу по-ученому: я путь свой совершил спокойно для тела и рассудка, не обременяя его никакими рассуждениями.

Близко ли, далеко ли отстоял город; скоро ли, не скоро, — но нас довезли и расположили на квартире у какого-то обывателя. Квартира была со всеми удобствами, весьма близко от училища. Бабуся, прибыв прежде нас, расположилась со своим хозяйством и употчевала нас ужином вкусным, жир-



ным, изобильным. Спасибо ей! Она была мастерица своего дела.

Хорошо. На другой день домине Галушкинский должен был вести нас к начальнику, помощнику и главным учителям школ, для чего одели нас в новые, долгополые суконные киреи. Новость эта восхищала нас. В самом деле, приятно перерядиться из вечного халата, хотя бы и из китайки сделанного, в суконную, в важно облегающую нас кирею, изукрашенную тесьмами, снурками и кистями.

Домине Галушкинский, осмотрев нас и повторив уроки, как мы должны были отвешивать вперед руки при поклоне помощнику и как еще более оттопыривать их при нижайшем поклоне начальнику, сказал нам следующее наставление:

— Вашицы, не забывайте, что начальник есть

все, а вы — ничто. Стоять вы должны перед ним с благоговением; одним словом, изобразить собою — ? — вопросительный знак и премудрые его наставления слушать со вниманием. Избавь бог противоречить! Речет: «ложися!» — исполняй немедленно, хотя бы ты был рас-пере-прав и рас-пере-невинен. Вытерпливай наказание в мере, числе и виде, какое соблаговолит назначить премудрое правосудие его, и не смей ни малейше и никогда возроптать и попрекословить. Угодно будет ему полунощъ признать полуднем? Сознавайся и утверждай, что солнце светит и даже печет. Благоволит глагол обратить в имя? Вепе — признавай и утверждай. Его власть и сила. К помощнику сохраните все то же. Часто помощник бывает глагол действительный, а начальник — точка, знак сильный, но безгласный. В школе, в каковую по мере знаний ваших поступите, учителя уважайте и относитесь как бы к самому начальнику; но — при глазах самого реверендиссима — учителя уже ставьте ни во что. Пред товарищами держите себя по-шляхетски, как — ! — знак удивительный, бодро, гордо, важно, и все вас почтут. В ссорах спешите отгрызаться и заганивайте своих противников; иначе они унизят вас хуже запятой. В драку сами не вступайте, но напавшего колотите вволю, остерегаясь делать явные боевые знаки: для этого есть волосы, ребра, спина и другое. Ходя по рынку, не решайтесь ничего своровать; а наипаче вы, домине Павлуся, имеющие к тому великую наклонность: здесь не село, а город; треклятая полиция тотчас вмешается. Одни не напивайтесь, но пригласив кого или быв приглашены от кого. Вы, домине Петруся, одарены особым, счастливым талантом, можете выпить бездну и пребыть на ногах тверды, с непомраченною головою, но запах вина может вам изменить. Для сего имейте всегда в «ки-

шене» пшено или чеснок. Когда вас, находящегося в таком положении, призовут к начальнику, поспешите пожевать пшена или чесноку и смело представляйте к реверендиссиму: нос его не услышит; на опыте известно. Дале, о прочих подробностях, как вам вести себя и как поступать, скажу во оное время.

Мы так глубоко тронуты были назидательным для нас наставлением нашего наставника, что невольно, по сердечному влечению, отдали ему поклон, довлеющий одному начальнику, и при изъявлении вечной благодарности все его мудрые правила обещали навек запечатлеть в юных сердцах наших и следовать им. Само собою разумеется, что я не говорил таких слов, потому что не знал о существовании и значении их, но говорили это братья мои; а я только кланялся, отвешивая руки вперед, и, касаясь длинными рукавами нарядной моей киреи до полу, восхищался.

Убрав отличный завтрак, попечением бабуся приготовленный, мы пошли к начальнику, а гостинцы, привезенные для него, несли за нами люди, привезшие их из дому. Мы шли по улице... Незабвенные минуты! Что могло равняться с восторгом моим, когда я шел в кирее синего сукна, коей кисти на длинных шнурках болтались туда и сюда! Не знаю, смотрели ли на меня проходящие, — я не заботился: я смотрел сам на себя, шевелил плечами, болтал руками — все для того, чтобы болтались мои кисти. Истинно скажу: при женитьбе моей я был разодет хватски, идя в паре с своей тогда прелестною новобрачною, но я не был так восхищен, как болтающимися кистями у моей киреи... Ах, кирея!.. Ах, кисти!.. Но все прошло!.. Обратимся к предмету.

Мы пришли к начальнику.

Когда мы еще жили дома, то батенька говари-

вали нам, чтобы мы сами себя готовили к тому званию, какое кому нравится, исключая Павлуся, которого предназначил он по бумажной части, говоря: «Горб не помешает тебе быть хорошим юристом».

И вот когда я вошел еще только в прихожую начальника, то уже решил не быть ничем более, как начальником училища. Это было окончание вакаций, и родители возвращали сыновей своих из домов в училище. Нужно было вписать явку их, переписать в высший класс... ergo, с чем родители являлись? То-то же. Я очень благоразумно избрал. Итак, решено: «Желаю быть начальником училища!»

Наконец, после многих, допустили и нас к самому.

Отвесив должные высокому его сану поклоны, домине Галушкинский начал объясняться, что он не даром провел время на кондициях: приготовил трех юношей, имеющих сделать честь училищу и даже веку. Начальник удостоил нас обозреть, но несколько меланхолично. Домине инспектор поспешил подать письмо, писанное самими батенькою.

Начальник прочел и взглянул на нас внимательнее. Потом сказал руководителю нашему: «Ну, что ж?»

— Сейчас, — сказал Галушкинский и начал «действовать».

Первоначально внес три головки сахару и три куска выбеленного тончайшего домашнего холста.

Начальник сказал меланхолично: «Написать их в синтаксис».

Домине Галушкинский не унывал. Поклонясь, вышел и вошел, неся три сосуда с коровьим маслом и три мешочка отличных разных круп.

Реверендиссима, приподняв голову, сказал: «Они могут быть и в пиитике».

Наставник наш не остановился и втащил три бочоночка: с вишневкою, терновкою и сливянкою.

Начальник даже улыбнулся и сказал: «Впрочем, зачем глушить талант их? Когда дома так хорошо все приготовлено (причем взглянул на все принесенное от нас домашнее), то вписать их в риторику».

Домине Галушкинский остановился, поклонился низко и начал говорить с ним на иностранном диалекте...

«О батенька и маменька! — думал я в то время, — зачем поскупились вы прислать своей отменной грушовки, славящейся во всем околотке? Нас бы признали прямо философами, а через то сократили бы курс учения нашего, и вы, хотя и вдруг, но, быть может, меньше заплатили бы, нежели теперь, уплачивая за каждый предмет!»

Тут я начал прислушиваться к разговору реверендиссима начальника с домине Галушкинским. Первого я не понимал вовсе: конечно, он говорил настоящим латинским; домине же наш хромал на обе ноги. Тут была смесь слов: латинского, бурсацкого и чистого русского языка. Благодаря такого рода изъяснению, я легко понял, что он просил за старших братьев поместить их в риторику, а меня вместо инфимы¹ «по слабоумию» написать в синтаксис, обещая заняться мною особенно и так, чтоб я догнал братьев.

Реверендиссима кивнул головою и сказал: «Вепе, согласен. Ты знаешь, что должно делать, исполни». И, проговорив еще чистых латинских слов несколько, коих я не понял, отпустил нас.

Домине Галушкинский обходил с нами помощника и других учителей. Мы кланялись им, подносили гостинцы, соответственно званию и весу их в

¹ И н ф и м а — низший класс семинарии.

училище, и возвратились в квартиру — братья «риторами», а я, мизерный, синтакшиком: что делать!

О благословенная старина! Не могу не похвалить тебя! Как было покойно и справедливо. Например, дети богатых родителей — зачем им беспокоиться, изнурять здоровье свое, главнейшее — истощать желудок свой, мучиться вытверживанием тех наук, которые не потребуются от них через весь их век? Подарено — а подарить есть из чего, — и детям приписаны все знания и приданы им ученые звания без потери времени и ущерба здоровья... Теперь же?.. Мороз подирает по коже! Головки сахару, штофы, бочонки, хотя удвойте их, — ничто, ничто не доставит вовсе ничего. Бедные молодые люди теперешнего века! Хотя тресните, а должны все науки выучить, как буки аз — ба. А сколько умножилось наук. Сколько выражений, слов, над изобретением которых иной просиживал целые ночи, — и в награду значения их никто, и даже сам он, выдумщик, никак не понимает и изъяснить не может! О *tem-pora*, о *motus*!¹ Невольно восклицаю я ученую фразу, невольно уцелевшую в памяти моей!.. Обычаи начальства изменились в приеме ищущих света учения... Где ты, блаженная старина?.. Возвратишься ли?.. Грустно!..

Но будем продолжать. Тут увидите, какая разница последовала в течение двадцати пяти лет и что я должен был вытерпеть, определяя в учение Миронушку, Егорушку, Савушку, Фомушку и Трофимушку, любезнейших сыновей моих.

Наступил день открытия ученья. Не евши, не пивши, мы поведены в школы. Братья как риторы пошли особо, а я в препровождении вышесказанного хлопца Юрка поплелся в свой синтаксис, который

¹ О времена, о нравы! (лат.)

и называть с трудом мог. В школу вступил я очень равнодушно, предоставляя все случаю, а сам решил по наставлению нежнейшей маменьки не перенимать ни одной из всех наук, вообще глупых и глупыми людьми от праздности выдуманных. Итак, я принял твердое и непоколебимое намерение «не учиться с жаром», а жить свободно, как хочу, по вольности моей шляхетской природы. Будут наказывать? Правда, больно и даже, утвердительно скажу, очень больно, но и пан Кнышевский, и до-мине Галушкинский говаривали, что «все начинающееся оканчивается», а потому хотя и начнут сечь, но по естественному порядку, как по опыту знаю, перестанут. Притом же после сечения как бывает человек или мальчик жив, одушевлен, развязан — ссылаются на всех, кто испытал на себе сечение. До сих пор не знаю настоящей тому вины: физическое ли это следствие, что от эксперимента кровь придет в быстрое кругообращение и оттого человек делается веселее, быстрее в своих действиях, или тому причиной душевное состояние человека, когда он знает, что его наказали и больше сечь не будут. Но что бы ни было, только после сечения положение восхитительно! Но оставим одну половину этого ученого рассуждения: выгодно ли не учиться? И обратимся к другой: какую пользу принесет учение?

Положим, что я в молодых годах поглотил всю премудрость, изучен всему отличнейшим образом, достоин во все ученые степени. Но, вступив в свет, скажите, пожалуйста, когда и на что пригодятся науки? Жить своим домом в хозяйстве, на охоте — скажете? Тут их совсем не спросят. При женитьбе и того более. Хотя проглотил всю халдейскую премудрость, а египетскою закуси, так все не распознаешь нрава в невесте до брака и потом не применишься к капризам, когда станет женою твоею.

Есть на свете и неученые, и живут себе изрядне-хонько. И я туда же пойду, куда и выслушавшие всю премудрость. Когда батенька и маменька по-мрут и мы с братьями разделимся имением, так на мою долю придется порядочная часть, и тогда к чему мне науки? Меня почтут люди, навещающие меня, так же, как и ученого.

Скажите, нужно учиться для того, чтобы читать книги?

Вот еще что выдумали! Что из того, если они достигнут цели, для какой пишутся, то есть чтобы нас усыплять? И правду сказать, как усыпляют! А особенно — канальские! — с пышными заглавиями, с цветистыми обертками, с значительными точками, с умышленными пробелами... Это чудо что за книжки! Полагаю, что не родился человек, чтобы их до конца дочитать; уснет — будь я каналья, когда не уснет — по опыту говорю, — *знатно* уснет. Так неужели для того, чтобы самому уснуть или усыплять других, губить в принуждении золотую молодость, тратить время, нужное на игры и веселья, расстраивать здоровье принужденным сидением и удалением от пищи? На что это похоже? Меня и простой сказочник так же усыпит, как и лучшая повесть или роман в четырех (уф!) частях.

Притом же маменька моя правду говаривали: ничто так человеку не нужно, как здоровье; с ним можно все и много кушать; а кушая все, поддерживаешь свое здоровье. Пирог сделан для вмещения начинки, а начинка сдабривает пирог; так и человек с своим желудком. Науки же — настоящие «глисты»: изнурят и истощат человека, хоть брось.

Основавшись на таком ясном и справедливом заключении моей маменьки, женщины хотя и неученой, но с большим количеством здравого рассудка и потому видящей все вещи в настоящем виде, цве-

те и мере и сходно с моими понятиями, я всем моим рассуждениям произнес следующий результат: «тьфу» и, произнеся это маменькино любимое выражение и, по примеру их, плюнув в самом деле, вступил «в синтаксис» с видом самодовольства.

Нас, синтаксистов, было большое число, и все одноклассники. До прихода учителя я подружился со всеми до того, что некоторых приколол и от других был взаимно поколочен. Для первого знакомства дела шли хорошо. Звон колокольчика возвестил приход учителя, и мы поспешили кое-как усесться. Имея от природы характер меланхоличный, то есть комплекцию кроткую, застенчивую, я не любил выставляться, а потому и сел далее всех, правда, и с намерением, что авось-либо меня не заметят, а потому и не спросят.

Учитель открыл класс речью, прекрасно сложенною, и говорил очень чувствительно. О чем он говорил, я не понял, потому что и не старался понимать. К чему речь, написанную по правилам риторики, говорить перед готовящимися еще слушать только синтаксис? Пустые затеи! При всякой его остановке для перевода духа я, кивая головою, приговаривал тихо: «Говори!»

Речь кончилась, и учитель каждому из нас заметил, что мы должны были на завтра выучить. С тем нас и распустили.

«Напрасно беспокоитесь, доmine учитель! — рассуждал я, поспешая к трудолюбивой бабушке, с рассвета заботившейся о пирожках к завтраку нашему. — Учить вашего урока не буду и не буду». О, да и позавтракал же я в тот день знатно!..

Доmine Галушкинский целый день не обратил ни малейшего внимания, твержу ли я свой урок и чем занимаюсь. А в силу того я в книгу и не заглядывал, а целый день проиграл с соседними ребятами в бабки, свайку и мяч.

Утром домине приступил прослушивать уроки панычей до выхода в школы. Как братья учились и как вели себя — я рассказывать в особенности не буду: я знаю себя только. Дошла очередь до моего урока. Я ни в зуб не знал ничего. И мог ли я что-нибудь выучить из урока, когда он был по-латыни? Домине же Галушкинский нас не учил буквам и складам латинским, а шагнул вперед по верхам, заставляя затверживать по слуху. Моего же урока даже никто и не прочел для меня, и потому из него я не знал ни словечка.

Домине инспектор принялся меня ужасно стыдить: напоминал мне шляхетское мое происхождение, знатность рода Халявских и в *conclusio*¹ — так назвал он — запретил мне в тот день ходить в школу. «Стыдно-де и мне, что мой ученик на первый класс не исправен с уроком».

Я для приличия потупил голову, якобы устыдясь; а — ей-богу! — по совести и чести говоря, внутренне радовался, что не обязан идти в школу. Вот еще нужда мне до знаменитых Халявских, предков моих! Мне к ним дела нет, и они меня не знают. С чего я буду мучиться над проклятыми именительными и родительными? Что тут общего с заслуженною славою предков моих? Предки мои не знали этих пустяков, то и не взыщут, хоть домине инспектор тресни себе с досады, что потомок их презирает всю учебную галиматью. Так я размышлял, а бабуся между тем украшала стол пирожками, блинами, варениками... Ну, прелесть, заглядение!.. Как вдруг жестокосердный домине изрек приговор: «Домине Трушко не вытвердил урока, зато в класс не пойдет: а когда в класс не пойдет — *ergo*, — не должен участвовать в завтраке».

¹ В заключение (лат.).

Вообразите мое положение! Я был как громом поражен и, быв маменькиной комплекции, хотел сомлеть, но меня прорвало слезами... да какими?.. изобильными, горькими... Я ревел, кричал, вопил, но домине Галушкинский оставался непреклонен и с братьями моими сокрушил все предложенное им. Чем меньше оставалось прелестей на столе, тем сильнее я ревел, теряя всякую надежду позавтракать вкусно.

Наконец, жестокий Галушкинский усилил скорбь мою, дав слезам моим превратный, обидный для меня толк. Он, уходя, сказал: «Утешительно видеть в вашей благодородный гонор, заставляющий вас так страдать от стыда; но говорю вам, домине Трушко, что если и завтра не будете знать урока, то и завтра не возьму вас в класс». С этими словами он вышел с братьями моими.

— Следовательно (должно бы сказать мне, как учащемуся латинской премудрости, ерго: но как я ужасно сердился на все латинское, то сказал пороссийски)... следовательно, я и завтра без завтрака?.. — Я хотел показать моему мучителю, что меня не лишение класса терзает, — я хотел бы и навек от него избавиться, — но существенная причина... но он уже ушел, не слыхавши моих слов, что и вышло к лучшему.

Пожалуйте. По уходе их я в сильной горести упал на постель и разливался в слезах. В самом же деле, если беспристрастно посудить, то мое положение было ужаснейшее! Лишиться в жизни одного завтрака!.. Положим, я сегодня буду обедать, завтра также будет изобильный завтрак, но где я возьму сегодняшний? Увы, он перешел в желудки братьев и наставника, следовательно — а все-таки не ерго, — поступив в вечность, погиб для меня безвозвратно... Горесть убивала меня!..

Но гений-утешитель бодрствовал близ меня...

— Паныченько, не хотите ли вы чего-нибудь закусить? — услышал я сладкий, в то мгновение, голос бабуся, дергающей меня за руку, которою я закрыл слезящие очи мои.

— Чего там... у... уже... когда... все по... по... покушали! — отвечал я, всхлипывая.

— Какое покушали? Я вам всего оставила, да еще и больше и лучшенькое. — Никакая гармония так не услаждала человека, как усладили меня эти, по-видимому, простые слова; но какая была в них сила, звучность, жирность!..

Я поспешил приподнять голову... о, восторг!.. На столе — пироги, вареники, яичница, словом, все то, лишение чего повергло меня в отчаяние.

Я перескочил расстояние от кровати к столу и принялся... Ах, как я ел! вкусно, жирно, изобильно, живописно и вдобавок полновластно, не обязанный спешить из опасения, чтобы товарищ не захватил лучших кусочков. Иному все это покажется мелочью, не стоящею внимания, не только рассказа; но я пишу о том веке, когда люди «жили», то есть одна забота, одно попечение, одна мысль, одни рассказы и суждения были все о еде: когда есть, что есть, как есть, сколько есть. И все есть, есть и есть.

И жили для того, чтобы есть.

Восхитительная музыка при моем завтраке так бы не усладила меня, как следующий рассказ бабуся: «Кушай, паныченько, кушай, не жалея матушкиного добра. Покушаешь это, я еще подам. Как увидела я, что тебя хотят обидеть, так я и припрятала для тебя все лучшенькое. Так мне пани приказывала, чтоб ты не голодовал. Не тужи, если тебя не будут брать в школу, я буду тебя подкармливать еще лучше, нежели их».

Баста! Бабусины слова еще более усилили во мне

отвращение к учению. И я дал себе и бабусе торжественное обещание, сколько можно реже быть достойным входа в училище, имея в виду наслаждаться жизнью. Дал и сдержал свое благородное шляхетское, как прилично потомку знаменитых Халявских, слово: весьма редко выучивал задаваемые уроки и выучиваемого не старался помнить. То, по научению бабуся, прикидывался больным, лежа в теплой комнате под двумя тулупами, то будто терял голос и хрипел так, что нельзя было расслушать, что я говорю, — что делал я мастерски! — и много подобных тому средств, кои в подробности передал уже моим любезнейшим сыночкам при определении их в училище как полезное для сбережения здоровья их... но не на таковских напал! Это ужас, как различно от меня мыслят дети мои; послушайте только их. Говорю и утверждаю: свет выворочен наизнанку.

Сказано мною выше, что братья мои признаны были риторам; но как вовсе не знали предыдущих риторике наук, то доmine Галушкинский преподавал их дома. К речи скажу: что это за голова была у нашего инспектора! Он только того не знал, чего не было на свете или в природе. Примется ли за грамматику? — так и пожинает ее! Именительных, родительных, к чему хотите, кучами навалит. Прошедшее, будущее, — это как искры сыплутся, и не заикнется ни на одном слове. Когда доходили до лиц, то он представлял в лицах: он был я, Петруся был ты, Павлуся — он, я же по тупоумию всегда было оно, среднее лицо. И тут как примется, так на всякое слово все действует: и я, и ты, и он; так же и во множественном. Куда! всего и пересказать не можно, а он все это из книжки, так и действует, не запинаясь. В стихотворстве опять: это на удивление! Не только знал, что есть хореи, ямбы — черт знает что там еще! Не только учил, как по ним сочинять,

но и сам сочинял преотличные стихи, какие хотите,— длинные, короткие, мужские, женские... Да как напишет таких стихов листах на двух, станет читать, так это прелесть! Все так и уснем на первой странице.

От своего дарования возбудил он и в нас страсть к стихотворству. Братья хотели попробовать себя в сочинении и попросили у доmine инспектора *меры* на стихи. Он дал мерку не длинную, так, вершка три, не больше, длины (теперешним стихотворцам эта мера покажется короткою, но уверяю вас, что в наше время длиннее стихов не писали, разумеется, *стихотворцы*, а не *стихоплеты*; им закон и в наше время не был писан); притом преподавал правила, чтобы мужской и женский стих следовали постоянно один за другим и чтоб рифмы были богатые.

Принялись наши молодцы за стихотворство и, написав, подали доmine Галушкинскому, севшему за стол с меркою в руках. И что же? Петруся, выше обыкновенного ума, полетел и полетел! Ни один стишок не пришелся в меру: то уже длинен чересчур, то короток; рифмы набраны были *словно поднятые из валяющихся на улице* — так изъяснил наставник. У Павлуся же стихи вышли на удивление! Во-первых, все в одну мерку, уже как ее ни прикладывал доmine, все точь-в-точь, ни длиннее, ни короче. Стихи мужской и женский, с богатыми рифмами шли беспрестанно. Например, впереди *Агафон*, рифма ему самая богатая — *миллион*. За Агафоном *Марина*, рифма — *гривна*, конечно, не так богата, но и доmine Галушкинский сознался, что женских богатых рифм мало. Пожалуйте же. За Мариною — *Омельян*, рифма — *империал*, тут вслед по правилам — *Агрипина*, рифма — *полтина*. И так далее и так далее, все в том же порядке. В рифмах даже *грош* не был включен, не только *копейка*. Я вам го-

ворю, что все были богатые. Это же я сказал об окончательных словах, а в строчках что было, так прелесть! Изобильная бакча на Парнасе... богини на вечерницах... все боги пьяны... да это чудо, что там было в стихах! Домине Галушкинский даже облизывался, читая. У Петруся все не так: у него все страшные, военные, с пушечною пальбою; и как выстрелит пушка и начнут герои падать, так такое их множество поразит, что из мерки вон; а чрез то и не получил одобрения от наставника.

Стихотворство увлекательно. Как ни ненавидел я вообще ученые занятия, но стихи меня соблазнили, и я захотел написать маменьке поздравительные с наступающим новым годом. Чего для, притворясь больным, не пошел, по обыкновению, в школу, а, позавтракав, сделав сам себе мерку, принялся и к обеду написал:

Когда я проходил,
То лез мимо крокодил
Превеликой величины
И нес в зубах кусок ветчины...

Все шло хорошо. Мужская и женская, *крокодил* и *ветчина* — правильно, слова нет... но не приискал богатства для рифмы, а пуще всего бился я с меркою стихов. Никак не слажу! В короткий стих не найду слов, чтоб вытянуть его, а из длинного — не придумаю, какое слово выкинуть, чтоб укоротить стих... Возился-возился, уже я и палец приставлял ко лбу, как делывал домине Галушкинский, — все ничего. И я среди таких размышлений крепко заснул. Ни одному нашему брату стихотворцу не стоили так дорого оды его, как мне эти два стишка; но, к несчастью для потомства, этот пушистый махровый цветок российской словесности, не распустившись, увял навсегда!!!

К рождественским святкам мы должны были

возвратиться домой. Батенька приказывали нам привезти свидетельство о учении и поведении нашем. Не знаю, какие аттестаты получили братья, полагаю, что недурные, потому что Петруся боялись не только риторы, но самые философы; он без внимания оставлял ученость их, а в случае неповиновения и противоречия тузил их храбро, никто не смел ему противоборствовать. Да и на кулачных боях, куда мы ходили под предводительством некоторых учителей, под простою одеждою скрывавших свою знаменитость, и там Петруся был законодателем; в какой стене стоял он, там была и победа. Высок ростом, широкоплеч, мужествен, неустрашим, храбр, горяч, вспыльчив, за безделицу, кого бы ни было, тотчас по мордасу — и выходил на кулаки; все трепетало его. Он от фортуны одарен был всеми геройскими достоинствами! Как же так такому не получить, по всей справедливости, лучшего аттестата? Один из начальствующих в училище говаривал про него: «Завидный молодец! Сильный по роду, сильный по богатству, сильный по силе своей».

Брат Павлусь другими достоинствами приобрел всеобщую любовь и уважение. Природою обиженный в своей «натуральности», как выражались о нем учителя, он богат был хитрым, тонким, изобретательным умом. Чтобы иметь большой круг для действий своих, он пристал к бурсакам, и, чистосердечно сказать, его способами они роскошествовали в пище и прочем. Из всех подвигов его вкратце скажу: он выходил всегда на рынок, припасши на белом конском волосе, связанном длиною саженой в пять, удочку, закрытую каким-нибудь лакомством для птицы. На каждом рынке обыкновенно ходят домашние птицы: куры, гуси, индейки, и живятся крохами. В кучу их Павлусь бросит удочку и, с волоском, отойдет далее, поджидая, пока удочку его схватит индей-

ский петух. Тут Павлусь побежит изо всей силы, а бедный петух, чувствуя боль в горле, не может сопротивляться тянущей его удочке, бежит, как взбесившийся, голову протянув, глаза выпучив и растопылив крылья. Народ, не примечая бегущего впереди школяра и также волоска, коим тащится петух, смотрит на необыкновенное положение птицы, удивляется, кричит: «Гляди, гляди! Вот чудесия! Сказился индик!» В воротах бурсы встречают победителя триумфом, а добычу, схвативши, немедленно зарезывают и на бегу ощипывают перья и, чуть только вбегут на кухню, кидают в котел.

Снабдив таким и подобным образом бурсаков пищею, брат Павлуся позаботился о снабжении их и питейной частью. Для сего он приищет широкую шинель, уберет ее как-то хитро и мудро, спрятав под нее два штофа, на особых снурках, и, наполнив один водою, а другой оставив пустым, идет в шинок. Там он решительно требует наполнить пустой штоф водкою и спросит смело, сколько следует за водку денег; штоф же с полученною водкою спрячет за горб свой. Услышав же, что должно за штоф водки заплатить двадцать копеек, он рассердится, перебранит шинкаря и, будто в досаде, вытащит опять назад штоф, но искусно подменит на тот, что с водой, и выливает ее в кадку, крича, что ему такой дорогой водки не надо. Шинкарь, не имея времени с ним торговаться и спорить, почитая, что он свою водку получил обратно, отгоняет его от кадки. Павлуся в торжестве спешит в бурсу, где и получает должную признательность.

То ли он делывал, ходя по рынку и *собирая секретно* бублики, паляницы, яйца, мак и проч. и проч.! И надобно честь отдать его проворству производить и необыкновенной способности изворачиваться, когда бывал замечен и изобличаем в действиях своих: о, он всегда был прав... Нет, если бы не уродливость

его, он пошел бы далеко, к чести фамилии Халявских.

И такому таланту не дать аттестата? Следовало бы списать все его деяния и тонкости и напечатать большою книгою и приложить картинки. Пусть бы теперешние молодые люди читали и, подражая, изощряли бы свой ум. Но куда им!

Домине инспектор, пользы ради своей и выгод, исходатайствовал и мне свидетельство, в коем сказано было, что я «был в синтаксическом классе и как за учение, так и за поведение никогда наказываем не был». Все правда. Я бывал в классе, но выучивал ли что или вовсе ничего, никто не наблюдал, а как я очень, очень редко приходил, то и поведение мое не было никому известно. Когда другие мучились, слушая всякого рода глупости на русском и латинском языках, я преспокойно выслушивал замысловатые сказки, которые мне поочередно рассказывали бабуся и Юрко, или играл с ними в свайку, в карты и тому подобное. Наказывать меня, кроме домине Галушкинского, никто не мог, а я очень хорошо знал, что он боялся немилости маменькиной и потому не трогал меня и пальцем.

Батенька, не добравшись хорошенько до настоящего смысла, очень довольны были таковым засвидетельствованием и наравне с братьями по приезде нашем домой пожаловали и мне в гостинец свежее зимнее яблоко.

Радость же маменьки при виде детей ее — и, кажется, более всех меня, — возвратившихся здоровыми и непохудевшими, была неописанна. Я даже заболел: так меня закармлили и жареным и сладким.

Когда же маменька узнали, что домине Галушкинский, по условию с ними, секретно от батеньки сделанному, не изнурял меня ученьем, то пожаловали ему с батенькиной шен черный платок, а другой, новый бумажный, для кармана, чем он был весьма

доволен и благодарен. Да, кроме того, вот еще что.

По приезде я нашел в доме некоторые перемены. В маменькиной спальне на лежанке стоял медный сосуд, коего употребления я еще не знал. По врожденному мне любопытству, я расспрашивал об этом сосуде и к чему он пригоден. Маменька сказали мне, что это «самовар», в нем-де греется вода, а из воды готовится напиток, называемый чай, который «хотя и дорог, бестия!» (так маменька выразили), но как везде входит в употребление, то и они, чести ради рода нашего, завели его у себя, и Хиврю отдали в науку готовить чай, и она его мастерски готовит. Причем обещали полакомить нас завтра этим напитком. «Оно, правда, и вкусное (так говорили маменька), но как-то противно, не евши, не пивши, употреблять его. Ты, Трушко, завтра сделай так, как я делаю в то утро, когда *готуют* чай: сбегай в булочную, там будут к завтраку готовить пирожки, блины и булочки; так ты нахватай там чего побольше, да и употребляй тогда смело чай; он тебе покажется приятен. Вот кофе так не могу пить, с души воротит, хотя его и после обеда должно принимать. Я его и не завожу, и не посылаю Хиврю учиться приправлять его. Раз только я пила у своей кумы Алены Васильевны — да тьфу!» При сем маменька, повернувшись в ту сторону, где живет Алена Васильевна, плюнули от негодования на ее кофе.

Пожалуйте же, что тут за комедия вышла на другой день. Вот мы собрались все около стола, на котором уже шумел самовар, а Хивря хлопотала около него и только знай закидывала свои длинные волосы на затылок, чтоб не падали в чашки, что нас очень веселило. Маменька по заботливости своей растолковали нам, как выливать чай из чашки в блюдце, как дуть, чтобы остудить, и как потом закрыть чашку. Все готово, и нам подали по чашке

чаю. Я исполнил по маменькиному предварительному совету и нахватался в булочной разной стряпни до жажды, и оттого чай показался мне удивительным напитком, равно как и братьям моим. Правда, запах и вкус был настоящего мыла, потому что маменька нам так говорили: «Этой проклятой травы нельзя ни с чем держать, так и принимает чужой запах. Эта благоразумная Хивря держит чай в одном сундуке с мылом». Вдруг при этом слове маменька крепко разгневались, покраснели, как кровь, и напустились на Хиврю, чайную стряпуху, зачем она так много воды навела в чайнике; больше чашки оставалось, куда с нею деваться? Жирно будет, так этакой дорогой напиток да выливать! «Вот что разве сделать», — сказали маменька и повеселели, что не пропадет чайная вода.

— Позови-ка Галушку сюда!— Так маменька, как уже известно, называли его, не гневаясь и не в укор. Домине, как мы по-иностранному называли, они не могли выговорить, потому что не учились иностранным языкам, паном, как его звали батенька, не хотели от благородной амбиции и говорили: «Как же вас (то есть батеньку) величать, когда школяр будет пан?» Всея же фамилии «Галушкинский» не могли выговорить, потому что, не зная российской грамоты, не могли понять, отчего оно четырехсложное; а чтоб разобрать, что «Галушкинский» есть часть речи и именно имя, и отличить: существительное ли оно, прилагательное, нарицательное, собирательное — куда! им бы и в десять лет не втолковать в понятие! Так оттого и называли они его просто, и кратко, и ясно: Галушка.

Пожалуйте. Вот и пришел домине «Галушка». Маменька из своих рук поднесла ему чашку чаю. Домине начал отказываться, что он ничего хмельного во всю филипповку в рот не берет.

Маменька, боясь, чтоб он вовсе не отказался, — тогда куда бы девать этот чай? — даже побожились, уверяя, что этот напиток вовсе не хмельной.

Реверендиссимо взял чашку, поклонился батеньке и маменьке и на штатском языке произнес желания здравия, во всем преуспевания, изобилия в достатке, веселия в чувствах, отриновения в горестях и т. п. и при последнем слове хлебнул, не наливая, как бы должно, в блюдце, а прямо из чашки... обжегся сильно, делал разные гримасы и признавался после, что только стыда ради не швырнул чашку о пол.

Мы, глядя на его действия и замешательство, катались от смеха... Кое-как выпил домине свою чашку и — опять замешательство! Не накрывши чашки, поднес ее к маменьке.

— А зуски не хочешь? — крикнула на него маменька. NB. Они обращались с ним без политики. — Это другой холодец (см. выше)! Разжиреешь, по две чашки пивши. Благодари и за одну.

Домине инспектор был как во тьме, не понимая причины гнева маменькиного; но батенька, объяснив ему, в чем он неполитично поступил, тут же открыли ему правила, необходимые при употреблении чаю. Домине в пристойно учтивых выражениях просил извинения, оправдываясь, что для него это была первина, и все устроилось хорошо; другой чашки ему не подали теперь, да и впредь более не делали ему подобного отличия.

Кстати, еще одно замечание об этом восхитительном напитке — чае. Ведь надобно же родиться такому уму, какой гнезвился в необыкновенно большой голове брата Павлуся! Все мы пили чай: и батенька, и маменька, и мы, и сестры, и домине Галушкинский; но никому не пришло такой счастливой догадки и богатой мысли. Он, выпивши свою чашку и поду-

мавши немного, сказал: «Напиток хорош, но сам по себе пресен очень, — рюмку водки сюда, и все бы исправило».

Мы все и батенька засмеялись, но на поверку вышло, что он правду говорил. Братья нашли способ вынуть у маменьки секретно всего нужного к опыту и начали свои опыты и не нахвалились открытием. Домине Галушкинский всегда говорил: «Это вещь сицевая:¹ лучше олимпийского нектара».

И такова благодарность потомства к первым изобретателям! Чтоб недалеко уходить, я вам укажу на два разительные примера. Кто открыл четвертую часть света? Христофор Колумб. Назвали ли ее в честь его? То-то же! Я думаю: ни у одного американца нет и портрета его. Это первый пример. Второй: кто первый изобрел пресность чая сдабривать и делать напиток вкусным и полезным? Исторически доказываю, что тайну сию постиг первый и не скрыл от потомства малороссийского Лубенского казачьего полка подпрапоренко Павел Миронович Халявченко (он умер холостым и потому не мог именоваться полным «Халявским», но как юноша — Халявченко), но отдаст ли ему потомство признательность? сомневаемся по первому примеру. Сколько ни пьют по-иностранному называемый пунш (в относительном смысле «Америка»), но никто не вспомнит о первом изобретателе. Хотя бы из национальной гордости включили имя Павлуся в список людей, своими изобретениями бывших полезных «люди́мству». NB. Предлагаю новое слово, заменяющее и имеющее другой смысл и понятие, нежели «человечество». И я увлекся духом времени!

Оставляю ученые рассуждения и обращаюсь к своей матери. Батенька не хотели наслаждаться од-

¹ Сицевая — такая.

ним удовольствием, доставляемым ученостью сыновей своих, и пожелали разделить свое с искренними приятелями своими. На таков конец затеяли позвать гостей обедать на святках. И перебрали же маменька и званых гостей, и учивших нас, и кто выдумал эти глупые науки! И все, однако ж, тихомолком, чтоб батенька не слышали; все эти проклятия ушли в уши поварки, когда приходила требовать масла, соли, оцета¹, родзынков и проч.

Вот и приехали. Алексей Пантелеймонович Брыкайловский, бунчуковый товарищ. Он в молодости учился в том же училище, где и мы чрез тридцать лет после него учились. О, да и умная же голова! Он не только слушал философию, но на публичных диспутах был первый спорщик и до зарезу поддерживал свое предложение. Что ему ни говори, он, не вникая никаким силлогизмам, остается при своем. Сверх того, имел собственные книги на латинском диалекте с собственноручною о принадлежности подписью на том же языке и с означением цены римскими цифрами. Божился доминe Галушкинский, что сам своими глазами все это видел.

Другой был Потап Корнеевич, не больше. Человек не то что с умом, но боек на словах; закидывал других речью, и для себя и для них бестолковою, правда, но уже зато *в карман за словами не лазил*, не останавливаясь сыпал словами, как из мешка горохом.

Третий — Кондрат Демьянович... нет, лгу, Данилович — и точно Данилович, помню вот почему: маменька называли его Кондрат Демьянович; а батенька, как это было не под час, не вытерпели, да тут же при всех и прикрикнули на них: «Что вы это, маточка, вздумали людей перекрещивать? Скоро и меня из Осиповичей переделаете во что другое. Так

¹ Оцет — уксус.

я вам не позволю так глумиться над собою. Родился законно Осиповичем, Осиповичем и умереть хочу. Так и их: не переменяйте и им отчества в обиду или в насмешку. Данилович — кажется, не трудно выговорить!»

Да и покраснели же маменька после такого репераманта! Словно рак, так стали красны, до самых ушей! Покраснели да, стыда ради, вышли скорей.

Уж такие батенька были, что это страх, как на них найдет! за безделицу подчас так разлютуются, что только держись. Никому спуска нет. А в другой раз — так и ничего. Это было по комплекции их: хоть и за дело, так тише мокрой курицы: сидят себе да только глазами хлопают. Тогда-то маменька могли им всю правду высказывать, а они в ответ только рукою машут.

Вот же я, заговорившись о почтенных моих родителях, забыл, на чем остановился... Да, о Кондрате Даниловиче, что вместе с прочими зван был на обед и послушать нашей учености.

Кондрат Данилович имел счастливый темперамент: у кого обедал, все хозяйское хвалил. Когда подавали ему жареного гуся, то он говорил, что гусь лучше всех мяс на свете: — и жирнее, и вкуснее, и сытнее. Подайте же ему назавтра индейку, то уже и гусь и все никуда не годится — одна индейка цаца. Я нахожу, что он с этой стороны счастливо наделен был мудрою фортуною. Батенька поступили хитро, пригласив и его к обеду. Когда бы мы не отличились своими знаниями, то если два первые гостя не похвалят, так третий будет хвалить — вот и разделились бы мнения. О! подчас батенька были тонкого и проницательного ума человек!

Настал день обеда! Гости съехались. Нас позвали, и мы в праздничных киреях, отдав должный почтительный решпект, стали у дверей чинно. Гости

осмотрели нас внимательно и, казалось, довольны были нашею «внешностью» (слово заимствованное) и приемами. Особливо же Алексей Пантелеймонович: он таки даже улыбнулся и принялся испытывать Петруся. Подумавши, поморщась, потерши лоб, наконец спросил: «Сколько российская грамматика имеет частей речи?»

Этот вопрос для такого ума, как Петруся, был тьфу! Он (то есть Петрусь) немножко обиделся таким легким, да еще и из грамматики, вопросом. А слышав, что Алексей Пантелеймонович и учен, и много сам знает, решился поворотить его в другую сторону, и потому вдруг ему отрезал: «Прежде нежели я отвечаю на ваше предложение, позволяю себе обратиться к вам с кратким вопросом, имеющим связь с предыдущим: знание от науки или наука от знания?»

— Принимаю, доmine, ваше предложение... но нечто не совсем ясно понимаю его, — сказал, смутясь, к хитрости прибегший экзаменатор, желавший, во время повторения вопроса, приготовить ответ. Мы тотчас смекнули, что *стара штука!*

— Объясняю, — резал Петрусь. — Знание ли предмета составило науку или наука открыла в человеке знание? Поясняю следующим предложением: человек постиг грамматику и составил ее: ergo, до того не было ее. Каким же образом он постигал ту науку, которой еще не было? Обращаюсь к первому предложению: знание ли от науки или наука от знания?

Я говорю, что Петрусь был необыкновенного ума. Он имел талант всегда забегать вперед. За обедом ли, то еще борщ не съеден, а он уже успеет жаркого отведать; в борьбе ли, еще не сцепились хорошенько, а уже ногою и подбивает противника. Так и в науках: ему предлагают начало, а он уже

за конец хватается. Вот и теперь, шагнувши так быстро, смешал совсем Алексея Пантелеймоновича до того, что тот, приглаживая свой чуб, отошел в сторону и говорит: «Как в том училище, где и я учился, науки через тридцать лет усовершенствовались! При мне — а я слушал философию — непременно следовало на заданный вопрос отвечать логически; теперь же вижу, что вместо ответа должно предложить новый, посторонний ответ, затемняющий тему. Умудряется народ, и — будь я бестия! — если дети ваших сынков, с своей стороны, не изобретут чего еще усовершенствованию наук!» Тут он вдруг ударил себя в лоб и сказал с самодовольством: «Счастливая мысль! Я вам предложу письменный вопрос, прошу отвечать на бумаге».

Тут он, схватив лист бумаги, написал: «В чем заключается изящество красноречия в речах и учениях Цицерона, Платона и Сократа?» И, торжествуя, сказал: «Вы ритор: вам легко решить». И подал Петрусь перо.

Не на таковского напал. Брат Петрусь только глазом кинул на писание, как тут же и сказал:

— Не могу отвечать, видя неправильность вопроса. Позвольте исправить. — И тут же, не дожидаясь согласия противника, замарал имена философов и написал по высшему учению:

Platon'a, Ciceron'a и Socrat'a.

Батюшки мои! Как оконфузился Алексей Пантелеймонович, увидев премудрость, каковой в век его никому и во сне не снилось! Покраснел, именно, как хорошо уваренный рак. NB. Правду сказать, и было отчего! И, схватив свою бумагу, он смял ее при всех и, утирая пот с лица, сказал задушающим голосом: «После такой глубины премудрости все наши знания ничто. Счастливое потомство, пресчастливое потомство! Голова!» — заключил Алексей Панте-

леймонович, обратиться к батеньке и на слове *голова* подмигивая на Петруся.

Батенька просили его приняться за Павлуся; и Алексей Пантелеймонович спросил:

— Что есть российская грамматика?

На лице Павлуся не заметно было никакого замешательства. Известно нам было, что он ничего не изучил; но я, зная его изобретательный ум, не боялся ничего. Он с самоуверенностью выступил два шага вперед, поднял голову, глаза уставил в потолок, как в книгу, руки косвенно отвесил вперед и начал, не переводя духу:

— Российская грамматика. Сочинение Михаила Ломоносова. Санкт-Петербург, изданием Императорской Академии наук. Тысяча семьсот шестьдесят пятого года. Наставление второе. О чтении разнородных чисел. Российская грамматика есть философское понятие: к сему нас ведет самое естество: ибо когда я рассуждаю, что помножив делителя на семью семь — тридцать семь; пятью восемь — двадцать восемь; тогда именительный кому, дательный кого, звательный о ком, седьмое предлог, осьмое местоимение, девятое не укради... — И так далее, да как пошел! Словно под гору, не останавливаясь и не мигая глазами, но голосом решительным и с совершенною уверенностью, что говорит дело.

Алексей Пантелеймонович от удивления сперва разинул рот, потом поднял вверх руки, наконец бросился к Павлусю, давая его обнимать и кричать: «Довольно, довольно! я в изумлении!.. остановись... отдохни!..» Куда! наш молодец, как будто оседлав ученость, погоняет по ней во всю руку и несется что есть духу, ломая и уничтожая все, что попадаетея навстречу. Трещит грамматика, лопаются арифметика, свистит пиитика, вдребезги летит логика... Наконец, кое-как уняли его, и он остановился, запы-

хавшись. Удивительный ум, беглость мыслей, проворство языка, находчивость необыкновенная!.. Да, это был человек!

Потап Корнеевич и от Петруся был вне себя и выхвалял его отборными словами; когда же проораторствовал Павлусь, то он *не своим голосом* вскричал: «Это гений, — ему в академии нечему учиться. Поздравляю, Мирон Осипович, поздравляю! поздравляю! И должно беспристрастно сказать, что старший сын ваш имеет много ума, а другой много разума. По-моему, это различные темпераменты. Разница уметь и разница разуметь: а все велико. Подлинно, вы счастливый отец, Мирон Осипович, счастливый! Давайте нам поболее таких фаворитов... Нет, не так: патер... патри... патриотов. Посмотрим, что скажет третий?»

У меня душа так и покатила! Я не имел ни Петрусиного ума, ни Павлусиного разума; да таки просто не знал ничего и не мог придумать, как изворотиться. К счастью, успокоили меня, предложив по мере знаний моих вопрос.

— По наружности вашей физиогномики, — так, обращаясь ко мне, свысока начал Алексей Пантелеймонович, — я посредством моей прононциации вижу, что из вас будет отличный математист, и потому спрашиваю: восемь и семь, сколько будет?

Сначала я принял умное положение Павлуса: глаза установил в потолок и руки отвесил, но, услыша вопрос, должен был поскорее руки запрягать в карманы, потому что я, следуя *методу* доmine Галушкинского, весь арифметический счет производил по пальцам и суставам. Зная твердо, что у меня на каждой руке по пяти пальцев и на них четырнадцать суставов, я скоро сосчитал восемь и семь и, не сводя глаз с потолка, отвечал удовлетворительно.

— А пятнадцать и восемнадцать?

Вопрос затруднительный, потому что недоставало у меня суставов, и я было призадумался и полагал, что должен буду обратиться к ножным пальцам; однако же при мысленной проверке оказалось это средство ненужным; и хотя я отвечал более, нежели через четверть часа, но отвечал верно.

Таким порядком я откатывал на все задачи верно, несмотря на то что меня пугал один сустав на указательном пальце, перевязанный по случаю пореза; но я управлялся с ним ловко и нигде не ошибся.

К моему счастью, экзаменатор, как сам говорил, не мог более спрашивать, забыв примеры, напечатанные в книге арифметики, в которую не заглядывал со времени выхода из школы.

Похвалы сыпались и на меня. По мнению Алексея Пантелеймоновича, хоть во мне и не видно такого ума и разума, как в старших братьях, но заметно необыкновенное глубокомыслие. «Посмотрите, — продолжал он, — как он не вдруг отвечал, но обдумывал сделанное ему предложение, обсуживал его мысленно, соображал — и потом уже произносил решение».

А я — будь я гунстват, если что-либо обсуживал или соображал; я не знал, как люди обсуживают и соображают; я просто считал по пальцам и, кончивши счет, объявлял решение.

Истошив все похвалы, Алексей Пантелеймонович обратился с вопросом к Кондрату Даниловичу: кого из нас он находит учнее?

Тот, давно скучавший на медленность учения и с нетерпением ожидавший обеда, отвечал прилично занимавшим его мыслям: «Изволите видеть: от человека до скота, а я сих панычей уподоблю птицам. Примером сказать: возьмите гусака, индика и селезня. Их три, и панычей, стало быть, три. Засим: птицы

выкормлены, панычи воспитаны; птицы зажарены, панычи выучены; вот и выходит, что все суть едино. Теперь поставьте перед меня всех их зажаренных, разумеется птиц, а не панычей. Избави бог, я никому не желаю смерти неприличной; за что их жарить? Вот, как подадите мне их, я, допускаю, всех их съем, но не беруся решить, которая птица вкуснее которой. Разные вкусы, разные прелести. Так и с панычами. Разные умы, разные знания, а все порознь хорошо, как смачность в гусакe, индикe и селезнe».

Алексей Пантелеймонович остолбенел от такого умного уподобления и, смотря на него долго и размышляя глубоко, спросил с важностью: «До какой школы вы достигали?»

— Записан был в инфиме, — меланхолично отвечал Кондрат Данилович, — но при первоначальном выходе в класс сделал важную вину и тут же отведен *под звонок*, где, получив должное, немедленно и стремительно бежал и в последующее время не только в школу не входил, но далеко обходил и все здание.

— Чудно! — сказал Алексей Пантелеймонович, вздвигая плечами. — А вы свою диссертацию произнесли логически и конклюдентно сделали по всем правилам риторики.

В ответ на это Кондрат Данилович почтительно поклонился Алексею Пантелеймоновичу.

Батенька, слушая наше испытание, вспотели крепко, конечно, от внутреннего волнения. И не мудрено: пусть всякий отец поставит себя на их месте. Приняв поздравление со счастьем, что имеют таких необыкновенных детей, погладили нас — даже и меня — по голове и приказали идти в панычевскую.

Во время нашего испытания домине Галушкинский был в отлучке: ездил к знакомым. И без него братья мои были в восторге от удавшихся им пас-

сажей их. «Вот как мы этих ученых надули (провели, в дураки ввели. Это слово самое коренное бурсацкое, но, как слышу, вышло из своего круга и пошло далее), — почти кричал в радости брат Петрусь. — Прекрасное правило доmine Галушкинского: когда люди, умнее тебя, уже близки изобличить твое незнание, так пусти им пыль в глаза, и ты самым ничтожным предложением остановишь их, отвлечешь от предмета и заставишь предполагать в себе более знаний, нежели оных будет у тебя в наличности. Благодарю Platon'a, Ciceroп'a и Socrat'a. Они прикрыли мое невежество, и — будь я гунстват — если по времени не будут мне в подобных случаях подражать, чтобы за глупостью укрыть свое невежество».

Что же делали маменька во время нашего испытания? О! они по своей материнской горячности не вытерпели, чтоб не подслушать за дверью; и, быв более всех довольны мною за то, что я один отвечал дельно и так, что они могли меня понимать, а не так, — говорили они, — как те болваны (то есть братья мои), которые черт знает что мололи из этих дурацких наук; и пожаловали мне большой пряник, и приказали поиграть на гусях припевающе.

Я пропустил сказать о важном пассаже в жизни моей, коим доставил маменьке особенную радость, когда возвратился из училища домой.

В городе, в меланхоличные часы, доmine Галушкинский поигрывал на гусях, как-то им приобретенных и на которых он мастерски разыгрывал восемнадцать штукек. Пробуя меня по части учения в том и другом, он вздумал: не возьмусь ли я хоть на гусях играть? И принялся испытывать мое дарование. И что же? Я взялся, понял и выигрывал целых пять штукек и половину шестой, и все очень исправно и без запинки, а особливо отлично гудели у меня басы, минут пять не умолкая.

С этим новым открывшимся во мне талантом прибыл я в дом, привезя с собою и гусли, ставшие моею собственностью чрез мену на одну вещь из одевания. Хорошо. Вот я, не говоря ничего, и внес их в маменькину опочивальню. Они подумали, что это сундучок, так, ничего — и ничего себе... Но надобно было видеть их изумление и, наконец, радость, восторг, исступление, когда я, открыв гусли, начал делать по струнам переборы, дабы показать, что я *нечто на гуслях играю*.

Отерши радостные слезы и расцеловавши меня, они заставили меня играть. Я поразил их! Я заиграл и запел. Голос мой против прежнего еще усовершенствовался и, перейдя из дишканта в тенор, стал звонче и резче. Я играл и пел известный кантик: «Уж я мучение злое терплю для-ради того, кого верно люблю». Маменька плакали навзрыд и потом объяснили мне, что эта-де песня, как нарочно, сложена по их комплекции: «Что я терплю от твоего отца, так и не приведи господи никому! и все ради того, — заключили они с стихотворцем, — что верно его люблю! Повтори, душко, еще этот усадительный кантик». И я пел, а они рыдали.

Потом я запел другой кантик: «Рассуждал я предовольно, кто в свете всех счастливей?» Он им понравился по музыке, но не по словам: «Цур ей, душко! Это мужеская, не играй при женщинах. Я, да, я думаю, и весь женский пол не только сами чтобы рассуждать, да и тех не любят, кои рассуждают. Не знашь ли другой какой?»

Я заиграл: «Где, где, ах, где укрыться? О, грозный день! лютейший час!» Слушали они, слушали и вдруг меня остановили. «Не играй и этой, — сказали они, — это, видишь, сложено на Страшный суд. Тут поминается и грозный день, и лютый час, и где укрыться!.. Ох, боже мой! Я и помыслить



боюсь о Страшном суде! Я, благодаря бога, христианка: так я эту ужасную мысль удаляю от себя. Нет ли другого кантика?»

Я умел живо разыгрывать «Камарицкую», под которую, как мне говорили, и мертвый бы не улежал, а поплясал бы; но не играл при маменьке из опасения, чтобы подчас не разобрала их музыка и чтобы они не пошли плясать, что весьма непри-

лично было бы в тогдашнем их меланхолическом восторге. Итак, я заиграл и запел: «Владычица души моей, познай, колико страстен мой дух несчастен». Как вижу, встали от меня, начали ходить по комнате, что-то шептать с большим чувством и, ударяя себя в грудь, утирали слезы. Они, как были неграмотные, то и не разобрали, что это слова любовные, а понимали их в противном смысле. Особливо же, когда при кончике этого кантика я должен был, почти вскрикивая, петь: «Неисцелима страсть моя!» — то и они тут, крепче ударив себя в грудь, возглашали: «Ох, точно неисцелима страсть моя. Вот уже близ шестидесяти лет, а страсть пылет».

Пользы ради своей я молчал и не растолковывал им прямого смысла песни. Зачем? Меня за мою усладительную музыку всегда окармливали всякими лакомствами, и всегда, чуть только батенька прогневаются на маменьку, им порядочно достанется от них, они и шлют за мною и прикажут пропеть: «Уж я мучение злое терплю», а сами плачут-плачут, что и меры нет! Вечером же, на сон грядуще, прикажут петь: «Владычица души моей», а сами все шепчут и плачут.

Не только маменьке нравилась моя игра и пение, но и старшая из сестер, Софийка, уж года два назад, то есть когда ей исполнилось четырнадцать лет, надевшая корсет и юбочку, а до того бегавшая в одной лёлечке (рубашке), только кушачком подпоясанная, так и Софийка очень любила это упражнение и чистосердечно мне говорила: «Хорошо брат Павлусь звонит, очень хорошо, — я всегда заслушиваюсь его; но ты, Трушко, на гусях лучше играешь». Из благодарности я принялся ее учить; но или я не мог научить, или она не могла перенять, — она не взялась на гусях,

а только пела со мною и, вместе со мною услаждая горести маменькины, услаждалась и лакомствами. Ах, как мы громко и выразительно пели «Владычицу»! Да что? Теперь таких нот и подобного стихотворства не услышишь... Все миновалось!

После сделанного нам испытания слава о нашей учености пронеслась далеко, и соседи, приезжая к батеньке, поздравляли их с таким счастьем, за что батенька были к нам очень милостивы. Они дали нам во всем полную волю и, надеясь на степеньность доmine Галушкинского, ни малейше не заботились, где мы находимся и в чем упражняемся. Удальцам Петрусе и Павлусе то было на руку. Святки — веселье, гульба. Брат Петрусь дал волю героическому своему духу: завел кулачные бои, для примера сам участвовал, показывал правила, занятые им на кулачных боях в городе во время учения в школах, ободрял храбрейших. Противною стеною командовал наш реверендиссисме наставник, отпущенный для повторения с нами уроков. Но он не исполнял сей обязанности по причине других занятий: днем на кулачном бою, а по ночам подвигами на вечерницах, которые им и братьями были посещаемы с новым жаром; причем введены были ими и новые права, также городские и также служившие только к их пользам.

Такие нововводимые обычаи на вечерницах и право сильного, помещичьего сына, паныча, законотворчество на кулачном бою Петруся, притом поддакивание и ободрение к дальнейшим действиям доmine Галушкинского равно и все содеянное художественными способами Павлуся, весьма не нравились большей части парубков. Ропот усилился, и они приступили к мщению, в чем и успели.

В один вечер — злополучный вечер! — реверендиссисме Галушкинский, пригласив наставляемых им



юношей, Петруся и Павлуся (я не участвовал с ними по особенной, приятной сердцу моему причине, о которой не умолчу в своем месте), пошли на вечерницы, и как ничего худого не ожидали и даже не предчувствовали, то и не взяли с собою других орудий, кроме палок для-ради собак.

Ничего не подозревая, подходили к хате, где обыкновенно бывало сходбище, как вдруг из-за углов и плетней раздалось: «Сюда, наши, бей, валяй кого попало!» — и вместе с криком выбежало парубков двадцать с большими дубинами и с азартом бросились к Петрусю и реверендиссиму, а другие, схватив брата-горбунчика, по предприимчивому духу своему ушедшего вперед, начали по горбу Павлуся барабанить в две палки, с насмешками



и ругательствами крича: «Славный барабан, Ониська! бей на нем зорю!»

Петрусь при первом раздавшемся крике парубков, следуя внушению геройского духа своего, хотел было бежать, но, как нежный брат, видя бедствующего Павлуся, бросился с отчаянием в кучу злодеев, исхитил его из их рук, принимая и на себя значительное число ударов, одушевляемый храбростью и неустрашимостью, пустился бежать что есть духу. Почтенный наставник, разжигаемый тем

же духом мужества, бежал вместе с ним. Павлусь тоже пустился было по следам храбрых, но, как был слабосилен, а тут еще отбарабанен порядочно, не мог никак бежать за героями. Но что значит ум, талант, изобретательность, творчество! Сии дары и в самом опасном, отчаянном положении избавляют от бед человека, одаренного ими. С таковыми талантами Павлусь в критическую минуту нашелся и произвел к своему спасению следующую хитрость, едва ли не знаменитее всех прежних своих, но... увы!.. и последнюю!.. Собрал остаток сил, он догнал бегущего реверендиссима, подскочил и ухватился ему за шею, а ногами обвил его и таким образом расположился на хребте наставника своего, как на коне или верблюде, очень покойно. Домине Галушкинский как ни старался освободиться от седока, но никак не мог, находясь в необходимости улепетывать от разъяренных парубков, которые не переставали преследовать бегущих и щедро осыпать ударами Петруся и самого реверендиссима с ношею его.

Избитые, испуганные, измерзшие герои мои едва могли дотащить до дому; бедного же Павлуса, жестоко избитого по чувствительному месту, едва могли снять с хребта наставника и тут же уложить в постель.

Батенька, узнав о ночном приключении, поступили весьма благоразумно. Во-первых, пострадавшим дали по большой рюмке водки с перцем для согретия тела и исправления желудка по причине всего претерпенного, приказали лечь в постель и закутаться, чтобы вспотеть. Средство это очень помогло: герои мои к полудню чувствовали себя совершенно справившимися и могущими еще снова перенести подобное действие. Во-вторых, принялись отыскивать дерзких, осмелившихся поднять руку

на кровь их в лице Петруся и Павлуся. И как, перебирая, не находили виновного, то и приказали всех парубков до единого, — был ли кто из них или не был в экспедиции, участвовал ли в чем или нет, — собрать во двор и под наблюдением Петруся и под руководством почтенного наставника нашего управиться с ними по своему усмотрению. Будут же они помнить мщение оскорбленных ими!..

Батенька имели такой нрав, а может, и комплекцию, что, сделав дело, потом обсуживают, хорошо ли они это сделали. Так и тут. Они принялись рассуждать — и, не знаю отчего, пришла им вдруг мысль, что не парубки, уже наказанные, а братья и инспектор виноваты, зачем не учились, для чего из училища отпущены, а пошли на вечерницы, чего никто не поручал. А того батенька и не рассудили, что это были святки, праздники — какое тут учение? Можно ли заниматься делом? Надобно гулять, должно веселиться; святки раз в году; не промориться же в такие дни над книгами! Чудные эти старики! Им как придет какая мысль, так они и держатся ее, — так и батенька поступили теперь: укрепясь в этой мысли, начали раздражаться гневом все более и более и придумывали, как наказать детей.

Вот как они о том обдумывали, маменька между тем по сродной чувствам и сердцу их нежности, хотя и о нелюбимом за его уродливость сыне, но, видя его потерпевшего так много, плакали все равно, как бы и обо мне, пестунчике своем, если бы это случилось со мной. Сердце матери — неизъяснимая вещь!..

Оплакав страдающего Павлуся и видя, что слезами ничего нельзя помочь, они принялись лечить его и на таков конец призвали сельскую знахарку. Женщина в своем мастерстве преискусная была!

Могла в ряд стать с лучшим немцем-лекарем. Она когда было скажет, что больной не выздоровеет, а умрет, то как раз так и случится. Впрочем, и сама говорила, что она к выздоровлению не имела дара лечить, разве больной сам по себе догадается и выздоровеет. Пожалуйте же. Эта умная и опытная женщина принялась укреплять ослабевшего сильно Павлуся. И, признаюся, средство ее было самое близкое к натуре. Она, выкупавши его в разных травах, распаренного, приказывала немедленно выносить на мороз, пока хорошенько продрогнет. Знав свое дело, она доказывала, что и железо таким же образом закаливается и оттого делается крепче; то же железо бездушное, а то же человек, создание другого рода, лучшее, следовательно, ему скорее поможет. Но, несмотря на это и другие подобные средства, Павлусь не получал облегчения, а изнемогал все более и более. Такая уже, видно, была слабая его натура!

После первого опыта с Павлусем маменька принялись обсуживать, отчего это их сынки, почти дети еще,— что там: Петрусе восемнадцать, Павлусе семнадцать, а мне шестнадцать лет, — возымели такую охоту ходить на вечерницы, и решили: «Это не кто, как Галушка! Это он их всему научил, чего детям на их невинный ум никогда бы не взошло». С подобными жалобами на инспектора они хотели идти к батеньке и, как всегда это делали, прежде подсмотрели в дверную щелочку, чем они занимаются и в какой пассии. Те же, как я сказал выше, приходя все в большее сердце, наконец, взбешены были до чрезвычайности, а отчего,— маменька не знали. Известна же им очень хорошо была батенькина комплекция, что в такой час не подходи к ним никто, ни правый, ни виноватый — всем будет одна честь: кулак и оплеухи. Так по-

тому они и не пошли, а рассудили залучить к себе батеньку и для того поднялись на обыкновенные свои хитрости. Громкого плача батенька терпеть не могли и более еще сердились; но когда маменька плакали тихомолком и горестно, тогда батенька, лишь бы увидели, тотчас расчувствовывались и захаживали уже сами около маменьки. Видно, в те поры в батеньке пробуждалась любовь, а оттого и сожаление. Конечно, прожив около двадцати лет в беспорочном супружестве, они обое уже налюбили и излюбилися; но все-таки при виде скорби близкого лица пробуждается какое-то особенное чувство, вроде любовного воспоминания, и рождает уже одно сожаление. Я это ныне испытываю на себе.

Так вот, маменька, по обычаю, и принялись в соседней от батенькиной комнате хныкать, будто удерживая себя от плача. Когда батенька это заметили, то и пришли в чувство, описанное мною. Где и гнев девался! Они, по своему обычаю, стали ходить на цыпочках около маменькиной опочивальни и все заглядывали в непритворенную с умыслом дверь, покашливали, чтобы обратить их внимание.

Но маменька были себе на уме: не вдруг поддавались батеньке, а раз десять заметив выказывающийся из-за дверей батенькин нос, — у батеньки был очень большой нос, — они, бывало, тогда только спросят: «А чего вы, Мирон Осипович? Не желаете ли чего?»

Тут батенька войдут смело и объясняются, о чем им надо.

Так случилось и теперь, но батенька не изъявили желания ни на что, а начали говорить так:

— Я пришел с вами, Фекла Зиновьевна, посоветоваться. Как бы ни было, вы мне жена, друг, сожительница и советница, законом мне данная, а

притом мать своих и моих детей. Что мне с ними делать? Присоветуйте, пожалуйста. Закон нас соединил; так когда у меня режут, то у вас должно болеть. Дайте мне совет, а у меня голова кругом ходит, как будто после приятельской гульни.

— Когда б я знала, Мирон Осипович, — сказали маменька хитростно, — что вы на меня не рассердитесь, на мой глупый женский ум, то я дала бы вам преблагоразумный совет.

— А нуте, нуте, что вы там скажете?

— Знаете что? Сыны наши уже взрослые, достигли совершенных лет, бороды бреют: жените их, Мирон Осипович!

— Черт знает-таки, что вы, маточка, говорите! Кого женить?

— Петруся и Павлуся; да и Трушка бы я женила, чтобы отвратить их от разврата.

— С чего такое дурачество в голову вошло вам, душечка?

— Это не дурачество и совсем не глупая мысль. Женится человек — и все свои шалости, даже глупости, оставляет. Недалеко ходить: вам живой пример вы. Вспомните, какие проказы в здешних местах строили? Уши горят и вспомнивши про них. Вас везде считали за распутного, и ни одна панночка не шла за вас. Прощлое дело, и я бы не пошла, как бы меня, почитай, связанную не обвенчали. Вот же, сякая-такая, лыками сшитая жена, а, женясь, вы исподволь переменили свое скаредное поведение и под старость стали порядочные. Вот то же будет с нашими сынками. Как мы их оженим да возьмем им жен гораздо постарше их да зубатых, чтоб им волю прекратили, так, во-первых, скорее дождемся сынов от сынов своих и увидим чада чад своих; а во-вторых, не бойтесь, не пойдут больше по вечерам и нас порадуят счастьем своим.

— Удивляюсь вам, Фекла Зиновьевна, как вы даже и в эти лета подвержены мехлиодии, и у вас все любовное на уме (при сем маменька плюнули и так поморщились, как будто крепкого уксусу отведали). Как вы располагаете женить детей? Что из них будет?

— Теперь покуда дети, а после будут люди.

Батенька остановились против маменьки и смотрели на них долго-долго; потом покачали головою, присвистывая: «Фю-фи-фи!.. фю-фи-фи!» — и начали говорить с возрастающим жаром: «Как я вижу, так ваш совет женский, бабий, не рассудительный, дурацкий!» И при последнем слове, выходя из комнаты, стукнули дверью крепко и, уходя, продолжали кричать: «Не послушаю вас, никогда не послушаю!.. Женить! Им того и хочется».

А маменька, оставшись себе одни, начали рассуждать критически, но все вполголоса, все еще потрушивая батеньки, чтоб не воротились: «Как же себе хотите, так и делайте, а я вам другого совета не дам. Хотя они и моя утроба и вскормлены моим сердцем, а не вашим, но вы моя глава и я — о-ох! — должна повиноваться. Хотя, по-вашему, я и глупо рассуждаю, но чувствую, лучше иметь одну невестку, которая бы и нам помогла держать их в руках, нежели сотню черт знает каких — тьфу!» При сем восклицании маменька плюнули, оборотятся в ту сторону, где было село.

Весь описанный мною разговор батеньки с маменькою я слышал один — и, признаюсь, мысль маменькина, мысль остроумная и благоразумная, восхитила меня. Женить нас! Что могло быть лучше этого? Маменька же так справедливо, живо, искусно доказывали необходимость того... С горестью услышал я несогласие батеньки и решительный отказ. А я уже чувствовал такое стремительное, непреодо-

лимое желание жениться, потому... потому что со мною последовала перемена, которую изъясню словами нашего реверендиссима наставника, домине Галушкинского.

Божок, мал телом, но велик делами, нашел средство опутать меня своими сетями. Для чего достал он из колчана своего острейшую из стрел, намазал ее ядом, им же составленным: ядом сладким, горьким, восхищающим, умервляющим, возвышающим и унижающим; таковую стрелу сей плутишка положил на свой лук и, поместясь в несравненные серенькие плутовские глазки, пустил из них свою стрелу, которая, полетев, попала мне прямо в сердце и пронзила его насквозь. Тоненькие же, длинненькие, беленькие пальчики, принадлежащие той, кому и те глазки, теплотою своею распалили всю мою внутренность... Увы! я познал любовную страсть, к моему восхищению и вместе к лютomu мучению!.. Начало или рождение ее, возрастание и действия я расскажу в следующей части. Теперь же кончу период юной жизни моей тем, что случилось.

Батенька решился отправить нас пока в училище. Домине Галушкинский за произведенное развращение (так думали батенька) нравов наших должен был заниматься с нами целый год без жалованья, на одних харчах наших, и как ему обещали, что не объявят начальству его о происшедшем, то он был рад и обещевал уже наблюдать за нами, как за зеницею ока своего.

Нас снаряжали к отправлению. Бедный Павлусь, не только ехать с нами, но если сказали жениться, то он не мог бы, ибо изнемогал все более и более. Наконец, и знахарка объявила, что он не так болен, чтобы ему выздороветь, а оттого и перестала лечить его. Я должен был отправляться в город для продолжения так удачно начатого учения. Но снедающая

меня любовная страсть и воззрение на слезы страждущего предмета души моей заставили меня прибегнуть к хитрости, в моем состоянии извинительной. Заблаговременно я притворился больным; маменька поддерживали обман мой. Я лежал в теплой комнате под шубами, ничего не ел явно, а всеми возможными яствами, при секретном содействии бабуся, маменька меня упитывали. Батенька сильно сердилась на мою болезнь, но не подозревали обмана, и мы его препорядочно *надули*, до того, что когда пришло время, то брат Петрусь с домине наставником уехал. Я же, оставшись, проневогши для приличия несколько дней, выздоровел и встал для любовных приятно невинных наслаждений...

Брат Павлусь после отъезда Петруся недолго страдал. Он умер, к огорчению батеньки и маменьки. Как бы ни было, а все же их рождение. Батенька решительно полагали, что смерти его причиною домине Галушкинский, рано и преждевременно поведши их на вечерницы; а маменька, как и всегда, справедливее батеньки заключали, что домине Галушка тем виноват, что часто водил их в это веселое сборище; я же полагаю, что никто смерти его не виною: она случилась сама по себе. Такая, видно, Павлусина была натура!.. По приказанию родителей, разлинеяв бумагу, написал к Петрусе сам: «Знаешь ли, брат, что? Брат Павлусь приказал тебе долго жить». Маменька прослушали и, сказав, что очень жалко написано, прослезились порядочно. В ответ мне Петрусь пространно описывал — и все высоким штилем — все отличные качества покойного и в заключение, утешая себя и меня, прибавил: «Теперь нам, когда батенька и маменька помрут, не между шестью, а только между пятью братьями — если еще который не умрет — должно будет разделяться имением».

Я говорю, что это был необыкновенного ума человек! Он везде и во всем хватал вперед.

Похоронивши Павлуса, батенька и маменька принялись советовать, как устроить нас. И, видно, батенька в ту пору были склонны к жалости, потому что скоро согласились с маменькою, чтобы уже прекратить мое учение. Они приняли в резон, зачем убыточиться — домине Галушкинскому платить лишние пять рублей каждый год, а пользы-де не будет никакой: видимое уже дело было, что хотя бы я все возможные училища прошел и, какие есть в свете, науки прослушал, толку бы не было ничего. Откровенно скажу, не пришлось науки по моей комплекции. Батенька в заключение совещания сказали: «Пусть не учится, а будет дураком, пусть на себя жалуется; увидит, какое зло ему принесет его незнание».

Хорошо. Какое зло принесло мне нежелание мое учиться? Совершенно ничего. Я так же вырос, как бы и ученый; аппетит у меня, как и у всякого ученого. Влюблялся в девушек и был ими любим так, что ученому и не удастся, причем они не спрашивали меня о науках — и у нас творительное, родительное и всякое производилось без знания грамматики. В службе военной незнание наук послужило мне к пользе: меня, не удерживая, отпустили в отставку; иначе лежал бы до сих пор на *поле чести*. Зато теперь жив, здоров и всегда весел. Не потребовались науки и при вступлении моем в законный брак с нежно любящею меня супругою, Анисьею Ивановною, с которою — также без наук — прижито у нас пять сыновей и четыре дочери живьем да трое померших. И имение у брата отстояно, и новое приобретено — все без наук, просто.

Посмотрите же вы, что делается с учеными, хотя бы и с сыновьями моими? Знают, каналы, все; не

токмо сотни, да и тысячи, — куда! — я думаю, и сотни тысяч рублей раскинут на гривны, копейки и скажут, сколько денежек даже в миллионе рублей. Удивительные познания! Волос стал бы дыбом, если бы я прежде того не оплешивел! Мало того, как знают все прошедшее! Какие есть в свете государства, какой король где царствовал, как звали его, жену и детей; а сами и ногой в том государстве не бывали, да знают. Все, все знают от сотворения мира по сей день. Неимоверно! А не больше как мои дети и в том же городе учились; только и разницы, что не в том училище, где я. Вот и поглотили, кажется, всю премудрость, но зато как испытые, голубчики мои! Ни маленького брюшка, ни у одного аппетитца порядочного, и вдобавок никогда не ужинают. Словно не мои дети! Дослужились в полках до чинов и орденов набрали, правда; но нахватали же ран и увечья. Побрачились все на бедных; только и смотрели, чтоб были обученные... Тьфу ты, пропасть! Требуют, чтоб и женщины имели ум! Вот век! Маменька, маменька! Что, если бы вы до сих пор не умерли, что бы вы сказали о письменных женщинах?..

Это же сыновья мои единоутробные; а что со внуками делается, так и ума не достанет понять их! Ведь все боги небесные знают, звезды у них наперечет, и куда какая идет; не заглядывая в календарь, скажет прямо, когда какая квадра луны настанет. Не только мужеский пол поглощает премудрость, — самые женщины. Ну, что они такое? Ничего больше как женщины, а поди ты с ними! Что уже против своих матушек! Прямо в превыспренности вдаются. Уж не только на гуслях, но и на клавирах режут, да как! что даже на вариации поднимаются, поют кантики, совсем отлично от прежних сложенные, — и я вам скажу — соблазнительно сложенные. Моя

Анисья Ивановна заставила однажды нашу Пазиньку спеть *что-нибудь хорошенькое* и слушала ее, раскладывая гарпасию;¹ слушала-слушала — что ж, — не выдержала и, подошед ко мне, страстно поцеловала; а уж бабе пятьдесят два года! Что же молодые должны чувствовать от их кантиков? А речи и разговоры их? Ведь и говорят и пишут все университетским штилем; понимай их! А та же Пазинька да Настинька, обученные — по прихотям жены моей — иностранным диалектам, при нас битых два часа разговаривали с офицерами на проклятом французском. Как усердно ни прислушивался, а не поймал ни одного слова; нет и похожего, как нас учил доминe Галушкинский, покой душе его! Какой же из того их разговора последовал «результат», как говорит сказанный гувернер, служащий невестке моей? Пазинька в ту же ночь с тем же офицером без ведома нашего ушла и, за непощением нашим родительским, ездит где-то с ним по полкам. Настинька в частных переписках с различными молодыми людьми ловится, бранима бывает, да не унимается. А как бы по-старинному?.. Да чего? Малолетки, внучки мои, то и дело у окна: тот-де хорош; вот прошел пригож; вот у того усики прелестные и тому подобное, а еще цыплята одиннадцати и двенадцати лет. Тьфу ты, пропасть! — скажу я, как маменька говаривали, — и плюнул бы при этом слове, да не знаю, куда плюнуть особенно: везде одно и то же!

Вот эти-то обучения, эти научения переменили весь свет и все обычаи. Просвещение, вкус, образованность, политика, обхождение — все не так, как бывало в наш век. Все не то, все не то!.. Вздохнешь — и замолчишь. Замолкну и я об них и стану продолжать свои сравнения нашего века с теперешним.

¹ Гарпасия — пасьянс.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Хорошо. Итак, пока еще до чего, приступлю к сравнению, как влюблялись в наш век и как теперь.

Домине Галушкинский, редкий наставник наш, говаривал, что любовь есть неизъяснимое чувство; приятнее, полезнее и восхитительнее паче прочих горячих напитков; так же одуряющее самую умнейшую голову; вводящее, правда, часто в дураки, но состояние глупости сей так приятно, так восхитительно, так... Тут у нашего реверендиссима кровь вступала в лицо, глаза блистали, как метеоры, он дрожал всем телом, задыхался... и падал в постель, точно как опьянелый.

Сыновья мои — уж это другое поколение, — конечно, также наслышавшиеся от своих наставников, говорили, что любовь есть душа жизни, жизнь природы, изящность восторгов, полный свет счастья, эссенция из всех радостей; если и причинит невероятные горести, то одним дуновением благосклонности истребит все и восхитит на целую вечность. Это роза из цветов, амбра из благоуханий, утро природы... и прочее все такое.

Нынешнее — или теперешнее, не знаю, как правильнее сказать — поколение, уже внуки мои, имея своих Галушкинских в другом формате, то есть костюме, с другими выражениями о тех же понятиях, с другими поступками по прежним правилам, от нихто, новых реверендиссимов, наслушавшись, говорят

уже, что любовь есть приятное занятие, что для него можно пожертвовать свободным полчасом; часто необходимость при заботах тяжелых для головы, стакан лимонаду жаждущему, а не в спокойном состоянии находящемуся, недостойная малейшего размышления, не только позволения владеть душою, недостойная и не могущая причинять человеку малейшей досады и тем менее горести. «Отцы и предки наши, как во всем, так и в любви, были дураки и занимались ею как чем-то серьезным, вздыхали, даже плакали, и — верх дурачества! — умирали волею и против воли, когда следовало бы на любовь смотреть, как на ничто». Так говорят внуки мои.

Не знаю, кто из всех, так различно умствующих, был прав и что еще о любви скажут вперед; но я, живший в век домине Галушкинского и им руководимый, я любил сходно правилам и чувствам сего великого педагога.

Приятельница моей маменьки, вдова, имела одну дочь, наследницу ста душ отцовских с прочими принадлежностями. Эта вдова, умирая, не имел кому поручить дочь свою Тетясю, просила маменьку принять сироту под свое покровительство. Маменька, как были очень сердобольны ко всем несчастным, согласилась на просьбу приятельки своей и, похоронив ее, привезли Тетясю в дом к себе. Это случилось перед приездом нашим из училища.

Приехав к святкам домой, я увидел Тетясю и меньше обратил на нее внимания, нежели на маменькин самовар. Не знаю, наружность ли Тетяси была так обыкновенна или судьба моя не пришла, только я видел ее и не видел, смотрел на нее и не смотрел. Она была с моими сестрами, с которыми я по причине различных занятий редко видался, исключая Софийки, которую я обучал играть на гуслях и петь кантики.

В самом деле, чему было обратить мое внимание? Тетяся была лет пятнадцати девочка, рост ей выгнало, худа, но после я заметил, что она складывается... Лицом ни черна, ни бела, середка наполовине, щечки полные, румяные, но изредка рябоватые, глаза серые, вначале будто и ничего, но после... канальские глазки! ручка полная, с длинными пальчиками... и, право, ничего больше, что бы значительно бросилось в глаза! Внуки мои, описывая красоту женщины (о девицах, по неприличию, они и не думают и не обращают на них внимания; замужних только удостаивают заметить и искать их благосклонностей), всегда начинают с ножек, ими пленяются, ими любуются, ими восхищаются, а прочее все — прибавление. У нас бывало так, что прежде рассматриваем голову, а тогда уже смотрим на всю.

Вот эта Тетяся и была для меня ничто, как ровно и я для нее. Мы бывали и вместе с нею, да как ничего, так ничего и не было.

Отошли святки, надобно было приниматься за работу. У маменьки не дремли никто. Бабы и девки и дворовые сами по себе, а дети само по себе. Панночкам, уже начинавшим именоваться «барышнями», задана была работа «выбирать пшеницу». Эта пшеница нужна была для сделания из нее муки «на пасху» к будущему «великодню» (воскресению Христову). Для такой муки надобно было, чтобы пшеница была зерно в зерно, и для того барышни садились за стол и, рассыпав по нему пшеницу, все нечистое из нее до последнего выбирали и выкидывали, а потом чистую, уже выбранную пшеницу откладывали особо. Занятие полезное, приятное и склоняющее к меланхолии.

Я как маменькин пестунчик, месяца три ими не виденный, не отпускался от них к братьям в панычевскую, а все большею частью сидевший в их опочи-

вальне на лежанке и непременно чем-нибудь лакомившийся, не отпущен и после святок к братьям, а посажен вместе с сестрами выбирать пшеницу. Маменька меня тем урезонили, что надо-де уже мне приучаться к хозяйству, а эта часть самая хозяйственная и преполезная. Я не скучал подобными занятиями, зная, что маменька не перестанут услаждать меня разными заедками. С нами вместе занималась этой хозяйственной и преполезною частью Тетяся, а сестра Верка забавляла нас развеселыми сказками и присказками.

Вот мы выбираем пшеницу день, два — и ничего. На третий день нас рассадили по разным столам: по две сестры сели на особых столах, а Тетяся села особо, и когда я пришел к ним, то очень натурально, что я должен был сесть за один столик с Тетясею. Маменька, как уже известно, были довольно, где нужно, хитренькие. Прошрое дело, а в этом случае чуть ли они не схитрили, как покажут последствия. А тут еще к их хитростям вмешался всесветный шалун, проказник, утешающийся мучениями смертных, крылатый божок, слепец, все зрящий, одним словом — Амур, балованный сынок Венеры.

Вот когда я сел за один стол с Тетясею с намерением выбирать пшеницу, садясь, коснулся своим коленом ее колена... Кажется, и ничего: мало ли случается столкнуться коленом или иначе как с кем бы то ни было, и ведь ничего же; подите же, что случилось со мною!.. При этом столкновении меня вдруг словно снегом обдало: я задрожал, но эта дрожь была не от холода и озноба, а от сильного жару, который вдруг воспламенился во мне... Я ничего неувидел: ни пшеницы, рассыпанной передо мною, ни Тетяси, сидящей против меня... в голове сделался шум, а сердце так и колотилось. Домине Галушкинский потом уже изъяснял мне, что это

последовало со мной от первого поражения Амуровой стрелы, которую он — бестия! — омокает для сего в водах реки Стикса.

Хорошо. Вот как я это все уже перенес, то и чувствую, что туман проходит, пшеница передо мною так и прыгает и направо и налево; я хочу схватить какое-нибудь зерно, так рука моя дрожит сильно и не может настигнуть зерна ни пшеничного, ни ячменного и другого какого, в ней находящегося. Скамейка подо мною дрожит, печь, хоть и большая, а дрожит, стол, окна, сестры, стены, Тетяся — все, куда ни гляну, все дрожит. Не подумайте, однако же, чтобы это в самом деле дрожало, — о нет! — все стоит спокойно и находится благополучно; но это я один дрожу всем корпусом и духом, или, как доминe Галушкинский говаривал, трепещет во мне вся физика, или естественность, равно и мораль, или нравственность. Вот как передрожала моя нравственность и я мало-помалу начал приходить в себя, то есть в рассудок, то и принялся за выбор пшеницы.

Но, продолжая заниматься, я сгрустнул и с удовольствием вспомнил о бывшем со мною сладкогостном положении. Как бы его возродить в себе еще? Известно, как и отчего произошло первое волнение; итак, я, притаив дыхание, будто выбираю пшеницу, а сам только лишь пересыпаю ее и исподлобья гляжу на Тетясю... и, была не была... толк ее тихонько коленом... она покраснела... о, верх счастья!.. покраснела, губками зашевелила, как будто приготавливаясь с кем целоваться, задрожала... а на меня не смотрит.

Конечно, и ее божок поранил своею стрелою, как и меня, потому что она после моего толчка поминутно то краснела, то бледнела, то тяжело дышала... Я же был в большом недоумении: как мне

далее продолжать открытие пламенной любви своей? Я был неопытен и невнимателен ко всем рассказам об этом предмете, передаваемым нам реверендиссиме Галушкинским. Наконец, сама природа помогла моему недоразумению и вступила в права свои: она указала мне на прелестные, беленькие, тоненькие, длинные пальчики предмета моей страсти, коими она перед глазами моими — не выбирала, а перебирала, как и я, пшеницу... Прелесть их меня поразила, я любовался долго... потом, сам себя не помня, подвинул к ней свою руку... подвинул... и своим пальцем задел за ее пальчик... задел и держу... Уф! как она стала красна! Думал, что кровь брызнет из щек ее... Но я ничего, все держу, и крепче... наконец, завладеваю другим пальчиком... далее третьим... четвертым... и вся ручка ее — дрожащая — в моей торжествующей... я сжимаю ее... она еще более краснеет... я сжимаю крепче... она взглядывает на меня... — как? И что за глазки!.. — жмет мою руку и едва внятно лепечет: «Серденько мое!..» Я, едва помня себя, удержался, чтоб не вскрикнуть, но шепотом сказал ей, страстно смотря в ее серенькие глазки: «Душечка!»

Вот ровно пятьдесят девять лет, как это восхитительное событие случилось со мной, но я все живо помню, помню каждое биение сердца моего и силу удара, каждое движение души, то есть нравственности моей, каждый помысл ума моего... И воспоминание сладко, что же было в существенности! Семнадцать раз я объяснялся в любви девушкам, разумеется, разным, но ни при одном объявлении не чувствовал такой сладости! Пари держу, что нынешние молодые люди и сотой доли того не чувствуют при объявлении любви, — если они еще и объявляют ее? — что я и другие в наш век чувствовали. То была истинная любовь, а теперь — тьфу!

Сестры мои не могли слышать наших любовных изъяснений или заметить восторгов наших; они, переслушав Верочкины сказки, за что-то поссорились между собою, после побранились, потом дрались, наконец, помирились и с шумом спешили оканчивать выбор своего урока; каждому из нас дано было по большой миске пшеницы, чтобы перебрать ее.

Мы забыли не только о пшенице, но не помнили, существовала ли вселенная: так нам было хорошо, сцепив наши пальцы, сжимать их один другому и страстно взирать друг на друга... Мы были вне мира, нас окружающего!

— Пойдем в снежки играть! — закричала сестра Любка.

— А вы кончили ли свой урок? — спросили нас сестры.

Куда! Мы начали было прилежно, но прелестный Амур помешал нам своими сладостными занятиями. Тетяся сказала, что уже немного остается, что мы скоро доберем и выйдем к ним играть, а они чтоб, нас не ожидая, шли бы себе играть. Сестры ша-рахнули из комнаты.

Тут нам, оставшимся вдвоем с глазку на глазок, была своя воля. Лишь только затворилась за сестрами дверь, я, полный любовного пламени, забыв всякий порядок и не наблюдая постепенности, вместо того чтобы прежде расцеловать ручки моей богини, я притащил ее через стол к себе... начал действовать прямо набело... протянул к ней свою пламенную голову... и уста наши слились на добрую четверть часа!.. Невыразимое блаженство!.. Отдохнем, переведем дух; я скажу: «Серденько!», она промолвит: «Душечко!» — и сольются наши счастливые уста!.. Потом она скажет: «Серденько!», а я уже отвечаю: «Душечко!» — и опять целуемся... Тут-

то я нашел, что моя Тетяся несравненная красавица и что ей подобной в мире быть не может. Все в ней казалось мне восхитительно, и я предпочел бы ее в тот час всем красавицам на свете.

Пожалуйте же, что из этого выйдет. Вот, как мы себе так утопаем в блаженстве от взаимных поцелуев и забываем всю вселенную, я, в каком ни был восторге, а заметил, что дверь, против меня находящаяся, все понемногу отворяется и видно, что кто-то подсматривает за нами; я сделался осторожнее и уже не притягиваю к себе Тетяси, но невольно наклоняюсь к ней, когда она меня к себе тащит. Она заметила мою уклончивость, начала осматриваться и также увидела подсматривающего нас. Смутилась немного, отняла у меня свою ручку, мы утерлись и принялись прилежно заниматься пшеницею.

Видя наше спокойствие, подсматривавшая особа, не надеясь более что заметить, отворила дверь и вошла... Судите о нашем замешательстве? Это вошли маменька! Это они и подсматривали за нашими деяниями. Мало сказать, что мы покраснели, как вареные раки! Нет, мы стали гораздо краснее; и света невзвидели, не только пшеницы.

Нуте. Они вошли — и ничего. Походили по комнате и вдруг подошли к нам и спросили, отчего мы до сих пор не выбрали пшеницы. Мы молчали: что нам было отвечать? Как добрейшая из маменек, помолчав, сказали со всею ласкою: «Видно, вам некогда было, занимались другим? А?» Мы от смущения продолжали молчать. Маменька подошли к нам, поцеловали Тетясю и меня в голову и сказали с прежнею все ласкою: «Полно же вам заниматься: у вас не пшеница на уме. Оставьте все и идите ко мне».

Мы с радостью оставили пшеницу и пошли за

маменькою в их опочивальню. Они нас усадили на лежанке, поставили разных лакомств и сказали: «Ешьте же, деточки; пока-то до чего еще дойдет». Мы ели, а маменька мотали нитки: потом спросили меня: «Что, Трушко, как я вижу, так тебе хочется жениться?»

— Хочется, маменька, нестерпимо!— отвечал я, обсасывая пальцы, запачкавшиеся в медовом варенье.

— И мое желание такое есть, и мне лучшей невесточки не надо, как моя Тетяся,— сказали маменька и поцеловали ее в голову.— Так что же будешь делать с Мироном Осиповичем? Вбил себе в голову, чтобы сделать из тебя умного; об одном только и думает; а о здоровье твоём и о моём счастье ему и нуждушки мало. Нечего делать, Трушко, поезжай с Галушкою еще в город, да не учись там, а так только побудь; я Галушке подарю еще холста, так он будет тебя нежить; а я тут притворюсь больною, пошлют за вами, и я уже до тех пор не встану, пока не вымучу у Мирона Осиповича, чтобы тебя женил. Чего нам дожидать? Разве, чтоб расшалился, как Петрусь, и чтобы и тебя так же окалечили, как Павлуся? Скорее сама в гроб пойду. Нечего же плакать, Трушко (при маменькиных словах я плакал навзрыд, не от восторга, что скоро женюсь на Тетясе, предмете моего сердца, но что должен еще ехать в город и продолжать это проклятое ученье); потерпи немножко, — зато после навсегда свободен будешь. Жена того уже не можно учить.

— Нельзя ли, маменька, меня теперь поскорее женить, чтобы не ехать! — сказал я, продолжая хныкать.

— По мне,— сказали маменька,— я бы тебя всего же дня оженила; ужась как хочется видеть

сыны сына моего,—так что же будешь делать с упрямым батенькою твоим?

— Так лучше я притворюсь больным,—сказал я, утирая слезы.— Я умею так притвориться, что и сами батенька поверят.

Маменьке очень понравилась моя выдумка, и они, обрадовавшись, расцеловали меня, обещали поддерживать хитрость мою и дали слово: когда я останусь и как похоронят Павлуся — уже не надеялись, чтоб он выздоровел,— то и приступить тотчас к батеньке и поставить на своем. В заключение приказали мне с Тетясею при них же поцеловаться, как жениху с невестою.

Восторгу нашему не было границ.

Теперь я только понял маменькины хитрости, что им очень хотелось, чтобы я женился именно на Тетясе, как на невесте довольно богатой; и для этого, чтоб дать нам повод влюбиться друг в друга, засадили нас за один стол выбирать пшеницу, а сами подсматривали, как мы станем влюбляться. Как же им было не любить меня паче всех детей, когда я не только исполнял все по воле их, но предугадывал самые желания их!

Кончивши с Тетясею любовные наши восторги, я приступил притворяться больным. Батенька слеподались в обман. При них я, лежа под шубами, стонал и охал; а чуть они уйдут, так я и вскочил, и ем, и пью, что мне вздумается. С Тетясею амурюсь, маменька от радости хохочут, сестры — они уже знали о плане нашем — припевают нам свадебные песни. Одни только батенька не видели ничего и, приходя проводить меня, только что сопели от гнева, видя, что им не удастся притеснить меня.

Блаженное было время, как вспомню! А вспоминаю часто, особливо достигши старости. Первая любовь,— рассказывал мне Миронушка, один из сы-

новой моих,— есть истинная любовь и остается у человека на всю жизнь его. Правда истинная! Нас судьба не соединила с Тетясею, но я всегда и в супружестве вспоминал об ней. Быть может, и потому, что ни одна из любимых мною, даже и Ани-сья Ивановна, моя законная супруга, так не любила меня, как незабвенная Тетяся, и из всех любимых мною, коих могу насчитать до тридцати, я ни с одною так приятно на амурился, как с Тетясею, оттого и незабвенною.

Хорошо. Вот, как я так восхитительно болею, а батенька и отправили Петруся, а тут и Павлуся похоронили, я приступил к маменьке, чтоб женили меня.

В один день маменька, собравшись с духом, пошли к батеньке, чтоб переговорить о моем благополучии. Куда! Я думаю, и десяти слов не успели сказать, как бегут со всех ног назад и еще простоволосые!.. Батенька по своей горячности турнули их и сбили платок с головы... Маменька, прибежав без памяти, чем попадая покрыли поскорее голову и принялись жестоко плакать. Потом приказали мне играть на гусях и петь кантик *«Уж я мучение злое терплю»*, а сами все плакали. Тут я догадался, что батенька заупрямились и не соглашались меня женить, а оттого и сам плакал.

Маменька — из всех маменек добрейшая,— забыв, что они сами претерпели, принялись утешать меня и уговаривали следующими словами: «Не тужи, Трушко. Будь я канальская дочь, когда не переупрямлю его. А не то поеду в Корнауховку (другая наша деревня), да там вас и свенчаю. Пусть после того разведет вас».

Но план маменьки не состоялся по следующим причинам.

Батенька как разозлились на маменьку, то силь-

но вскипела у них кровь и произошла жажда. Вдруг навстречу им несут кувшин тернового квасу, резкого, холодного. Они, не рассуждая долго, схватили кувшин и тут же, не сходя с места, выдули его почти наполовину. Выпивши и заохали... ох да ох! Недолго ходивши, слегли в постель.

Лечили батеньку и знахари, и даже лекарь из города,— все ничего. Послали за Петрусею и взяли его с домине Галушкинским из училища. Батенька, умирая, приказывали мне и не думать о женитьбе до тридцати лет, а прежде служить. Петрусе определить по окончании учения в русские полки, что около нас квартировали, и туда же взять и меня. Меньшие же братья очень недавно отвезены были в кадетский корпус, даже в самый Петербург, то про них батенька ничего и не говорили. Маменьке поручали наблюдать за хозяйством и потом разделить нас и дочерей выдать замуж, наградя вещами и платьями, коих, NB, у маменьки было до пропасти, еще от их бабушек оставшихся. Потом крепко-накрепко приказали маменьке, устроив все это, постричься в монахини, чтобы сохранить верность к ним, и в гробе лежащим.

Распорядив все это, батенька прекрасно, тихо и спокойно умерли. Маменька, приказав все, что нужно, устроить к погребению и послав оповестить соседей о таком случае в нашем доме, пошли в амбар что-то выдавать, а тут приехали соседки некоторые навестить маменьку в горе. Маменька пошли к ним и, как пришли к телу батенькиному,— тут были и гости,— охнули громко; сомлели и покатались на пол. Так нежно любили они батеньку! Мы не знали, что делать с ними, хотели пощекотать в носу, как дельвали батенька в таком случае, но одна из соседок, видя беду, бросилась и закричала: «Воды, воды!» Женщина наша, тут же стоявшая, как

брызнет на маменьку... Маменька как вскочит, как даст ей туза, да такого, что та и сама уже хотела сомлеть. «Экая дура! — так закричали на нее маменька. — Брызнула как будто из ведра, да еще холодною водою! Так ты меня насмерть простудишь». После того исправили этот беспорядок: приготвили тепленькой водицы, и как только маменька сомлеют, — а они сомлевали при всяких вновь приезжающих гостях, — то на них этою водою брызнут чуть-чуть, а они лупнут глазами и очувствуются. Ужас как они убивались по батеньке!

А как только жалко маменька приговаривали, плачучи над батенькою, так это прелесть! Хотя сейчас на бумагу пиши. Я думаю, ни один сочинитель не напишет так жалко, как маменька приговаривали; а они же были неграмотные. Если бы они жили в наш век, когда нет стыда женщинам знать грамоту, то, я думаю, из них был бы такой сочинитель, что ну! Кроме жалких слов всякого разбора, они еще при всех торжественно говорили, что «какая бы ни была моя жизнь за ним и сколько я от него, моего соколика, претерпела, а не нарушала моей супружеской верности ни однажды. В помыслах-де человек не властен, но делом я не провинилась». Все предстоящие плакали, слушая ее жалобные стоны и приговорки.

Откуда у них слова брались!

Когда было все готово к выносу, домине Галушкинский, усердствуя чести нашего дома, просил позволения произнести надгробное слово, им самим сочиненное. Все присутствующие обрадовались случаю услышать что ни есть умненькое, просили его проговорить, и реверендиссимо, влезши на стул, начал по тетрадке:

— В мире существует много действий; а каждому действию есть своя причина. Собравшееся

многое множество сюда вельможных, благородных и подлых особ есть действие, а причина сему действию не что другое, как распростертый пред нами — их вельможность Лубенского казачьего полку подпрапорный Мирон Осипович, знаменитый пан Халявский! Что их вельможность лежат распростерты, очи их смежены, уста слипнуты, руки окостенели — сие есть действие, но действию сему какая причина? Их вельможность умерли. Их вельможность пани подпрапорная, с чады и домочадцы, плачут и рыдают, и сие есть действие, а действию сему причина та, что знаменитый пан подпрапорный, их вельможность, умерли. Когда же пани подпрапорная так плачут и убиваются, то неужели так действуют по-пустому? Нет, слушатели! Тут есть причина: их вельможность пан подпрапорный были человек доброй души и благодетельных чувств. Когда же пани подпрапорная плачут, то нам ли молчать, как камениям безгласным? Ничуть! Итак, плачьте, великовельможные, плачьте, вельможные, плачьте, благородные, плачьте, подлые, плачьте, старшина, плачьте, казаки, плачь, гетманщина, плачь, Россия, плачь, вселенная! Их вельможность знаменитый пан подпрапорный Мирон Осипович Халявский гробу предается! Плачу и я и — умолкаю!

И подлинно, все, слушавшие это красноречивое надгробное слово, все плакали навзрыд. И камень бы заплакал, если бы мог слушать! Маменька же то и дело брякали на пол, но, быв вспрыснуты водою, паки вставали на новые слезы.

Чтобы не разжалобивать читателей, скажу коротко, что батеньку похоронили прекрасно, как долг требовал. А какие были поминальные обеды, так чудо! Всего много и изобильно. Притом же гости, чтоб не давать маменьке горевать, жили безвыездно с семействами. Соседки, имеющие дочерей, советова-

ли маменьке поскорее женить Петруся, чтобы хозяин был в доме, но маменька были себе на уме: они соглашались женить, да не Петруся, а меня, и ожидали только, чтоб поминальные дни отошли, чего и я ждал с нетерпением. Петрусь настаивал, чтоб его прежде женить, как старшего, но маменька ссылались на последнюю волю батенькину, что ему должно служить. Тут и Петрусь напоминал, что батенька приказывали мне не жениться до тридцати лет; так добрая маменька уверяли и божились, что батенька это говорили в жару и без рассудка. Неизвестно, чем бы все это кончилось, как новое несчастье постигло наше семейство.

У батеньки был большой приятель, армейский — не пан, а господин полковник, по соседству квартировавший у нас с полком. У! да и бойкая голова была! Он так возобладал батенькою, что даже заставил ввести за столом стеклянные стаканы и рюмки, а также ножи и вилки. Уговорил меньших братьев отправить в кадетский корпус и сам письма писал о приеме их. Что бы он еще наделал с нами, если бы батенька не померли так скоро! Однако же этот злой человек не унялся, а принялся горем убить маменьку. Вот послушайте, что произошло.

В один день пишет к маменьке, что будет к нам завтра и привезет к Софийке жениха, какого-то поручика. Маменька и ничего: еще обрадовались, что-де невестку берем, то есть Тетясю за меня, так надо с хлебов одну дочку долой. Ожидают господина полковника с женихом... Да, кстати сказать, что этот господин полковник не то, что пан полковник: нет той важности, нет амбиции, гонору; ездит один душою на паре лошадей, без конвою, без сурм и бубен; не только сиди, хоть ложись при нем, он слова не скажет и даже терпеливо сносит, когда противоречат ему. Маменька справедливо про него

говорили: «Он такой полковник против нашего ясновельможного пана полковника, как дворовый индик против выкормленного».

Хорошо. Вот и ожидают их приезда. Софийка, как завидела, что уже едут, спряталась прямо на чердак. В самом деле, ее положение ужасное! Как ей показаться, когда приехали смотреть ее? Но, прячась, поручила сестрам и девкам высмотреть, каков ее жених.

Приехали, наконец, полковник и жених; маменька усадили их против дверей, идущих в их спальню. Дверь эта отворялась из спальни сюда, и состояла из двух половинок, и запиралась крючком. Вверху этих дверей была щелочка. Это описание нужно.

Вот как уселись и разговаривают об урожае, о смерти батенькиной, о скотском падеже, и тут полковник начал закидывать насчет Софийки и жениха и принялся рассказывать о достоинствах жениха... Как вдруг дверь, описанная мною, с шумом разорвавшая державший ее крючок, с треском отворяется к гостям и из нее, как из мешка огурцы, кучами выпадают сестры мои, девки, бабы, девчонки и все замарашки, какие могли быть в дворе. Это они любопытствовали рассмотреть жениха в дверную щель. Как же щель была вверху дверей, так они наставили столов, скамеек и на них взмоштились, налегая одна на другую. Тягости от них дверь не могла выдержать, обломилась, растворилась... и все зрительницы полетели, кувыркаясь одна чрез другую... Весьма естественно, что падавшие после, упираясь на лежащих уже, должны были перекувыркиваться вверх ногами и ими задевать гостей. Любопытная сцена была! Не только такой, я и подобной в Петербурге не видал в театре — хоть и там много смешного, но все не то: куда!

Насмотрелся и нахохотался полковник с жени-



хом! И маменька с трудом удерживались, чтоб не хохотать, но им неприлично было смеяться, а следовало сердиться за такой беспорядок; они так и сделали: давай колотить по чем попало лежащих и уходящих от нее. А полковник хохочет и, заметив, что между павшими жертвами было несколько лиц опрятнее одетых (то были мои сестры и моя богиня Тетяся), подумал, что между ними должна быть и

Софийка, хотел удержать Надю, но та отбила ему все руки и таки вырвалась и ушла. Маменька объяснили ему, что это еще не старшая, и промолвили: «Та совсем запряталась, и куда же бы вы думали? На чердак. Ведь то-то детский ум: теперь прячется от жениха, а после замужем сама будет за ним бегать».

Послали, однако же, за Софийкою.

Куда! Она всех посыльных переколотила, и, если бы не обманом, не свели бы ее оттуда в целый день. А то как сманили с чердака и ввели в особую комнату, да туда и жениха впустили, Софийка (так была научена маменькою) от него и руками и ногами, знай кричит: «Не хочу, не пойду!» Но жених, рассмотревши ее внимательно, сказал маменьке: «Моя, беру! Благословите только». Как бы и не понравиться кому такой девке? Крупная, полная, румяная, черноволосая, и как будто усики высыпали около больших, толстых, красных губ ее.

Маменька очень обрадовались, что дочь их понравилась такому достойному человеку, и потом с полковником располагали, когда сделать свадьбу и прочее, тут уже кстати начали расспрашивать: кто жених, как зовут, откуда, что имеет, не имеет ли дурных качеств, то есть не пьяница ли он, не игрок ли, не буян ли и прочее такое. В наш век прямо обо всем таком старались узнавать всегда до свадьбы, чтобы после не тужить.

Это еще не был сговор и не то, чтобы, по-теперешнему, слово дано: совсем нет. Часто случалось, что так обнадеженный жених, возвращаясь с восхищением, находил у себя в экипаже тыкву; после чего, как ясного отказа, не смел более в дом показаться. А потому и маменька, хотя и ласково обходились с женихом и будто бы и *таво*, да были себе на уме: они хотели прежде все обстоятельно узнать касаю-

щееся до жениха и достатка его, и тогда уже решить по обстоятельствам. Это в наш век была уловка: иметь жениха наготове. Часто три, пять женихов вместе, всем дано слово, обо всех собирают сведения и потом одному отдают дочь, а прочим подносят тыкву. Само по себе разумеется, что невеста ничего не знает и не имеет права выбирать, а получает и любит того, кого ей поднесут. И прекрасно было! Никто не брал на себя разбирать сходства характеров, доискиваться сочувствий, наблюдать симпатию души — ничего не бывало! Живут да живут. Только разве при похоронах одного из них услышишь, что другое лицо хвалится ли счастливой жизнью, с ним проведенною, или высчитывает бедствия, от него перенесенные. При жизни же их никто ничего за ними не замечал: шли за добрыми людьми. Теперь же, батюшки мои!.. На другой день свадьбы знаешь, счастливы ли супруги друг с другом или как кошка с собакой.

Обратимся же к своей матери. Только какого же промаха дали маменька при этом разговоре с полковником, так я не наудивляюсь, а особенно зная их тонкий ум и природную хитрость, посредством которой они иногда даже и батенькою управляли. Говоривши о сватовстве сестры, они сказали, что желали бы поспешить выдать Софийку скорее затем, что им нужно сына женить...

— Какого сына? — спросил с удивлением полковник. — Неужели Петра?

— И, нет, — отвечали маменька, — этот болван, пожалуй, только о том и думает, но вот ему (при сем маменька в ту сторону, где был Петрусь, показали большой шиш)! Я своего сына-любимчика Трушку хочу женить.

— Помилуйте, сударыня! (Полковник с матушкою был политичен и всегда величал ее сударынею,

как будто какую особу.) Помилуйте, как его женить? Он еще мальчик, дитя.

— Ого! — возразила маменька. — Да у него уже не детское на уме. Раньше женить, так он и понятия не будет иметь о разгульной жизни и поневоле будет постоянным мужем. Притом же он уже влюблен в ту барышню, на которой я располагала женить его.

— Вы погубите его и ту несчастную девушку, на которой жените его, — сказал полковник с жаром. — Лучше определите его в училище, пусть он продолжает учение.

— И, мой батюшка! (Так маменька выражались против уважаемого ими лица. Было за что уважать врага нашего семейства! Вот послушайте далее.) Как ему продолжать, когда он и не начинал еще учиться? — Тут они рассказали полковнику все штучки: как подкупали домине Галушкинского, чтобы меня не отягощал учением, и как я ловко притворялся больным, чтобы не ходить в училище. — И к чему, мой батюшка, ученье? — промолвила маменька. — Голова не желудок. То желудок, чем хочешь, отягощай, все пройдет, можно считать; как же голову отяготишь грамматиками и арихметиками (маменька по безграмотству не могли правильно называть наук), и они там заколобродят себе, так уже александрийский лист не поможет. — № . Нужно было очень маменьке входить в такие рассуждения. Они себя этим убили. Вот послушайте.

Полковник призадумался и, как человек, бывавший в Петербурге, следовательно занявший там все хитрости, замолчал, будто и согласился. Потом, при отъезде, начал просить, чтоб маменька отпустили завтра любезных сынков своих к нему обедать. Бедные маменька, ничего не подозревая и не предчувствуя несчастья, согласились и дали слово.

На завтрашний день Петруся и меня прибрали и убрали отлично! Батенькины лучшие пояса, ножи с золотыми цепьями за поясами, сабли турецкие в богатых оправах... фа! такие молодцы мы были, что из-под ручки посмотреть! Маменька и Тетяся очень мною любовались. Повезли же нас в берлине, данном за маменькою в приданое, запряженном в шесть коней, в шорах; один машталер управлял ими и по минутно хлопал бичом. Мы выехали из дому очень покойно, и я с маменькою, и даже с Тетясею, попрощался кое-как.

Дорогою мы рассуждали с братом, какой у господина полковника должен быть знатный банкет и как при многих у него гостях будут нам отдавать отличную честь, как прилично и следует знаменитым Халявским. Петрусь рассуждал, как он после обеда будет с панночками играть в короли, в жмурки, какие загадки будет загадывать; а я рассчитывал, как я знатно наемся на этом банкете и буду примечать, так ли хорошо выкармливается птица у него, как у маменьки. В этих приятных мечтах подъехали мы к квартире полковника. Одним-один часовой ходил у какой-то зеленой таратайки — и больше ничего.

Мы вошли в дом. Солдат сказал, чтобы мы в первой комнате, пустой, ожидали его высокоблагородие. Что прикажете делать? Мы, Халявские, должны были ожидать; уж не без обеда же уехать, когда он нас звал: еще обиделся бы. Вот мы себе ходим либо стоим, а все одни, как в другой комнате слышим полковника, разговаривающего с гостями, и по временам слышим вспоминаемую нашу фамилию и большой хохот.

Ждем мы час, два, никто и не подумает нам подать что закусить. Поглядывая друг на друга, воображаем, что маменька в это время давно уже отку-

шали и выпочивались. а мы еще и не завтракали, и никто об нас не заботится.

Гораздо после полудня вышел полковник к нам, — и вообразите — в белом халате и колпаке. Уверяю вас! мало того — не снял перед нами колпака и даже головою не кивнул, когда брат и я, именно я отвечивал ему с отклонением рук точно такой поклон, как, по наставлению незабвенного доминe Галушкинского, следовало воздать главному начальнику. Притом как бы к большему неуважению курил еще и трубку и, не вынимая ее из рта, спросил: «Умеете вы писать?» Это вежливость? Это приличие? Уж бы, по крайней мере, спросил о здоровье маменьки, когда не позаботился спросить о нашем! Но это еще цветочки, погодите, что дальше будет!

На такой странный вопрос, конечно, мы отвечали утвердительно, потому что Петрусь писал бегло, четко и чисто, — он был гений во всем, — я тоже, как ни писал, но все же писал и мог мною написанное читать.

— Ну, когда умеете, так подпишите же эти бумаги, — сказал полковник и кликнул: — Тумаков! Скажи им, где и как подписать.

Подошел к нам — я думал, что он доминe Тумаков и должен нас учить каким наукам, — однако же это был просто Тумаков, и, показав прежде Петрусе, что писать, потом приступил ко мне. «Пишите, — сказал он, — *к сему прошению...*» Я написал это убийственное, треклятое, погубившее меня тогда и во всю жизнь мою причинявшее мне беды, я написал и кончил все по методу Тумакова. Он собрал наши бумаги, и, когда господин полковник сказал ему: «Заготовь же приказ, да скорее», — он пошел от нас.

Все это хорошо, что мы немного написали, поду-

мал я: но что же из того? Где же обед, на который мы были приглашены и приехали так торжественно? Как вот господин полковник, походивши по комнате и покуривши трубки, крикнул: «Давайте же обедать, уже второй час».

— О, злосчастная фортуна! Что ты делаешь с нами, смертными! — воскликнул я сам себе (любимый возглас нашего реверендissime, когда он встречал какие неудачи). — Второй час, у нас дома уже полдничают, а мы еще и не обедали!

Но благодаря проворству слуг господина полковника я не успел еще хорошенько потужить, как стол уже был готов — но какой это стол? Все не по-прежнему! Каждый особый прибор со всеми теперешними принадлежностями: рюмки, стаканы, карафины... с чем же бы вы полагали?.. С водою, ей-богу, с водою!.. Как хотите, а правда.

Смотрю, стол накрыли на двенадцать приборов, а гостей нас всего пять с хозяином. Наконец поставили давно ожидаемый обед. Я чуть не расхохотался, увидев, что всего-навсего на стол поставили чашку, соусник и жареную курицу на блюде. Правду сказать, смешно мне было, вспомнив о нашем обыкновенном обеде, и взглянуть на этот мизерный обедик. «Но, — подумал, — это, может, первая перемена? Увидим».

Полковник вышел уже в сюртуке, и гости за ним тоже — поверите ли? — в сюртуках... Но какое нам дело, мы будто и не примечаем. Как вот, послушайте... Господин полковник сказал: «Зовите же господ офицеров»... — и тут вошло из другой комнаты человек семь офицеров и, не поклонясь никому, даже и нам, приедем, сели прямо за стол. Можно сказать, учтиво с нами обращались! Может быть, они с господином полковником виделись прежде, но мы же званные... Но хорошо — уселися.

Начали подавать: во-первых, суп такой жиденький, что если бы маменьке такой подать, так они бы сказали, что в нем небо ясно отсвечивается, а другую речь поговоря, вылили бы его на голову поварке. Каков бы ни был суп, но я его скоро очистил и, чувствуя, что он у меня не дошел до желудка, попросил другую тарелку. Полковник и лучшие гости захохотали, а худшие посмотрели на меня с удивлением, а мне таки супу не повторили. После супу подносили говядину с хреном: я взял довольно и тем утешился. Потом подали по два яичка всмятку, какой-то соус, которого только досталось полизать, не больше; да в заключение — жареная курица. Честью моей вас уверяю, что больше ничего не было на званном для нас обеде.

В продолжение стола, перед кем стояло в бутылке вино, те свободно наливали и пили; перед кем же его не было, тот пил одну воду. Петрусь, как необыкновенного ума был человек и шагавший быстро вперед, видя, что перед ним нет вина, протянул руку через стол, чтобы взять к себе бутылку... Как же вскрикнет на него полковник, чтобы он не смел так вольничать и что ему о вине стыдно и думать! «Посмотрели бы вы, господин полковник, — подумал я сам себе, — как мы и водочку дуем, и сколько лет уже!»

Я, не могши пить воды и не видя на столе ничего из питья, спросил у человека, чтобы подал мне хоть пива... Полковник снова расхохотался, и гости за ним. С тем и встали от стола...

Так вот вам и банкет! Вот вам и званый обед! Мы располагали сейчас ехать домой, чтобы утолить голод, мучающий нас. Могли ли мы, можно сказать, купавшиеся до сего в масле, молоке и сметане, быть сыты такими флеровыми кушаньями ¹. Вот с того-то

¹ Флеровые кушанья — здесь в смысле «легкие».

времени начал портиться свет. Все начали подражать господину полковнику в угощение, и пошло везде все хуже и хуже...

Пожалуйте же, еще не все! Как мы собираемся уехать, а тут полковник подписал какую-то бумажку и, отдав ее Тумакову, сказал нам: «Ну, молодцы! Поздравляю вас царскими солдатами! Я знал, что ваша мать ни за что не согласится отпустить вас в службу, так я обманом вас залучил к себе. Ваш отец... (Отец! что бы сказать батенька! Да он и маменьку нашу величал просто матерью.) Ваш отец был мне друг, и я, умирающему ему, дал слово спасти вас от праздной и развратной жизни, в которую вы уже вдалились и от которой погибли бы. Ступайте теперь служить. Ты, Петруша, если постараться, будешь человеком, — так мне кажется. Учись скорее службе и будь в ней исправен. А ты, брюхан, — сказал он мне (правда, что у меня, по маменькиному попечению, пузко было порядочное, всегда их утешавшее), — матушкин сынок, с тобою много хлопот будет. Но я тебя написал к такому капитану в роту, что тебя вышколит. Вот приказ. Тумаков, отправь их сего же дня по ротам, обмундировавши как должно».

Не знаю, если бы это вместо меня да были маменька и если бы это их определили в службу, они бы непременно сомлели. Я сам, бывши мужского пола, услышавши такое страшное назначение, чуть-чуть не свалился с ног. В первое мгновение я не подумал, что мне должно делать: отпрашиваться ли у полковника, чтобы он перестал гневаться на меня и не отдавал бы меня в службу, или заупрямиться, и отбиваться руками и ногами, и кричать изо всех сил, что не хочу. Прежде нежели я приступил к этим средствам, прежде нежели решился на что-нибудь, прежде нежели опомнился, как Тумаков схватил меня за плечи, — да так больно! — вдруг по-

воротил к воротам и почти потащил меня за собою, потому что ноги мои от расстройства головы совсем не могли двигаться.

Когда я вышел из квартиры, воздух меня несколько освежил, и я собрался с мыслями, что мне должно было делать в такой крайности. Я начал плакать, реветь, призывать на помощь маменьку, бабуся... и всех, кого только мог из домашних вспомнить... Как жестокий мой,—точно «руководитель» (он чувствительно вел меня за руку, смеясь над моим страданием), до того забылся и так сделался дерзок,—против кого же? — против урожденного, благородной крови Халявского,—что начал меня толкать под бока, чтобы я шел скорее. Каково мне было все это терпеть, уж верно, не от благородного, а от простого, подлого роду Тумакова и одетого по-солдатски! Увы! — скажу и я, как говаривал английский милорд Георг¹ в прекрасно написанной им истории своей...

Что я перечувствовал и как жестоко перестрадал, пока саженой через двадцать перетащили меня и ввели в какую-то избу, где все были солдаты. Я полагал наверное, что тут меня зарежут, застрелят, потому что видел тут много стоящих в углу ружей, шпаг или сабель — не знаю чего, а только все страшное... Но вместо того, когда Тумаков проговорил что-то по-своему, по-солдатски, вдруг меня схватили, посадили и, когда я еще не собрался с духом, как отпрашиваться, они меня остригли, взъерошили лавержет² — да и больно, если правду сказать!.. Потом — тот за руки, другой за ноги, и та-

¹ Милорд Георг — герой популярного авантюрного романа «Английский милорд», переведенного в XVIII веке М. Комаровым.

² Лавержет — высокая прическа.

ким образом вдвинули меня в полный солдатский мундир. Тумаков дал двум солдатам какую-то бумагу и сказал: «С богом, сей же час!» Эти страшные усачи схватили меня под руки и таким побытом повели меня с собою.

Куда же повели меня? Прямо в поход за пятнадцать верст от того селения, где квартировал господин полковник! Меня, пана подпрапоренка Халаявского, записанного в солдаты, одетого, как настоящего солдата, обедавшего весьма за скудным обедом, не полдничавшего... и повели пешком пятнадцать верст!!!

Привели в роту, под команду какому-то капитану, и начали меня учить службе... Буду же помнить я эту службу!.. Скажу вкратце: чтоб быть исправным солдатом, надобно стоять, ходить, поворачиваться, смотреть не как хочешь, а как велют! ох, боже мой, и о прошедшем вспомнить страшно! Каково же было терпеть?

Как служил и что перенес брат Петрусь, я вовсе не знаю: меня с ним разлучили с самого дома его высокоблагородия, то есть господина полковника; иначе назвать и теперь боюсь, как будто господин капрал подслушивает. А эти мне господа капралы, сержанты, фельдфебели, ефрейторы... Вот беды мне было с ними! Я хотел против них соблюсти всю вежливость и помня золотые наставления нашего реверендиссима, гласившего при ударении указательным пальцем правой руки по ладони левой: «Когда пожелаете оказать кому благопристойный решпект, никогда не именуйте никого просто, по прозвищу или рангу, но всегда употребляйте почтительное-прилагательное: «домине». Вот я и высунулся к своему ближайшему начальству быть вежливым и вследствие того при первом случае отодрал: «Домине капрал!» Буду же я помнить этого доми-

не!.. Засмеяли меня, злодеи, на весь полк! Да что! В десяти толстых томах не опишешь, что я переносил от этой службы... А эти господа капралы с товарищами, когда сойдутся, так то и дело жалуются, что я их замучил. Не знаю, кто кого?..

Пожалуйте же. Вот тут и случилось со мною самое жалкое происшествие. Когда возвратился наш берлин домой, пустой, без панычей, то маменька пришли в безотрадное положение! Каково было их материнскому сердцу увидеть, как домине Галушкинский называл, сосуд пустой, а там сидевших сыновей не находить. Им подали письмо от господина полковника, но как некому было прочесть — послали за дьячком-старичком, поступившим на место умершего пана Кнышевского... Тот пришел, но без очков, побежал за ними, а маменькино сердце все страдает от неизвестности. Наконец, пришел пан дьяк и, прочтя письмо, объявил маменьке, что мы, ее любезные сынки, взяты в солдаты... Не знаю, как при этом маменька не сомлели навек?! Но первое же их дело было послать приказчика к господину полковнику умаливать, упрашивать его, чтоб не губил прежде времени изнеженных, совсем не для службы рожденных ею детей, дал бы им на свете пожить и не обрекал бы их чрез службу на видимую смерть.

Господин полковник — а еще назывался другом батенькиным! — слышать ничего не захотел, еще рассмеялся и с тем отпустил посланного.

Тут маменька, увидевши, что уже это не шутка, поскорее снарядили бабусю с большим запасом всякой провизии и отправили ко мне, чтобы кормила меня, берегла, как глаза, и везде по походах не отставала от меня. Так куда! Командирство и слышать не захотели. Его благородие господин капитан приказал бабусю со всем добром из селения выгнать; а о том и не подумал, что я даже исчах

без привычной пищи! Но это еще не то большое несчастье, о котором хочу рассказать.

Хорошо! Бабуся возвратилась и рассказала все, не утаив, что видела меня и что я все плачу от службы и иссох, как щепка... Маменька вскрикнули, велели как можно скорее запретить таратаечку легкую. NB. В берлин они не могли влезть по причине узких дверей. Сели в нее и помчались как стрела, все приговаривая: «Посмотрю я, как этот дворовый индик меня не пустит к моей утробе!» (NB. Это индиком они в критику называли его высокоблагородие господина полковника. Им это можно было: они не были в службе.) Вот как маменька едут и поспешают, не успели проехать и пяти верст — их и подхвати колика, да какая! Кричат не своим голосом! Это все от непривычки ездить. Насилу довели домой, и тут ох да ох!.. Уж не набрались же они его высокоблагородия господина полковника! Да посреди таких занятий, в десятый день, преблагополучно и скончались... Ох, боже мой!..

Я совсем не знал об этом. Все тужу об одной службе, а того и не знаю, что мне еще надобно горше тужить, что я остался круглым сиротою, без батеньки и маменьки, да еще и в службе! Некому было меня обласкать, ни оплакать... После уже узнал я, что когда маменька скончались, то сестер забрала к себе наша одна тетюшка, и Тетясю тоже, да там отдала сестру Софийку замуж, и Тетясю тоже... А та, изменщица, охотно пошла из-за меня за другого. Правда, что я не имел времени хорошенько подумать о ней: то ружье учился чистить, то ремни белить, то маршировать, и все — вот мучение было! — начинать с левой ноги...

Только теперь признаюсь, что я во многом лукавил, будто не могу выучиться. Его высокоблагородие сколько раз обещал пожаловать меня полным кап-

ралом, если я буду исправен и перейму все. Как же бы мне велел сделать такую глупость, чтобы добиваться высшего чина? Когда солдату так трудно, а капралу — и не приведи господи! Сам знай все и учи другого. Нет, не на таковского напали! Однажды — смеялся я очень своей штуке! — для поощрения меня произвели в господины капралы. Хорошо. Я что делать? Взял и начал, будто ничего не понимаю, все делать наизворот; вот гляжу, отдают в приказе, что «капрал Халявский за леность, непонятность, нерасположение к службе и вообще за нерассудливость разжалован в рядовые». Вот так их учи, как я!

Наконец, пришел указ о вольности дворянства, по коему можно было оставить мне, как природному дворянину, службу. Я не знал, с какого конца приступить, чтобы вырваться поскорее на свободу; мне и посоветовали добрые люди отнестись к ротному писарю. Вот голова была! Я не знал, в каких училищах он учился, только в десять раз был умнее домине Галушкинского, который, бывало, пяти слов не напишет, не исчернивши пол-листа бумаги. Писарь же, напротив, разом и сочинял и переписывал набело, так что — поверите ли? — двух раз не понюхал табаку, а уже готова бумага, и подает мне подписать.

— Что писать? — спрашиваю я, — растолкуйте мне, господин писарь!

— Пишите вот на этом месте «к сему прошению».

— Батюшки-голубчики! — вскричал я, уронив перо из рук. — Ни за что в свете не напишу этого ужасного слова! По этому слову меня приняли в службу...

— А теперь по этому слову вас отпустят, — так уговаривал меня г. писарь и сказал: — Оно хоть и одинаково слово, да умей только наш брат писака кстати его включить, так и покажет за другое. Не в

слове сила, а в уменье к месту вклеить его; а это наше дело, мы на этом стоим. Не бойся же, брат, ничего и подписывай смело.— Такими умными и учеными доказательствами убедил он меня, наконец, и я, не долго думая, подмахнул и руку приложил.

К моему особенному счастью, его высокоблагородия господина полковника в то время, за отъездом в Киев, при полку не находилось, а попала моя бумага по какому-то случаю господину премьер-майору. Он призвал меня к себе и долго уговаривал, чтобы я служил, прилежал бы к службе, и коль скоро успел бы в том, то и был бы произведен в «фендрики» (теперь прапорщики), а там бы, дескать, и дальше пошел.

«Благодарен за благой совет! — подумал я.— Хорошо в службе вашей, а дома мне будет лучше». Итак, не внимая никаким его советам, как не нравившимся мне, я настоятельно просил о чистой отставке, которую я получил с награждением чином за службу более двух лет,— отставного капрала.

Никакими словами не могу выразить радости моей, когда узнал, что я свободен во всякое время правою ногою выступать, ходить сгорбясь, развалом и как мне вздумается и что могу выехать из своей роты! Тот же час поспешил нанять лошадку и, не оглядываясь, покатыл домой. К утешению моему, это недалеко было.

Что же я застал дома, так это ужас! Вся дворня наша, некогда, при батеньке и маменьке, многолюдная, вся распущена; хлевы и сарай, где кормились птицы и другие животные,— все разорено, запущено! Я собрал всех людей, поместил и определил к должностям, птиц и прочих тварей приказал запереть для корма, как было при маменьке. Любя обычаи предков, я установил завтраки, обеды, полдни и весь порядок, как было при незабвенных ро-

дителях. Я не очень смотрел на нововведения, заимствованные соседями у бывшего моего его высокоблагородия господина полковника, и, не подражая ему, жил по своей воле. Да и отдыхал же и отъедался я после службы преусердно и месяца через два имел удовольствие заметить, что я отъелся и в сложении и вообще по комплекции моей стал на порядках.

Приводя себе на память все случившееся со мною в жизни, невольно рождается во мне — не знаю какое, философическое или пиитическое — рассуждение, — пусть господа ученые разберут: сравнить теперешних молодых людей с нами, прошедшего века паньчами. Какая разница! Мы думали о жизни, искали случаев насладиться ею, не упускали к тому ничего и блаженствовали на своей воле. Хотя сильные и утеснят нас, как меня господин полковник, определяют в службу, заставят испытывать все тягости ее, замучат ученьем, изнурят походами, как меня каждые два месяца в поход из роты в штаб и обратно, а то ведь, как я сказал, пятнадцать верст в один конец; но все же найдутся сострадательные сердца, у кого маменька, у кого тетенька, а где и писарь, как мне, помогут, да и вырвут из службы — гуляй себе на все четыре стороны. Теперь же... Ох, боже мой!.. Чуть только на ноги схватился, уже думает, как бы определиться в службу. Ну, попал, наконец; что же? с конюшни не выходит, все занимается, как бы лучше вычистить лошадей; с солдатами не расстается, ружья из рук не выпускает, все чтобы усовершенствоваться ему в военном ремесле. Отказывается от отдыха, ни съест, ни сопьет чего со вкусом. Притом же одно у него желание — чтобы скорее была война, идти в поход, рубить, колоть неприятеля... Смотри — самого убили! А мы, подобно мне мыслящие, живем да поживаем, толсте-

ем и богатеем да детками окружаемся. Кто больше выигрывает?.. Вот вам и новый порядок на свете! Так же идет и во всем...

Приведя себя и домашнее хозяйство в устройство, я начал жить спокойно. Вставши, ходил по комнате, а потом отдыхал; иногда выходил в сад, чтобы поесть плодов, и потом отдыхал; разумеется, что время для еды у меня не пропадало даром. Окончив же все такие занятия, я ложился в постель и, придумывая, какие блюда приказать готовить завтра, сладко засыпал.

В таком приятном проведении времени я, как-то прохаживаясь по комнате, начал против зеркала себя рассматривать и нашел, что я против прежнего крепко похорошел: сделался лицом бел, румянец во всю щеку, в комплекции плотен, одним словом... я себе очень понравился. «Зачем же пропадать так моей молодости? Мне девятнадцать лет, хорош собою, в службе отслужил два года с лишним, более не обязан мучиться. Служил не даром, — при отставке награжден чином «от регулярной армии отставным капралом». Другие, по соседству мне известные, долее моего служили, а когда маменьки их выпрашивали в отставку, так вышли просто солдатами, без награждения чина. Как же так сидеть сложа руки? Дай пушусь по соседям, буду влюбляться в панночек, высматривать невесту, а там и женюсь.

Сказано и сделано. Снарядившись, я пустился в путь. Прежде всего на моей двухколесной таратайке, на которой маменька езжали и на которой их растрясло насмерть, когда они ехали ко мне в полк, отправился к тетке, где жили мои сестры. Тетушка, кроме Софийки, успела выдать замуж и сестру Веру, обеих за ближних соседей, людей достойнейших: у каждого были свои хутора и много скота. Они, а потом и прочие две сестры, вышедшие за людей с таки-

ми же достоинствами, жили и поживали себе благополучно, окруженные деточками в количестве порядочном, судя по краткому времени их замужества. Тут уже узнал я, что Тетяся, мною некогда страстно любимая Тетяся, самопроизвольно, без всякого принуждения и с полною охотою вышла замуж за какого-то пехотной армии офицера и также имеет более двух детей... О неверная!.. Вся кровь взволновалась у меня при этом известии... Нынешние молодые люди! Если случится вам где в обществе или наедине с молодою девушкою выбирать пшеницу и ваши пальцы по какому-нибудь случаю сцепятся вместе, то, как бы та девушка ни была прелестна, не допускайте плутишку Амура поразить ваше сердце и не поддавайтесь его власти; пренебрегите столкновением ваших суставов и не допустите разгореться любовному пламени, иначе постигнет и вас участь, подобная моей: она выйдет за другого, а вам останется одно воспоминание... Правда, воспоминание приятное, восхитительное о блаженных часах, но... как домине Галушкинский говаривал: «Самое драгоценнейшее воспоминание ничтожнее самого слабого исполнения в настоящем». Более ни слова о неверной: все чувства к ней затаены в моем сердце.

Слегка только спросил я у тетушки совета: на ком мне жениться? И она насаждала мне десятков несколько невест с различными достоинствами. Были одиночки, то есть одни наследницы значительным именьям, были сами третьи, сами-семы, одна была сама-одиннадцата: свобода выбирать любую, а приданое все в одинаковой степени. Когда я говорю: невеста с достоинствами, то не воображайте, что я говорю, применяясь к теперешним понятиям, то есть что девица воспитана отлично, образована превосходно, обучена всем языкам, пляскам, музыкам разным и проч., — нет, мы понимали дела в настоя-

щем смысле и вещи называли как должно; воспитана — означало у нас: вскормлена, вспоена, не жалея кошту, и оттого девка полная, крупная, ядреная, кровь как не брызнет из щек; образованна — объясняло, что она имела во что нарядиться и дать себе образ или вид замечательный, в прочих же достоинствах разумелось недвижимое и движимое имущество, пуды серебра (тогда серебро не считалось на деньги, а на вес), сундуки с платьями, да платьями все глазетовыми, парчовыми, все это не теряющее никогда цены... Так вот достоинства, украшающие девушку! А умна ли или добра сама и какую душу и сердце имеет, — об этом никто не заботился. Ум в супружестве для жены не нужен: это аксиома. Если и случилось бы жене иметь частичку его, она должна его гасить и нигде не показывать; иначе к чему ей муж, когда она может рассуждать? Добра ли или бешена — все равно: муж на то муж, чтобы во всем вел ее по своей воле. А из-за всего этого, скажите, пожалуйста, нужно ли образовывать женщин? К чему им тогда мужья?.. В наше время справедливее на эту вещь смотрели, и прекрасно все шло. Только и заботились о полноте комплекции невесты, и если все было полно, то женихи и вились около таких.

Чего для поступил и я сим благоразумным правилам и потому составил список известным невестам по количеству и качеству их достоинств. Сначала поставил я, правду сказать, одиночек, потому что, признаюсь в моей слабости, не люблю делиться: хоть и немного достанется по смерти ее родителей, но все это мое, неотъемлемое. Честью уверяю вас, что этого правила мне ни маменька, ни батенька, ни доминe Галушкинский, ни в училищах, ни те господа капралы, что учили меня выступать с левой ноги, ни одно их благородие и даже высокоблагородие, —

никто мне не внушал; а, видно, благодетельная натура вперила мне эти правила, которые, право, недурны и неубыточны.

Вот я и явился в первый по списку дом. Отец был бунчуковый товарищ, Гаврило Омелянович Перекрута; имел «знатные маетности и домашнего добра до пропасти» — так значило в записке и добавлено: «И единочадная дочь Гликерия Гавриловна, лет взрослых, собою на взгляд опрятненькая, хотя смотрит сурово, но это от притворства, чтоб все боялись ее и повиновались». Приступая к сватовству, я сам сочинил себе рекомендацию и вытвердил ее наизусть. Приехав к пану бунчуковому товарищу, я начал говорить пред ним свой «диалог». Пан Перекрута терпеливо слушал, и, где я переводил дух, он возглашал перемененно: «Чи бачите!», «Чи видите!» Когда же я кончил все и заключил словами: «Таковые мои достоинства ожидают вознаграждения согласием вашим на законное вступление в брак мой с единоутробною доченькою вашею», так он, сказав: «Та й только?» — вышел и оставил меня в восхительном ожидании увидеть пред собою невесту. Как вдруг... хлопек отворяет дверь и подает мне большую тыкву, говоря: «Се вам, панычу, прислала панночка!»

Осмеянный, я выбежал из дому, разумеется не приняв тыквы, и поспешил выехать из такого негостеприимного дома. Обстоятельства требовали поспешить в другой дом, где еще не могли услышать о сделанном мне отказе, и я приказал, не оглядываясь, гнать к другому отцу, у которого по спискам значилась одинокородная дочь Евфимия.

Приезжаю; меня принимают ласково, я поспеваю объяснить причину моего приезда, говорю свой диалог. Хозяин выставил на меня глаза свои и сказал: «Бог с вами, панычу! Не одурели ли вы немного?

У меня только и есть что единоутробный сын Ефим, а дочерью не благословлен и по сей день ни за что не имею. Как же за мужской пол выдать такой же мужской пол? Образумьтесь!»

Я уже и не дослушал последних слов, а стыда ради выбежал, цепляясь за двери и пороги, стремя голову, на крыльцо да в таратайку и покати́л в третий дом по списку.

Да что долго рассказывать! Таким побытом я объездил все дома в окружности верст на пятьдесят; где только прослышивал, что есть панночки или барышни, везде являлся, везде проговаривал свой диалог... и если бы из всех полученных мною тыков вымостить дорогу, то стало бы от нашего города Хорола до самого Киева. Конечно, это риторическая фигура, но все я пропасть получил тыков, до того что меня в околотке прозвали «арбузный паныч». Известно, что у нас тыква зовется арбузом.

За таким глупым сватаньем я проездил месяца три. Иной день, божусь вам, был без обеда. Выедешь пораньше, чтобы скорее достигнуть цели, а получив отказ, поспешишь в другой... Да так, от отказа до отказа, и проездишь день, никто и обедать не оставит. Конечно, иногда, как возьмет горе, бросишь все, приедешь домой и лежишь с досады недели две; следовательно, не все три месяца я просватался, но были и отдыхи, а все измучился крепко. Потом, как распечет желание, опять пускался и все с тою же удачею.

Что мне было делать? Бросить мысль о женитьбе не могу: ни засплю, ни заем, а никто нейдет за меня. В самом деле, критическое было мое положение. В недоумении бросился к той же тетушке за советом. «Не знаю, душко, что и делать тебе. Сватаешься ты как долг велит: так и все наши панычи сватаются. Так им есть удача, а тебе, может быть,

заколдовано, но этому можно пособить. Сделай еще так: поезжай на все именины, свадьбы, похороны, где всегда много бывает панночек, да и влюби в себя которую из них... Вот она как сойдет по тебе с ума, так и скажет родителям: «Утоплюся или удавлюся, когда не отдадите за Халявского!» — то хоть и неохота, а отдадут. У нас так не одна выскочила за того, кого любила, хоть и вовсе негодный, да любовь не разбирает. Так и ты можешь напасть на судьбу свою. Ступай же, душко, не трать времени по-пустому». Тут призвала свою женщину, которая искусна была все беды от человека отводить: та пошептала надо мною, умыла меня, «слизала с лица остуду», напоила наговорною водою, обошла трижды мою таратайку — и я поехал.

Первый мой выезд был на похороны одного богатого соседа. Там съезд был ужасный. Кому должно было, то плакали и тужили, а мы, панычи и панночки, как не наше горе было, так мы занимались своим. Нас, обоего пола молодых, было до пятидесяти, и должны были прожить в печальном доме дней пять, пока родственники несколько утешат плачущих; потом приедут другие семейства и так сменяются до шестинедельных поминок. Я как был себе одинок, то и мог прожить все время, не уезжая. И какой благоприятный случай мне был, чтобы влюбиться и в себя влюбить кого. Обыкновенно все степенные люди были неотлучны от сетующих, а молодым, которые привезены родителями затем, что не на кого было их дома оставить, отведут подалее особую комнату и просят заниматься чем угодно, чтоб только не скучали. Вот тут мы и занимаемся. Тут у нас жмурки, сижу-посижу, короли — и все, что только придумать можно. Ах, как весело было на похоронах или на поминках!

Не думавши долго, я пустился отличаться... Но

что это за народ панночки или барышни — неизъяснимые!.. Вот подметишь одну и в игре ударишь ли ее больнее перед другими или ущипнешь незаметно ото всех, она и ничего: отобьет или отщипнет еще больнее. Думаешь: дело идет на лад. Где-нибудь в уголку станешь ее целовать, — она и ничего: сама целует и заманивает в другой угол, где еще меньше есть примечающих, и там целуемся. Ну, думаешь себе, эта уж моя. Прищешь удобное местечко, подсядешь и шепнешь на ушко: «Я вас хочу взять за себя. Пойдете ли?» — «Цур вам! — почти вскрикнет. — Не видала я такого нехорошего? Я пойду сама знаю за кого». Сказала — и ничего, и опять целуй ее сколько душе угодно, а идти, так нейдет. Поди ты с ними! Верьте или не верьте, как хотите; но я и на этих и на других похоронах, на свадьбах, крестинах и других съездах (а, признаться, на похоронах всегда было веселее и удобнее влюбляться) сколько влюблялся, сколько сватался — ни одна не согласилась идти за меня. Беда, да и полно!

Уже года полтора я так влюблял в себя барышень и все вотще, как вот одна, не очень уже и завидная, к которой я пристал от крайности, чтобы шла за меня, так она мне глаза открыла, на предложение мое спросив: «А что же у вас, панычу, есть?» (Разумеется, о достатке.)

— Э, голубочка! — подумал я, обрадовавшись нечаянному открытию. — Как порасскажу все, так прикусишь язычок. — И начал исчислять все наши имения в селах, хуторах, число душ, земли, скота, овец, серебра и всего. Она слушала без всякого внимания и потом равнодушно сказала:

— А сколько же вас братьев? Сему-тому отделить, что вам останется?

— И на мою долю останется много, — сказал я тогдашней своей любезной.

— Пожалуй, много, да неизвестно сколько. Отделитесь от братьев, так и будет видно, что ваше. Без того ни одна, хоть и дура, не пойдет за вас.

— Вот где истинное благоразумие! — подумал я, ударив себя в лоб. — А мне этого и в голову не приходило. Я все считал: *мы* богаты, но что я имею, — вот что нужно для счастья.

Обращаясь к теперешним молодым людям и спрашивая у них: не удачнее ли их сватовства идут, когда они могут сказать, что именно они имеют? Когда мы ищем в невесте нужных нам качеств и берем в соображение количества, то почему же и они не могут иметь права на том же основывать свое счастье? С этой стороны, кажется, свет не изменился вовсе, и хорошо сделает, если и не оставит такого похвального обычая. Конечно, могут быть исключения, но их нельзя принять в основание. Хорош жареный гусь под капустою, но подчас и при обстоятельствах ешь того же гуся и без того. Получив такой урок, и хотя дан был незавидною девушкою, я решился им воспользоваться: авось устрою судьбу. Но... почем знаешь, чего не знаешь! — мудрое изречение нашего времени.

Брат Петрусь пристрастился к военной службе и все служил. Уже он был подпоручиком и ходил по походам из угла в угол по всей России. А из меньших братьев одни были в полках, другие доучивались в шляхетном кадетском корпусе. Я писал к ним ко всем, чтобы, для моего благополучия, поспешили приехать в дом и разделиться имением. Долго отыскивался Петрусь, а я все бедствовал в холостой жизни! Барышни то и дело что выскакивали замуж. Какую намечу, даже переговорю, упрошу, чтобы ожидала меня, и — хватить! и полетела за другого. Сколько я перелюбил этих неверных!

Наконец, приехал Петрусь в отпуск. И то-то как

человек, имеющий ум необыкновенный! Я, живши дома, когда имел надобность в деньгах, посылал к приказчику и брал, сколько мне нужно было, например пятьдесят рублей, удовлетворяя из них свои надобности, остальное возвращаю приказчику. Петрусь же поступил совсем иначе: он потребовал от приказчика всех денег, какие у него только за все эти годы собраны, сосчитал их (арифметику он знал отлично), насчитал много, обобрал, прогнал его и начал управлять всем имением сам. Как же, по дальновидности своей, рассчитал, что от имения больше может получить пользы, нежели от военной службы, то и подал в отставку.

В ожидании ее в один день предложил мне разделиться серебром и прочими родительскими вещами. Должен вам сказать, что маменька, когда еще живы были, а я уже задумывал жениться, то они, бывало, заведут меня в большую кладовую, отопрут сундуки с серебряными вещами и прикажут мне выбирать все лучшее, что мне нравится и сколько пожелаю взять. Я выбирал, хотя и не фигурное, но что было потяжелее, — так влекла моя натура. Маменька, было, все это отобравши, скажут: «Так как ты, Трушко, разумом плоховат, то тебя братья обидят. Так вот тебе особо от них». И тут же отобранное все своими руками уложат, увяжут, и как были неграмотные, то прикажут мне надписать: «Пиши, Трушко, как я говорю: это тебе, без разделу». Я из слов маменькиных надписывал на этих кучах четко и ясно, со всею точностью, как приказывали маменька: «Это тебе, без разделу». Эти кучи лежали там же, в кладовой, и когда маменька померли, то все там же оставались. Возвратясь из походов, я, не имея в них надобности, оставлял их лежащими на месте.

Вошли мы с братом в кладовую. Уже раздели-

лись кое-какими вещами, оставляя по несколько и на часть братьям, разумеется, всего, как отсутствующим, и меньше счетом, полегче весом. Вдруг брат Петрусь увидел мои связи, повертел их и спросил: «Что это за серебро?» Я сказал о воле маменькиной.

— Что же это на них написано? Прочти-ка мне, — просил Петрусь.

Я читаю громко, ясно: «Это тебе, без разделу».

— А, благодарю покорно, когда это мне! — вскрикнул Петрусь и отложил к себе все свертки. — Давай же остальным делиться.

«Вот что значит необыкновенный ум! — подумал я. — Кто бы мог так обработать? Вещи мои, а он их так искусно подтибрил, и будто и правильно». — Но сколько я ни отдавал справедливости уму его, а все жаль мне было серебра очень! По крайней мере, пуда два досталось ему от меня по моей оплошности. Зачем было мне читать? Он бы и сам мог прочесть.

Остальным — медною и оловянною посудой, равно и прочими мелочами — поделились мы бесспорно. Чтобы скорее достигнуть пламенного желания в брачном соединении уже с какою-нибудь барышнею, я просил брата Петруся скорее разделиться и маестностями, но он всегда мне отвечал, что еще будет время.

Батюшки, как он жил! Дослужась даже до от армии поручика, какой чин получил при отставке, он никого не почитал себе равным. Даже коляску венскую заказал сделать себе в Москве. И пошло: лошади не лошади, упряжь не упряжь; завел соблк, музыкантов, лакеев, выписных поваров; да какие обеды давал! Уж не прежним банкетам нашим чета! Конечно, кушаньев немного бывало, все пошли супы да соусы; даже и я, полухозяин, имевший свободу и досуг есть больше против прочих, так и я голоден

вставал от стола. Зато вино лилось рекою, и, кроме судацких, волжских, появились заморские. После обеда разливался пунш... А никто не вспоминал, что это брата Павлуся изобретения напитков. *Sic transit gloria mundi!*¹ Подавался и нелюбимый маменькою напиток — кофе. Правда сказать, было около чего пачкаться! Тьфу! — кстати здесь употребить маменькино изречение. И не опишешь всего, какая у нас во всем последовала перемена. Но уже не видно было прежней важности и меланхолии в обществе. Никто никому не отдавал преимущества. Петрусь, хотя бы самый мизерный гость был у него, он его усаживал и заботился, чтобы тоже столько ел и пил, как и самый почетный гость. У него со всеми обхождение было ординарное. Так-то в короткое время свет и обычаи его изменились!

Что же далее? Насмотрелся он всего по походам в России: ему не понравился дом, где батенька жили и померли. Давай строить новый, да какой? В два этажа, с ужасно великими окнами, с огромными дверями. И где же? Совсем не на том месте, где был наш двор, а вышел из деревни и говорит: тут вид лучше. Тьфу ты, пропасть! Да разве мы для видов должны жить? Было бы тепло да уютно, а на виды я могу любоваться в картинах. На все его затеи я молчал, — не мое дело, — но видел, что и великие умы могут впадать в слабость!

Хорошо же ему: он так себе живет, веселится; меньшие братья приедут, наведаются — он им даст денег и отправит, а мне части из имения ни за что не выделяет. Уж мне наскучило; уж я и не напоминаю, а он все не выделяет. Годы проходят, а я и не женат.

Наконец, под веселый час, я заговорил ему о

¹ Так проходит земная слава (лат.).

выделе имения. Как же он фыркнет на меня и прикрикнул: «Живи, когда живешь, а я тебе не дам ничего!»

Вот тебе и раз! Как-таки не дать мне ничего из родительского? Это меня смутило, и я начал советовать с добрыми людьми. Кто скажет, что мне следует имение, что нужно хлопотать; другой скажет: пока выхлопочу, так и имение мне не нужно будет. Не знал я, на что решиться. Как вот и явился ко мне чиновник, какой-то губернии секретарь (он не объяснил какой, а просто писался губернский секретарь); а звали его — Иван Афанасьевич Горб-Маявецкий. Он был из наших, но ужасно бойкая голова! Верите ли: как начнет говорить и доказывать мое право, так годы у него сыплются, точно как орехи из мешка. Ничего не поймешь, а только и слышишь: тысяча такой-то, тысяча такой-то, и чисто докажет, что право мое неоспоримо.

Убедил он меня, и я решился начать тяжбу. Для этого нужны были деньги, а у меня их не было; но — вот что значит умный человек! — он взял у меня все мои серебряные и другие вещи и договорился на свой кошт вести тяжбу. Я должен был выехать от брата и жить у Горба-Маявецкого. Домик у него хотя и небольшой, но нам не было тесно: он с женою да маленькая дочка у них лет семи, Анисинька. Пожалуйте же, что после из этого будет?

Я переселился к ним — и потомок знаменитых Халявских, наследник по крайности двухсот пятидесяти дворов — что все равно, тысячи душ, — должеи быть и жить на иждивении секретаря Горба-Маявецкого. К чему нужда не приведет!

Расположивши все, мы приступили начинать тяжбу. Господи боже мой! Должно было начать ненавистным для меня словом: «К сему прошению». Я от него и руками и ногами, так никак не можно



без него обойтись. Прошу заменить другим — говорит: не можно. Я вспоминаю учнейшего нашего наставника, домине Галушкинского: у него беспереводно были пряники в кармане; пряники и подобно значущие слова — когда ни спроси — у него всегда были. Он бы, конечно, помог мне в беде, но Горб-Маявещкий побожился, что с другим словом бумага не будет сильна.

Нечего делать. Опять я подписал это ужасное, треклятое, распроклятое слово! Да с того часа как начал его писать, так верите ли?.. Восемь лет с половиною писал его без умолку, не покладая рук все

писал. Иногда в день разов пять подмахнешь: то в нижний, то в верхний, то в уездный, то в губернский суд. Все суды закидали бумагами и везде слышали самые приятные обещания. Только я и заметил, что когда Горб-Маявецкий найдет, где занять мне денег за ужасные проценты на счет будущих благ, то наше дело очень быстро начнет подходить все выше и выше и уже дойдет до самого высокого в губернии. Тут же только что надо решить, в чью из нас пользу, а хватятся, у нас денег нет; тут по каким-то причинам дело — бултых! Паки в нижние суды. Принимаюсь опять писать: «К сему прошению» (зачем умел я его писать! О маменька! Вы правду говорили, что науки доведут меня до беды). Горб-Маявецкий примется промышлять денег, и все пойдет по прежнему узору. И так было и шло восемь лет с половиною.

В это время я, не имея ничего, терпел крайность, а Горб-Маявецкий разживался порядочно. Купил новый дом, и лучше прежнего; жена стала наряднее, и даже коляска завелась; умножилось и детей; Ани-синьку отдали в девичье училище. (О маменька! Что, если бы вы встали из гроба и узнали, что барышень учат в училищах — как бы вы громко произнесли: тьфу! и, посмотревши, что этакое зло делается во всех четырех концах вселенной, следовательно, не знаяши, куда бы преимущественно плюнуть, вы бы снова померли!)

Наконец, в конце девятого года продолжения моей тяжбы Горб-Маявецкий объявил мне, что мое дело поступило в Санкт-Петербург (пожалуйста же, помните, что он именно сказал: в Санкт-Петербург) и что мне с ним необходимо ехать туда же. Он будет хлопотать по делу, а я — для того, чтобы подписывать: «К сему прошению». Признаюсь, каторжная работа — писать это ужасное слово.

Хорошо. Ехать в Санкт-Петербург. Что же это за Санкт-Петербург? Я не знал, что он так длинно выговаривается. Слышал, что есть Петербург, не больше; но далее не разыскивал. Теперь впервые услышал, что есть еще и Санкт-Петербург. От любопытства посмотрел в календарь: там стоит: Санкт-Петербург, столица. Нет никакого «или», следовательно, Санкт-Петербург само по себе, а Петербург само по себе.

— Что же? — подумал я, — ехать так ехать! Увижу света, побываю в столице. У нас, взять на сто верст кругом, едва ли кто был в столице. А я буду, поживу, и как верно, там не без барышень, а власть Амура так же владевает, как и в наших городах, то еще которая влюбится в меня, и, не быв так образованна, как наши деревенские, не рассчитывая вдаль, выйдет за меня, хотя и не получившего еще имения. — Утешенный такими отрадными мыслями, я без дальнего страху собирался ехать в чужие люди. Наделал себе разного платья побольше; оправил маменькин приданный берлин, укрепил его во всех частях и обэкипировал своего верного Кузьму, парня, взятого маменькою из деревни ко мне для прислуги. Он был лет сорока пяти, умен, опытен, рассудлив, часто в стесненных обстоятельствах подавал мне полезные советы. Я без него, что называется, не мог съесть куска хлеба.

— Кузьма мой любезный! — сказал я ему. — Мне надобно ехать в Санкт-Петербург. Как хочешь, а я без тебя не поеду.

— А что же, паньчу, и поедем, — сказал он, не думая долго. Привыкши же меня с детства звать паньчем, он и в теперешнем моем возрасте так же называл меня. — Ездят люди, поедем и мы.

— Далеко, Кузьма.

— Теперь далеко, а как мы станем там, так бу-

дет близко. А от что вы мне, панычи, скажете: как мы там между немцами будем пробывать? Вы таки знаете по-латинскому, а я только и перенял от одного солдата: «мушти молдаванешти», но не знаю, что оно значит. А в чужой стороне добудем ли без языка хлеба?

— Да там сторона русская.

— Ну, когда так, так и ничего. И лишь бы не морем ехать.

Этим замечанием он смутил и меня. Я боялся крепко моря, и мы тут на совете положили: если трафится море на дороге, объехать его. Хоть и далее, зато безопаснее.

Итак, Кузьма, из усердия ко мне, оставлял жену и пятерых детей, пускался, по нашему расчету, на край света. В отраду себе просил заказать ему платья, какие он сам знает, чтоб не стыдно было показаться среди чужих людей. Я ему дал полную волю.

Мой Горб-Маявецкий, кроме моего дела, имел еще несколько и других, по которым взялся хлопотать в Санкт-Петербурге, и потому он, имея надобность заезжать в другие города, поехал особо, а для меня приискал извозчика и подрядил его довезти меня до Санкт-Петербурга за условленную плату. Я запасся в дорогу большим количеством хлебов, мясной и всякой провизии, даже воды набрал побольше. Сторона далекая, мне неизвестная, — так чтобы не бедствовать в дороге. Горб-Маявецкий дал мне на все то время, пока приедет ко мне, достаточное число денег, но советовал жить осмотрительно и обещался не далее как через две недели после моего приезда отыскать меня и дал записку, у кого я должен стать на квартире: то был приятель его.

Выехал я, наконец, в путь с Кузьмою и начал вояж благополучно. Скоро увидел, что не нужно бы-

ло обременять себя таким множеством съестного. Везде по дороге были села и города, следовательно, всего можно было купить; но Кузьма успокоил меня поговоркою: «Запас беды не чинит, — не на дороге, так на месте пригодится». Однако же от летнего времени хлеб пересох, а прочее все испортилось, и мы должны были все кинуть. Находили, однако же, все нужное по дороге, и Кузьма всегда приговаривал: «Абы гроши — все будет».

Много важных и больших городов я проехал, не видав их. Благодетельный берлин много мне сокращал пути. Он висел на пассах — рессор тогда не было — и качался, точно люлька. Только лишь я в него, тронулись с места, я и засыпаю до ночлега. Мы откатывали в день верст по пятидесяти.

Не знаю наверное, в которой губернии — я много их проезжал, — а помню, что в городе Туле, когда извозчик поспешал довезти нас до своего знакомого постоянного двора, при проезде через одну улицу из двора выбегает человек и начинает просить нас захватить к ним во двор. Я призадумался было и рассуждал: почему он меня знает и на что я ему? Но человек просил убедительно сделать милость, не отказать, — будете-де после благодарить.

— Кузьма! Заедем? — Во всем я всегда советовался с этим верным слугою.

— А что ж? Заедем так заедем, — отвечал Кузьма.

Въехали. Нас ввели в большой каменный дом и привели в особые три покая. Да какие? С зеркалами, со стульями и кроватями.

— Кузьма! Смотри: каково? — сказал я, мигая ему на убранство комнат.

— Нешто! — отвечал Кузьма, с удивлением рассматривая себя в зеркале.

Явился сам хозяин, должно думать, купец. Засы-

пал меня ласками и предложениями всего, чего душе угодно.

Сперва представил мне чаю. Я с жажды выпил чашек шесть, но ласковый хозяин убеждал *кушать* еще; на девятой я должен был забастовать.

Что же? После меня он к Кузьме и давай упрасивать его, чтобы также выкушал чайку.

Мне стало совестно; я просил ласково хозяина не беспокоиться, не тратиться для слуги, что он холодной воды сопьет; так куда! упрасивал, убеждал и поднес ему чашку чаю. Кузьма, после первой, хотел было поцеремониться, отказывался; так хозяин же убеждать, нанес калачей и ну заливать Кузьму щедрою рукою! Не выпил, а точно съел Кузьма двенадцать чашек чаю с калачами и, наконец, начал отпрашиваться.

Гостеприимный хозяин, оставя его, принялся снова за меня. Предложил мне роскошный обед; чего только там не было! И все это приправлено такими ласками, такими убеждениями! Поминутно спрашивает, не прикажу ли того, другого. Я то и дело что соглашаюсь; совещусь, чтоб отказом не огорчить его усердия.

Не только меня, Кузьму угощал нараспашку, но и об извозчике позаботился. Лошадей поставил на конюшню, задал им сена и овса, а сам поминутно ко мне: извозчик-де спрашивает того и того; прикажете ли отпустить? Я все благодарю и соглашаюсь.

Извиняясь перед хозяином, я просил его сказать: чем могу быть полезен? «Ничем, батюшка! — отвечал он. — Только и одолжите в обратный путь захватить ко мне и позволить вас также угостить».

Я благодарил его и просил, чтоб он шел к другим гостям своим, коих шум слышен был через стену. «И, помилуйте! — отвечал он. — Что мне те гости? Они идут своим чередом; вот с вами-то мне



надо хлопотать...» — и вдруг спросил, не хочу ли я в баню сходить.

Я бы не пошел, но Кузьма мой и губы развесил, начал соглашать меня, и хозяин сам бросился хлопотать о бане.

Когда он ушел, Кузьма от удивления поднял плечи и сказал: «Полно, москаль ли он? А уж навряд! Наш только будет такой добрый».

— Верно, он слышал, что я еду, — сказал я, — так и перенял нас на дороге, чтоб угостить. Добрый, добрый человек!

— Он точно думает, что мы какие-нибудь пер-

соны, — сказал чванно Кузьма. — Какая нужда? А может, москали и в самом деле добрый народ! Вот так нам и везде будет. Не пропадем на чужой стороне! — заключил Кузьма, смеясь от чистого сердца.

Были мы и в бане, парились со всеми прихотями, а особенно Кузьма; чего уж он не затевал! После бани — сколько чаю выпито нами! Потом огромный ужин. Мы не знали, как управиться со всем этим.

Я хотел выезжать пораньше, так куда! Хозяин предложил, не лучше ли уже нам и отобедать у него? Совестно было огорчить отказом, и я остался. Завтрак и обед кончился; я приказал запрягать. Хозяин пришел проститься; я благодарил его в отборных выражениях, наконец, обнял его, расцеловал и снова благодарил. Только лишь хотел выйти из комнаты, как хозяин, остановя меня, сказал: «Что же, батюшка! А по счету?» — и с этим словом подал мне предлинную бумагу, кругом исписанную.

Не понимая, в чем дело, я взял и думал, что он поднес какие похвальные стихи в честь мне, потому что бумага исписана была стихотворною манерою, то есть неполными строками, как присматриваюсь, читаю: «За квартиру... за самовар... за калачи...», и пошло — все за... за... за... Я думаю, сотни полторы было этих «за»...

— Что это такое, мой любезный хозяин? — спросил я, свертывая бумагу, все еще почитая ее вздорною.

— Ничего, батюшка! — отвечал он, потряхивая головою, чтобы уравнивать свои кудри, спадающие ему на лоб. — Ничего-с. Это махонький счетец, в силу коего получить с милости вашей...

— Что получить? — спросил я все еще меланхолично.

— Семьдесят шесть рублей и шестьдесят две

копейки, — сказал так же меланхолично гостеприимный хозяин, поглаживая уже бороду свою.

— Как? За что? — уже вскрикнул я.

— А вот, что забрато милостью вашею и что в счете аккурат вписано.

Дрожащими руками я развернул этот счет и — о, канальство! — увидел, что все то, чем потчевал меня и Кузьму гостеприимный хозяин, все это поставлено в счет, и не только что на нас употреблено, но что и для извозчика и лошадей: не забыта ни одна коврига хлеба, ни малейший клочок сена, ни одна чашка чаю, ни один прутик из веника, коим меня с Кузьмою парили в бане. Это ужас!

Признаюсь, от такого пассажа вся моя меланхолия — или, как батюшка-покойник называл эту душевную страсть, мехлиодия — прошла и в ее место вступил в меня азарт, и такой горячий, что я принялся кричать на него, выговаривая, что я и не думал захватить к нему, не хотел бы и знать его, а он меня убедительно упросил; я, если бы знал, не съел бы у него ни сухаря, когда у него все так дорого продается; что не я, а он сам мне предлагал все и баню, о которой мне бы и на мысль не пришло, а в счете она поставлена в двадцать пять рублей с копейками. Много, много говорил я ему, и говорил сильно, сверх ожидания умно и доказательно...

Он же мне в ответ, зная поглаживая свою рыжую бороду, при переводе мною духа все твердит: «Станется-с... сбудется-с. Оно, конечно, так-с... а денежки пожалуйста... следует заплатить».

— Не дам, не дам и не дам! — кричал я, топая ногами. — Так ли, Кузьма?

Кузьма стоял, одеревенев от изумления и в разинутом рте держа кусок пряника, не успев его проглотить. Надобно знать, что этот пряник хозяин ему поднес, а в счет-таки поставил. Насилу Кузьма

расслушал, в чем дело и что требуется его мнение. Проглотив скорее кусок пряника, он также начал утверждать, что платить не надо и что мы были у него гости.

— К чему мне было вас угощать? — говорил тем же голосом лукавый хозяин. — На что вы мне нужны? А коли денег не заплатите, так я ворот не отопру и пошлю к господину городничему...

Услышав такое его решение, я опустил руки и замолчал, а Кузьма побледнел и, переведя дух, сказал: «Заплатите уже ему, паныч; цур ему! Ну, угодил нас москаль! Будем помнить!»

Нечего делать: отсчитал я все деньги сполна и сунул хозяину. Он как будто переродился: бросался помогать выносить чемоданы, предлагал чего покушать, испить на дорогу... Но я уже все сердился, молчал и спешил выехать из такого мошеннического гнезда. Кузьма же отлил ему славную штуку. Сев на свое место, он сказал ему: «Слушай ты, москаль, рыжая борода! У нас так не делают. Вы хоть и говорите, что мы хохлы, и еще безмозглые, да только мы проезжего не обижаем и не грабим, как ты, заманив нас обманом. Мы еще рады заезжего угостить, чем бог послал, а хлеба святого не продаем. Оставайся себе! Слава богу, что я не твоей, москальской, веры!»

Хозяин же и ничего, все кланяется да просит: «И напередки просим таких дорогих гостей!..»

Тьфу! Подлинно что дорогие гости для него.

Качание берлина скоро успокоило кровь мою, и я скоро отсердился, хотя и жаль мне было такой пропасти денег, на которые не только до Санкт-Петербурга доехать, но и половину света объездить мог бы; но делать нечего было, и я не только что отсердился, но, глядя на Кузьму, смеялся, видя, что он все сердится и ворчит что-то себе; конечно, бра-

нил нашего усердного хозяина. Когда же замечал я, что он успокаивается, то я поддразнивал его, крича ему в окошко берлина:

— А что, Кузьма! угостили нас? — или: — А каков туляк? А? Кузьма?

И Кузьма начнет его перебранивать снова, а я хохочу.

Когда проезжаем было через какой город, то я и начну трунить над Кузьмою и кричу ему: «Смотри, Кузьма, не зовут ли нас куда в гости, так заворачивай...»

— А чтоб они не дождали! — отвечал всегда с сердцем Кузьма. — Здесь, как видно, все москаль наголо. С ними знайся, а камень за пазухой держи. Берегитесь вы их, а меня уже не проведут.

Таким побытом мы докатили до Москвы. Вот город, так так! Три наших города Хорола слепить вместе, так еще не поравняется. А сколько там любопытного, замечательного! Вообразите, что в нескольких местах лежат на скамьях, столах и проч. хлебы, калачи, пироги и всякой всячины съестной, и все это в один день раскупится, съестся — это на удивление!

Занимаясь такими мыслями, я проехал Москву, не заметив более ничего. Впрочем, город беспорядочный! Улиц пропасть, и куда которая ведет, ничего не понимаешь! Бог с нею! Я бы соскучил в таком городе.

Чем далее мы с Кузьмою отъезжали от Москвы и, следовательно, ближе подъезжали к Санкт-Петербургу, тем чаще спрашивали проезжие про меня у Кузьмы: кто я, откуда еду, не везу ли свою карету на продажу и все т. п. Но Кузьма отделял их ловко, по-своему: «А киш, москали! Знаем мы уже вас. Ступайте себе далее!»

Если же случалось, что путешественники рас-

спрашивали обо мне у самого меня, тогда я говорил им все о себе, и многие любопытствовали знать о малейших подробностях, до меня относящихся; карета моя также обращала их внимание, и они советовали мне — в Санкт-Петербурге, вывезя ее на площадь, предложить желающим купить. И я от того был не прочь, лишь бы цена выгодная за этот прочный, покойный и уютный берлин.

При одном случае отдыха вместе с другими путешественниками, среди разговора, я узнал, что мы в Петербургской губернии. Стало быть, мы недалеко уже и от Санкт-Петербурга, подумал я, обрадовавшись, что скоро не буду обязан сидеть целый день на одном месте, что уже мне крепко было чувствительно. И сел себе в берлин, заснул, как скоро с места тронулись.

Долго ли мы ехали, не знаю, как Кузьма будит меня и кричит: «Приехали — город!» — «Что город, это я вижу, — сказал я, зевая и вытягиваясь, — а приехали ли мы, об этом узнаю, расспросивши прежде, что это за город».

Должно полагать, что Горб-Маявецкий, поверенный мой, предварил, сюда писавши, что я еду, потому что всех въезжающих расспрашивали, кто и откуда едет, и когда дошла очередь до меня, то заметно, что чиновник, остановивший всех при въезде в город, обрадовался, узнав мое имя. Усмехнувшись, когда я объяснил, что я подпрапоренко, регулярной армии отставной господин капрал, Трофим Миронов сын Халявский — он записывал, а я между тем, дабы показать ему, что я бывал между людьми и знаю политику, начал ему рекомендоваться и просил его принять меня в свою аттенцию и по дружбе сказать чисто и откровенно, в какой город меня привезли.

— Кажется, и спрашивать нечего, — сказал чи-

новник, смотря на меня во все глаза, — вас привезли в Петербург.

— Видите! — вскричал я в изумлении и горестно смотря на Кузьму. — А мне надобно быть в Санкт-Петербурге.

— И, полноте, все равно, — сказал чиновник то-ропливо, спеша к другим.

— А побойтесь, что все равно: Петербург и Санкт-Петербург?

— Где вы остановитесь? — спросил чиновник с досадою и вовсе не думая рассеять мое сомнение.

— У Ивана Ивановича, — отвечал я спокойно, дабы он заметил, что и я на грубость могу отвечать грубостью.

— В какой части, в чьем доме? — уже прикрикнул чиновник.

— У него же в доме и остановимся. Он знакомый моему Ивану Афанасьевичу...

— Где дом его? Мне это нужно знать.

— Так бы вы и сказали, — отвечал я. — Вот записка... вот. Где она?.. Кузьма! А где записка об доме?.. Не у тебя ли она?..

— А вы, видно, потеряли? — отвечал взыскательно Кузьма...

— Не потерял, а изорвал вместе с счетом туляка... Помнишь?

— Эге! Ищите же вчерашнего дня!

— Надоели вы мне здесь с своим... что это, слуга ваш, что ли? — спросил чиновник.

— Нет, это мой лакей, Кузьма, — сказал я.

— Ну, ступайте же себе в город скорее. Таких молодцов скоро все узнают.

— То-таки узнают, — сказал я, сел в берлин и въехал в город...

Итак, это город Санкт-Петербург, что в календаре означен под именем «столица». Я въезжаю в

него, как мои сверстники, товарищи, приятели и соседи не знают даже, где и находится этот город, а я не только знаю, вижу его и въезжаю в него. «Каков город?» — будут у меня спрашивать, когда я возвращусь из вояжа. И я принялся осматривать город, чтоб сделать свое замечание.

Не видав никого важнее и учнее, как домине Галушкинский, я почитал, что он всех важнее и учнее; но, увидев реверендиссима начальника училища, я увидел, что он цаца, а домине Галушкинский против него — тьфу! Так и Петербург против прочих городов. Искренно скажу, я подобного от самого Хорола не видал. Вот мое мнение о Петербурге, так и мною уже называемом, когда я узнал, что это все одно.

— Где же вы остановитесь, барин? — спросил извозчик, остановясь среди улицы.

— У Ивана Ивановича, — сказал я покойно, разглядывая в окно берлина чудесные дома по улице.

— Да у какого именно? Здесь их не одна тысяча.

— Ну, когда не знаешь, расспроси: где дом Ивана Ивановича, приятеля моего Ивана Афанасьевича?

— Нет, барин! — сказал извозчик. — Уж я спрашивать не пойду от лошадей, а пусть ваш хохол ходит по дворам да узнает. Мне не хочется, чтобы меня дураком сочли, да еще где — в Питере.

Пошел Кузьма, спрашивал всех встречающихся, наведывался по дворам — нет Ивана Ивановича. Вся беда от того произошла, что я забыл то место, где его дом, и как его фамилия, а записку в сердцах изорвал. Обходил Кузьма несколько улиц; есть дома, и не одного Ивана Ивановича, так все такие Иваны Ивановичи, что не знают ни одного Ивана Афанасьевича. Что тут делать? А уже ночь на дворе.

Извозчик, увидев, что не отыщем скоро, кого нам надобно, сказал, что он нас свезет, куда сам знает.

— Куда же это? — спросил Кузьма. — Может, к какому туляку? — В понятии Кузьмы туляк и плут было все одно: так поразила его случай в Туле.

— Нет, — сказал извозчик, — свезу вас в «Лондон».

— Куда нам в этакую даль? — вскричал я, видя, что уже стемнело, и зная, по перочинным ножичкам, что подписанный на них Лондон — город чужой и не в нашем государстве: так можно ли пускаться в него к ночи?

— Да нет, барин. Там трактир преотменный, там все господа въезжают, — сказал извозчик и, не слушая моих расспросов, поехал, куда хотел.

Во весь переезд я все рассуждал: «Этих людей не поймешь: у них Санкт-Петербург и Петербург — все равно; трактир и город Лондон — все едино. Не там ли, может, ножички делают?..»

А Кузьма, идучи пешком возле берлина, заглядывая в окно, все твердил мне: «Берегитесь, паньчу, пуще всего, чтоб в этом городе не попасть в руки туляка».

— Не бойся, Кузьма! Не на таковских напали.

Наконец, дотащились мы и до «Лондона». Что же? Дом как и всякий другой-прочий. Дали нам комнату; объявили, сколько за нее в сутки, почем обед, ужин, вино и все, и все, даже вода была поставлена в цене. «Хитрый город! Любит деньги!» — сказал я Кузьме; а он мне отвечал: «Нешто!»

— Наперед объявляют, что ничего даром не дают, а все за деньги, — сказал я. — Хитрый, хитрый город: любит деньги!

Зато же и обед нам подали — объедение! Довольно вам сказать, что я и Кузьма не могли всего съесть. Поневоле лишнее платишь, что много всего.

Отдохнувши хорошенько, я, нарядившись поприличнее, приказал нанять лошадей в мой берлин и поехал осматривать город. Я рассудил, чтобы прежде насмотреться всего, а потом уже, отыскав моего Горба-Маявцецкого, приняться за дела. Я приказал найти такого извозчика, который бы знал все улицы и вывозил бы меня по ним. Кузьма стал сзади берлина, в новой куртке синего фабричного сукна, с большими белыми пуговицами; шаровары белые, из фландрского полотна, широкие, и красным кушаком подпоясан. На голове шапка высокая, серая, баранья, с красным верхом; усы длинные, толстые; на голове волосы подстрижены в кружок. Кузьма видел так одетых лакеев у одного помещика близ Переяслава, и ему очень понравилось, почему и себе заказал все такое же. Теперь он в этом наряде трясся за берлином, где сидел я, также разряженный. Я забыл вам сказать, что в то время в наших местах все уже из казацкого перерядилось в немецкое, а потому и на мне был немецкий, кирпичного цвета, кафтан, с двадцатью четырьмя пуговицами; в каждой из них была нарисована красавица, каждая особливо прелестна, и каждая — чудо красоты. О! я таки сообразил, что еду в столицу. Разрядясь так щегольски, я поехал, развальясь в моем берлине. Берлин же мой был отличный и сделан по случаю маменькиного замужества в Батурине, по фасону старинного берлина его ясновельможности пана гетмана; и отделка была чудесная, с золочеными везде шишечками, коронками и проч., правда, уже постертыми; но видно было, что была вещь. Да вот как я вам без обиняков скажу: во все время бытности моей в Петербурге я и подобного моему берлину ничего не видал. Не знаю, после моего отъезда, может, и показались, спорить не хочу. Не мудрено подражать!

Не могу умолчать, как мгновенно весь город узнал о моем приезде. Или чиновник, записавший приезд мой, оповестил жителей, или видевшие меня въезжающего узнали о моем пребывании — только весь город подвинулся ко мне. Явились перукмахеры стричь, чесать меня; предлагали модные парики с буклями, вержетами, прививными косами; цирюльники предлагали свое искусство брить, портные — шить платья; сапожники принесли сапоги; нанесли продажных продуктов: ваксы, мыл разных, духов всяких, шуб, плащей, часов, книг; карандашей, нот и... вот смех!.. вставных зубов, уверяя меня, что эти зубы очень легко вставить, и никто не отличит от настоящих; что здесь, в Санкт-Петербурге, редко у кого собственные зубы, а все ложные, подобно как и волосы на голове... «Чудный город! — подумал я. — Как его внимательнее рассмотрю, так, может, и много ложного найду...» Нечего скрывать: все мастерства, какие были в городе, все явились услужить мне, слыша — так говорили все пришедшие — о моем вкусе, что я знаток в прекрасном и люблю щегольски наряжаться. Откуда они это узнали?

Даже тайные домашние дела мои были в Санкт-Петербурге более известны, нежели в нашем Хороле. Дома еще мне случалось иногда подать бедному какую-нибудь безделицу. Что же? И это не скрылось в Санкт-Петербурге. Не успел я, приехавши, расположиться, как явилась вдова пребеднейшая, с пятью деточками, мал мала меньше. В поданном ею письме она пишет: «Высокородный господин! (Вот как должно нас величать!) Узнав о везде прославляемых добродетелях ваших (удивительно, как везде меня знают!), я поспешила прибегнуть к вашему сострадательному сердцу и объяснить свои беды...» Тут и объяснила «всякие несчастья», по-

стигшие ее, бедную, с сироточками... Но я, не дочитав, облегчил ее бедствия: плакав сам, утер слезы ее... И малютки пошли мною довольны...

За нею явилась девушка. В письме своем ко мне (конечно, она давно ожидала меня, потому что письмо было все истерто и довольно засалено) она описывала, что в ней течет кровь высокоблагородная; что один злодей лишил ее всего; что она имеет теперь человека, который, несмотря ни на что, хочет взять ее, но она не имеет ничего, просит меня, как особу, известную моими благотворениями во всех концах вселенной (каково? вселенная знает обо мне!), пособить ей, снабдив приданым... И она не раскаялась, что прибегнула ко мне...

Сделав подобных несколько благодеяний прибегавшим ко мне, я не хотел огорчить усердствующих мне мастеровых и других, принесших свои продукты; я, хотя и вовсе не нужных мне вещей, накупил несколько, кроме парика и зубов, в чем, за именем собственных, не нуждался. Они все предлагали мне еще из своих мебели, но я не мог их удовлетворить, потому что мне оставалось денег очень немного. Надобно было отыскивать Ивана Ивановича и дом его: город я уже осмотрел; теперь пойду пешком и, спрашивая от дома до дома, конечно, найду. Итак, я взял да и пошел, в препровождении Кузьмы своего.

Я заметил, что жители Петербурга очень любопытный народ. В первый день, когда я объезжал в своем берлине город, заметил ясно, что их занимал мой экипаж. Все останавливались, смотрели, указывали пальцами на берлин и Кузьму и что-то с жаром говорили. Я утешался их недоумением и с удовольствием наблюдал, как я поразил их моим сосудом, говоря словами домине Галушкинского. Теперь же, хотя и пешком пошел, но удивление

встречающих было не менее вчерашнего. Все останавливались против меня, осматривали меня с ног до головы, старались познакомиться со мною, спрашивали: какой портной шьет на меня?.. Другие желали знать: не в кунсткамеру ли я иду и слугу веду для показу? Я всем им скромно отвечал, что знал, и всех оставлял довольными... Так идучи, вдруг увидел реку, да какую! Чудесную! От изумления остановился и с восторгом глядел на нее.

Через полчаса места, придя несколько в себя, был у меня с Кузьмою, также пораженным удивлением и стоящим разинув рот, следующий разговор:

— Кузьма! — сказал я. — Видишь?

— А то ж, — отвечал он, не смотря на меня и не сводя глаз с реки.

— Вот река, так так!

— Нешто.

— Может быть, будет против нашей Ворсклы? — сказал я аллегорическим тоном.

— Куда ей!

— Вот бы на ней плотину сделать да мельницу поставить. Дала бы хлеба!

— Пожалуй! А какая это речка? Как ее зовут?

— А кто ее знает!.. Не знаю, голубчику! Пойди расспроси.

И Кузьма пошел; а я даже сел, продолжая рассматривать чудесную реку.

Кузьма возвратился скоро и сказал, что реку зовут Нева. «Ну, так и есть, — подумал я, — как мне было не догадаться, что ее так зовут. Вот Невский монастырь, а тут Невский прошек (так называется одна улица); стало быть, река, что подле них течет, от них должна зваться Нева».

— Пойди, Кузьма, — сказал я ему после часу времени, — пойди разыскай дом Ивана Ивановича;

а я сегодня никуда не пойду, буду рассматривать Неву: у нас такой речки нет.

Кузьма пошел и часа через четыре — чего только я в это время не передумал! — возвратился и рассказывает, что не отыскал дома. Как я глядя на него — и расхохотался поневоле!.. Вообразите же: вместо прекрасной казацкой шапки, бывшей у него на голове, вижу предрянную, безверхую, оборванную шляпенку!.. Нахохотавшись, начал его осматривать, гляжу — у него на спине написано мелом: «Это Кузьма, хохол!»

— Кто тебя так отделал? — спросил я у него, нахохотавшись.

— Не кто, как приятели, — так рассказывал он, — только что вошел я вон в ту улицу, как несколько человек и пристали ко мне: «Здравствуй, земляк, здравствуй, Иван!» — говорит один. «Может, Кузьма, а не Иван», — сказал я от досады, что он меня не так зовет. «Так и есть, так и есть! — закричал он же. — Я, давно не видавшись с тобою, уж и позабыл». А черт его знает, когда я с ним виделся. А другой сказал: «Да какой спесивый стал, и не кланяется». Да тут же и приподнял мою шапку... Эге! фить, фить! — посвистал Кузьма и продолжал: — Вот в то же время видно, как он мою шапку приподнял, а другой, схвативши ее, надел на меня эту гадость... а я и не спохватился. Ну, тут они начали меня обнимать один перед одним; после пустили и просили к себе в гости. Черт их знает только, где они живут; я пошел бы к ним за моею шапкою!... — При сих словах Кузьма побледнел как полотно... Он хватился — приятели вытащили у него рожок с табаком, платок и в нем двадцать копеек, что я дал ему на харчи...

Бедный Кузьма не находил слов, как бы сильнее разбранить своих приятелей, так его обобравших! Попросил бы от брата Петруся. Вот уже, — хотя я

с ним и в ссоре, а скажу правду, — мастер был на это! Кузьма ругал их нещадно, вертел в ту сторону, куда они пошли, пребольшие шиши и все не мог утешиться... И от горя пошел домой, проклиная своих приятелей.

«Хитрый город!» — подумал я и продолжал любоваться рекою. Гляжу, подле меня какой-то мужчина, пристойно одетый. Слово за слово, мы познакомились, подружились, говорили о том о сем; я рассказал ему, кто я, зачем здесь, как отыскиваю дом Ивана Ивановича, не зная какого, и про все ему рассказал. Он, расспрашивая меня, все что-то записывал, а я и не подозревал ничего. Поговоривши очень долго, он советовал мне посмотреть в городе то и се, чего я и не расслушивал порядочно, и что все там найду любопытнее, чем самая река. «Вряд ли!» — думал я, но соглашался с ним из дружбы. После советовал мне сходить в театр, что я так много найду любопытного для себя, и просил меня приходить сюда в такие-то дни и часы, куда и он будет приходить и будет расспрашивать, что я замечу. С тем и ушел, весьма довольный мною. Я же и не подозревал его ни в чем.

«В театры, — подумал я. — В театрах показывают различные комедии и дают дули (шиши)». А вот с какого побыву я так рассуждал!

В юности моем или чуть ли не в отрочестве слышал я от батеньки справедливую повесть, которая была самая истинная. Думаю, что и теперь есть люди, помнящие рассказы стариков; так они не дадут мне солгать, что это было настояще так. Вот как батенька рассказывали¹. Не стало глуховского пана полковника. Надобно было избрать нового. Кроме других прочих, желали получить пол-

¹ Истинное происшествие, в то время бывшее.

ковничество глуховское два магната из первых фамилий по знатности и по богатству. Забыл их фамилии: для различия назову одного Азенко, другого Букенко. Оба хлопотали, оба подбирали себе голоса; а как пришло к выбору, так и выбрали Азенка, а Букенко остался ни в сех, ни в тех. Нечего делать: подавился полковничеством и замолчал... Будто бы. Был весел, на праздниках по случаю элекции пана полковника участвовал, и никто бы на него ничего не подумал. Так и ничего, всего прошло. Пожалуйте же, что тут выйдет?

Через полгода места в Глухове ярмарка. Купчества съехалось много, и старшины прибыло довольно, даже из других полков. Открылось после, что пан Букенко крепко хлопотал о большом съезде, всех приглашал, а некоторым дал способы приехать. В начале ярмарки объявились приезжие комедианты, по-нынешнему, а тогда их называли «комедчики» — и, являсь у его ясновельможности пана полковника глуховского Азенка, испросили дозволения «пустить комедию, не однажды или дважды, но и многожды». Пан полковник народного ради смеха дозволил и отвел им для игрища большой сарай. Вот комедчики и начали там чинно все устраивать; сделали все, что должно; намостили, где им комедии пускать и где сидеть желающим на эти диковины смотреть. Потом заперлися, никого из любопытствующих более не впускали в комедный дом, или сарай, а слышно было, что там стучали, работали под политикою, то есть секретно.

Народ и нужды нет. Полагая, что они приготовляют там что ни на есть «комедное», оставляли их в покое, дабы не мешать и скорее насладиться зрелищным удовольствием. В городе Глухове все умирало, то есть так только говорится, а надобно

разуметь — мучились от нетерпения увидеть скорее представительную потеху.

Как вот и настал игрательный день. На сарай взлез человек с необыкновенным горлом и прокричал во всеуслышание, что в тот день будет знатная комедия: просил приходить к вечеру и деньги за вход приносить, кажется, по пятаку... По тогдашнему времени это была сумма порядочная. В городе закипела новость, а к вечеру у комедного дома подвинуться не можно было: такое множество собралось народу. Большая часть или, почитай, и все не видели вовсе комедий и, как их пускают, понятия не имели; так и простибельно было их любопытство.

Батенька — они в те поры находились в Глухове — не были охотники вечером сидеть, а рано ложились опочивать; но тут любопытства ради поохотились пойти; пошли и насилу влезли за теснотою в дверь; заплатили своего пятака и уселись на скамейке.

Перед сидящими развешано было большое полотнище, из чистых простынь сшитое (так рассказывали батенька), и впереди того горело свечей десяток. В вырытой нарочно перед полотнищем яме сидели музыканты: кто на скрипке, кто на басу, кто на цимбалах и кто с бубном. Когда собралось много, музыка грянула марш на взятие Дербента, тогда еще довольно свежий. Потом играли казачка, свадебные песни, а более строились. Собравшиеся, наслушавшись музыки, желали скорее потешиться комедным зрелищем.

Как вот полотнище — да прехитро! — так рассказывали батенька — не упало, не спустилось, а поднялось кверху, а как и отчего, — никто не мог догадаться... Но хорошо: поднялось себе.

Взору представились деревья с листьями, вот-

кнутые в землю, по обеим сторонам, а посредине чисто, гладко и ничего нет. Вот все и смотрят себе.

Как вот и вышел человек, совсем не по-комедному одетый, а так просто, якобы казак. Не поклонясь никому, начал во все стороны рассматривать, присматриваться, глаза щурит, рукою от света закрывается и все разглядывает...

— Чего ты так смотришь? — спросил один из кучи сидящих.

— Смотрю, все ли собрались? — отвечал этот. — Пусть будет, — сказал, почмыхивая.

— Да все, все, давно все собрались. Пускай свои комедии! — закричало несколько голосов. — Ноги помлели от сиденья.

— А пан Азенко тут? — спросил казак, все приглядываясь.

— Да тут, тут, давно тут! — кричали голоса.

— А где же вы, ваша ясновельможность? Я что-то вас не рассмотрю, — говорил казак, заслоня свет рукою.

— Да вот я! Вот! — изволили отозваться сами пан полковник, указывая на себя пальцем.

— Так и есть. Это вы, пан полковник! — сказал казак и, подняв руку, сказал прегромко: — Нате же вам, пане Азенко, дулю! — И с этим словом протянул к нему руку с сложенным шишом... Переднее полотнище, как некоею нечистою силою, рассказывали батенька, опустилось и скрыло казака с шишом и все прочее зрелище.

Трудно и описать, что в сей момент произошло в комедном доме. Это был неслыханный пассаж! Смех, хохот, крики заглушали гневные слова пана Азенка! Все бывшие тут (как их в Петербурге называют — зрители) встали с своих мест и с шумом толпились у выхода. Его ясновельможность пан Азенко чуть не лопнет от гнева и в бешенстве

приказывает своим «сердюкам», заведенным и у него, наподобие как у наияснейшего пана гетмана, схватить, поймать полковникохульца, дерзнувшего при всякой старшине и посполитстве тыкнуть, почитай, к самому его ясновельможности носу преогромнейшую дулю. Сердюки бросились, но ни того казака и ни одного комедчика даже следа никакого не осталось. Искали, искали, весь город обыскали, всю ярмарку перешарили, — нет как нет, и по сей день нет! Как в воду все кануло...

Батенька-покойник, рассказывая, бывало, валяются от смеху, что пан Азенко привсенародно скушал такую большую дулю, а пан Букенко, все это придумавший и распорядивший, потешался крепко своим методом к отмщению за помешательство в выборе его в глуховские полковники.

Поверьте, что все это была истинная правда.

Пожалуйте, к чему же это я начал рассказывать? Да! Это по случаю заключенной мною приязни с неизвестным мне человеком, предлагавшим мне сходить в театры.

«Хорошо, — подумал я, — увижу, что здесь в комедном действии делается. Пойду». И пошел прямо, по расспросу, к театру; а комедного дома, сколько ни спрашивал, никто не указал; здесь так не называется. Это я и в записной книжке отметил у себя.

Хорошо! Вот и я пришел к театру, чтобы узнать, будут ли в тот день пускать комедию. Я думал, что и здесь крикун влезет на крышу, да и станет кричать. Куда! Петербург город хитрый! Рассчитали, где взять такого горлана, который бы кричал на весь Петербург, который, должно знать, несравненно пространнее Глухова. Вот и умудрились: напечатать листочков, что будет, дескать, комедия, и рассылают по городу. Вот народ и знает, и валит

на комедию. Таким побытом пришел и я. Вижу, люди покупают билетки... Я в расспрос. Изволите видеть: в театре есть ложи, кресла, места за креслами и еще кое-что.

Вот будь я бестия, если лгу! Я подумал: ложа? это ложе; как мне, приезжему, никому не известному, прийти в театр с тем, чтобы лежать на ложе? Не хочу. Я знаю политику. Кресла? Я и не помню, сидел ли я в жизни на кресле. И как мне сидеть в кресле, когда люди важнее меня берут билетки за креслами. Я и заключил, что это мне приличнее. Была не была, — взял билетик и заплатил полтора рубля. Справился с другими покупателями, — точно: не обманули в цене, взяли и с других, и сдачу верно дали. Любопытствующих около меня пропасть! Все рассматривают, расспрашивают. Любопытный народ! Я тут же свел много знакомств с неизвестными мне людьми и был ими очень ласкаем. Рассказы мои их много веселили, и приятели мои не отпускали меня от себя.

Сяк-так, только я и в театре. Тыфу ты, пропасть, вежливость какая! Лакей встречает, провожает, место указывает; надобно же вам знать, что я не один гость там был. Слуга всем успевал услужить. Уселся я. Тыфу ты, пропасть! Знати, знати! И все общество было отличное! Аж насмотрелся. А тут музыка дерет, да какая! И флейты и скрипки! Да так жарят, что с соседом и не думай говорить! Услаждение чувств, да и полно. Зрение пресыщается: одно то, что светло-пресветло; всех в лицо ясно видишь; а другое — сколько тут особ! О людях и говорить нечего, я их пропускал и не обращал внимания, но все смотрел на почтенных особ. Столько вдруг не увидишь их в нашем Хороле. И то правда, город городу рознь: Хорол и Петербург. Более же всего меня прельщал и пленял прекрасный

пол, которого тут были кучи, как стадо какое. И все прекрасны без исключения, и все прелесть до того, что меня при взгляде на них мороз подирал по коже. Конечно, были на разные вкусы, смотря по комплекциям любующихся ими. «Были корпорации дебелий, были и утонченной», как выражался некогда доmine Галушкинский; следовательно, для всех было приятно любоваться ими. Уж так, что насладился! Не жаль мне было уже и полутора рублей. Да чего? Скажи он мне про такое наслаждение и запроси два рубля? Дал бы; каналья, если бы не дал!

Наслушавшись к тому еще и музыки, когда — скажу словами батеньки-покойника — как некоею нечистою силою поднялась кверху бывшая перед нами отличная картина и взору нашему представилась отдельная комната; когда степенные люди, в ней бывшие, начали между собой разговаривать: я, одно то, что ноги отсидел, а другое, хотел пользоваться благоприятным случаем осмотреть и тех, кто сзади меня, и полюбоваться задним женским полом; я встал и начал любопытно все рассматривать.

Вдруг от задних и боковых моих соседей услышал вежливые приглашения: «Не угодно ли вам сесть?.. Садитесь, пожалуйста!» Я, им откланиваясь, все говорю: «Покорнейше благодарю! Я и здесь насиделся, и сюда не пешком пришел... Покорно благодарю: устал сидя, разломило всего». Куда? Они не отстают; все упрашивают садиться, а я знай откланиваюсь и благодарю за честь, а чтоб они яснее слышали о моей учтивости, я во весь голос отказываюсь. Все бывшие тут обратили внимание на мою вежливость. Как вот пробирается чиновник, подумал я: важный, в мундире, и прямо ко мне; и он с предложением, чтобы я сел.

«Что за вежливый город! — подумал я, — как ласкают заезжего! Все принимают участие. Но не на таковского напали! Я им покажу, что в Хороле политика известна не меньше Петербурга!» И по такому побыву еще больше начал благодарить и сказал наотрез: «Ей-богу, не сяду, а еще больше — при вас...»

— Так садись же! Или я тебя вон выведу! — почти закричал вежливый чиновник и с этим словом почти бросил меня на стул. — Когда пришел сюда, должен, как зритель, наблюдать порядок и делать все то, что и прочие зрители делают. — И тут же ушел от меня.

«Ага! так это я теперь зритель? — подумал я, — понимаю теперь. Я должен «зреть» на них и за ними все делать. Хорошо же, это не мудрено». И уселся себе преспокойно. Гляжу на всех: что они делают? Ан они «зрят» на особо разговаривающих. Давай и я «зреть»: ведь я зритель. Вперив свое зрение на разговаривающих, я невольно стал вслушиваться в их разговоры, и только лишь понял сюжет их материи и ждал, далее что будут объяснять, как вдруг... Канальская картина некою нечистою силою опустилась и скрыла все...

— Фить-фить! — невольно просвистал я от изумления... Но, видя, что все около меня сидевшие зрители встали, встал и я; они вышли, вышел и я. Они вошли в комнаты с разными напитками, вошел и я. Они начали пить напиток, пил и я... И тотчас узнал, что это вещество изобретения брата Павлуся — пунш, которого я терпеть не мог и в рот, что называется, не брал; а тут, как зритель, должен, наблюдая общий порядок, пить с прочими зрителями, как назвал их вельможный чиновник; но я рассудил, что, по логическим правилам знаменитого домине Галушкинского, должно уже почитать их не зри-

телями, понеже они не зрят, а пителями или как-нибудь складнее, понеже они пьют...

Но делать нечего; они выпили — и я выпил; они заплатили, заплатил и я; ни в чем не отставал от порядка. Посмотрим же, что это за хитрый город Петербург? Выпивши, они собираются идти, собираюсь и я, и спросил их: куда же нам теперь должно идти?

— Разумеется, в театр, скоро начнут, — сказал один и поспешил.

«Начнут! — подумал я. — Что начнут? — спросил я сам себя. — Конечно, начнут пускать комедию! То было совещание у них между собою, а теперь примутся за дело. Идти же в театр». Подумал так, да и пошел: взял снова билет, заплатил снова полтора рубля; вошел и сел уже на другое место, указанное мне услужливым лакеем. Поднялась опять картина.

Скука смертельная! Сидят старики и рассказывают молодому человеку черт знает о чем! — о добродетели, самоотвержении и подобном тому вздоре. Молодой человек, таки видно, что горячится; того и гляди, что даст им шиш, и — баста! — картина невидимою силою упадет, и нас распустят по домам. Ничего не бывало! Говорят себе да сердятся, но все с вежливостью. А мы скучаем.

Не занимаясь пустыми разговорами, я задумался о своем: о Хороле, о маменьке-покойнице, о кормленной ими птице и тому подобных радостях, как вдруг ногу мою что-то оттолкнуло... Глядь я — подле меня сидит прекрасный пол... То есть, одна, должно быть особа, а не простая, потому что была корпорации дебелой и с обнаженными привлекательностями, не так, чтобы совсем, а прикрыто несколько флеровою косыночкою. Вот как она оттолкнула меня, да и говорит, впрочем, довольно

меланхолично: «Вы истолкали мне все коленки! Что вы это толкаете?»

Тут я только заметил, что, предавшись сладким мечтам, не заметил женской натуры, подле меня сидевшей; свободно соединил мое колено с ее и преаккуратно поталкивал, сам не зная, какой ради причины. Увидя следствие моей задумчивости, я настоятельно начал извиняться и утвердительно доказывал, что я толкал ее без всякого худого намерения!..

— Еще бы я позволила вам иметь какие-либо намерения!..

Дальнейшее наше знакомство тут и прекратилось, потому что картина упала перед нами. Все встали, встал и я; все пошли, пошел и я в прежнее место. Но мои соседи по зрительству были люди другой комплекции, нежели прежние: они не пили пуншу, ели яблоки, кои и я ел, обтирались, вышедши из душной залы, обтирался и я. «В театр, в театр!» — закричали они и побежали. Пошел и я медленно, рассуждая: «Ну, уж этот театр! Буду его помнить!» Купил снова билет и снова заплатил полтора рубля.

Вошедши в залу, сел; смотрю... у меня по соседству нет прекрасного пола, все мужской: не опасно, хоть и толкнул кого.

Опять разговоры, только уже не комедчики, а жены и сестры их. «Бабьего болтания нечего слушать, — подумал я, — тут жди сплетней и ссор. Буду свое думать», — и начал.

Удивительное я тут заметил! В бумажках, которыми приглашались гости в театр, запрещалось стучать ногами и палками! Так они что выдумали? Давай хлопать в ладоши; да как приударят дружно, так что ваша музыка! Я так и хохочу от удовольствия, а они, как нарочно, дразнят комедчи-

ков да хлопают, и, конечно, от досады, что нельзя стучать ногами и палками, даже плачут да зная плещут. Это меня в комедии только и потешило.

Уже в четвертый раз брал я билет — что делал всегда, как выходил из театра — четвертый раз платил полтора рубля, что мне очень досадно было, и я не вытерпел, спросил у купчика, продающего билеты: «Скоро ли вы нас распустите? Долго ли вам мучить нас?»

— Это в вашей воле, — сказал он. — Отчего же, сударь, вам театр так скучен?

NB. Он счел меня, конечно, за особу, что все величал «сударь».

Я ему объяснил, что мне все три театра, данные в этот вечер, понравились очень, а наиболее музыка и зрелища прекрасного пола; но ежели еще это все продолжится хоть одним театром, то я не буду иметь возможности чем платить. С этого слова, разговорясь покороче, мы стали приятелями, и он мне сказал, что я напрасно брал новые билеты на каждое «действие». NB. Тут он мне рассказал, как что должно называть и как поступать в театре.

«Хитрый, хитрый город!» — подумал я тихонько.

Слово за словом, мы разговорились, и очень. Он мне сказал, что он из нашей Малороссийской подсолнечной и родом из Переяслава, учился в тех же школах, где и я, и знает очень домине Галушкинского. Слышал о нашей фамилии и сказал, что счастье мое, что я попался ему в руки как земляку, а то другие нагрели бы около меня руки.

Когда мы так дружески разговаривали, то там, в театре, музыка гремела ужасно, и прочие, то есть зрители, слушая актерщиков, коих я прежде по незнанию называл «комедчиками», хлопали в ладоши без памяти...

«Хитрый город! нечего сказать, — думал я. — Нет того чтобы приезжему все рассказать и объяснить, а тем и удержать его от роскоши платить за билетки на каждый театр. Будь этакой театр у нас в Хороле и приехали бы к нам из петербургских мест гости, я все бы им объяснил и не дал бы им излишне тратиться. Хитрый город! Но вперед не одурачите».

В заключение беседы нашей приятель мой Марко... Вот по отчеству забыл; а чуть ли не Петрович? Ну, бог с ним! как был, так и был; может, и теперь есть — так он-то советовал мне ежедневно приходить в театры: тут-де, кроме что всего насмотришься, да можно многое перенять. Причем дал мне билетик на завтра, сказав, что будет преотличная штука: царица Дидона и опера. Я обещался, с тем и пошел.

Когда, пришедши домой, рассказал все случившееся со мною Кузьме, так он выходил из себя от сердцов — и всех актерщиков и всех зрителей, кроме меня, бранил наповал туляками, братьями, дядьями и даже отцами того хозяина, что нас угощал в Туле.

Я, однако же, долго не мог уснуть. Все мне мерещился прекрасный пол, бывший со мной в театрах. Фу! да и красавицы же! Откуда их столько навезено сюда?..

Утро провел я, любясь рекою, и до обеда не сходил с места. Любуюсь и не налюбуюсь! Меня занимала мысль все одна: что, если бы эта река да у нас в Хороле? Сколько бы добра из нее можно сделать? Мельницы чудесные, винокурни преотменные! А здесь она впусте течет.

Признаюсь, театры меня занимали, и я пошел туда пораньше. Я уже все знал: вошел бодро и смело, поклонился приветливо на все стороны, к

верхним и нижным дамам, зная, что все это были особы. Что же? Поверите ли? — а я будь гунстват, если лгу! — хоть бы кто-нибудь кивнул мало головою, шаркнул ногою! А чтобы сказать: «Здравствуйте-де, милости, дескать, просим!» — об этом никто и не подумал. Так вот город! Вот та столица! Вот где вся политика должна заключаться! О, посмотрели бы они, уже я не говорю о Хороле, ступайте даже в Кобеляки... Так подумайте — ничего? На сухих вас примут? Нет, батюшка! Там замучат вас ласками и надоедят вам приветствиями, знают ли вас или не знают. Но ведь разница: Петербург и Кобеляки!

Оставя все, я сел не гляже ни на что и, по совету вчерашнего приятеля, советовавшего мне ничем не заниматься и ничего не слушать, кроме актерщиков, я так и сделал. Как ни ревела музыка, как ни наяривал на преужасном басы какой-то проказник, я и не смотрел на них, и хоть смешно было мочи нет глядеть на этого уроды-басы и как проказник в рукавице подзадоривал его реветь, но я отворотился от него в другую сторону и сохранил свою пассивность.

Начался, однако же, театр. Вот театр так театр, — я вам скажу! В этот раз я не был олухом, как вчера; я, по совету моего приятеля, смотрел и занимался только тем, за что деньги заплатил, то есть театром; и, правду сказать, было чем заняться и нахохотаться.

Это был не просто театр, а история; не умею вам сказать, выдуманная ли или настоящая. Только и выйди к нам на глаза сама Дидона... Фу! баба отличная, ражая! Да убранство на ней, прелесть! Эта баба и расскажи всем, при всех, что она любит, — как говорится, до положения риз — какого-то Энея; он, конечно бы, и молодец, но не больше как

пруднус, так, живчик; и я подметил, что он... так, а не то чтобы жениться. А напрасно. И я и всякий по-советовал бы ему: одно то, что на ней убранства и богателей столько, что было бы чем век прожить. Так нет же! Надобно-де ему куда-то уехать. Может, была другая сударка, ну, так и извинительно. Надобно же, на беду, что в эту бабу, Дидону, не знаю далее, как звали ее, да влюбись... ну, урод! мурза! арап! Да как влюбился? Так на нож и лезет! Как он станет расписывать свои лютые страсти, тут при всех при нас... я так и ложусь от смеха!.. Не вытерпит никто, так смешно вдавали, то есть комедию пускали, или, как должно говорить, «представляли».

Видите ли, я сперва думал, что это идет по натуре, то есть настояще, да так и принимал и потушил немного, как Дидона в огонь бросилась. Ну, думаю, пропала душа, черту баран! Ан не тут-то было! Как кончился пятый театр, тут и закричали: Дидону, Дидону! чтоб, дескать, вышла напоказ — целала ли, не обгорела ли? Она и выйди как ни в чем не бывало, и уборка не измята.

Тут я отличил штучку, которая много всех позабавила.

Видите ли, вчерашний приятель сказал, что будет театр. Дидона и опера. Вот я и вижу и слышу, что эту бабу зовут Дидоною, а тут другая при ней кое-что прощещет, как канареечка, да и спрячется домой. Я и заключи, что это «опера». А девочка — целое канальство: бела, румяна... ну, одним словом, приглянулась мне. Как она выйдет к нам, я сам не свой. Грешное дело и прошлое дело, признаюсь: мне показалось, что она взглянула на меня, да так — бестия! — нравственно, что я никак не выдержал, подмигнул ей, не очень, а так деликатно, с маленьким приклонцем. Не знаю, заметила ли,

но только уже не выходила. Почувствовав позыв и стремительное желание хоть взглянуть на нее, я, когда отпотчевали Дидону сделанием ей чести, отшлепав триумфально в ладоши, я тут, узнав способ выкликать и свой предмет, закричал как обваренный:

— Опера, опера! Выйди ж, опера, хоть на чашечек!

Я ведь думал, что имя ей опера, по словам приятеля моего.

Смех, крики, хохот не дали мне усилить еще крику. Все обратились ко мне, обступили, расспрашивают, кто я, как я, чего кричал, и обо всем хотели знать. Натурально, мне таиться не в чем было, а особенно, что они интересно хотят знать. Я и распустился перед ними и открыл им все, что было на душе и за душою. Без лести скажу: все были в восторге и не наслушались меня; усадили меня некоторые между собою и искренно подружились со мною. Растолковали мне, что опера не женщина и не девушка, а так — показание одно, вид, — не знаю, как яснее сказать, — и что вот будут сейчас перед нами пускать и оперу.

Ну, да и в самом деле! Как выпустили оперу с мужчинами, с девушками, да какими красотками, да с песнями отличными, при всей гармонии, так я и не знал, где я и что я. А особенно одна!.. Посмотришь, снасть вся мужская, а она девка, да еще какая! И вдавала всесветного тирана, раздавателя мук и радостей, каналью Амура, да как живо! да как хитро! Кто смотрит на нее, подумает — она натуральна, ан нет: одета вся, а это так, обманно, подделано под натуру... ну не умею рассказать и изъяснить, скажу только, что я заливался от хохоту, и что чувствовал, выразить не умею.

Новые мои приятели восхищались моим востор-

гом и не натешились надо мною; расспросили, где я живу, и проч., я все им дружески открывал. С тем и расстались, что они обещали за мною заехать.

— Туляки! — знай твердил мой Кузьма, когда я рассказывал ему, что я видел в тот вечер и что со мною происходило. — Доходитесь по этим комедиям до того, что и есть нечего будет. Скоро ли приедет Иван Афанасьевич и где-то мы его отыщем? Я как рассмотрелся, так этот город не Хорол, а лес; нет ни входу, ни выходу. И людей много, а не можем отыскать дома Ивана Ивановича. Так пока найдем, а вы знай будете ходить по комедиям да по полтора рубля им носить, надолго ли станет? Уже всего у вас денег дня на три; а как сходите завтра, так послезавтра и сядем голодом. — Так высчитывал мне Кузьма, а я ему, наоборот, рассчитывал, сколько я уже имею знакомых; не доведут до нужды и помогут отыскать дом Ивана Ивановича, где квартирует Иван Афанасьевич.

Кузьма же на все только и говорил: «Глядите, так ли кончится?»

Однако он нагнал мне было раздумья, и я чуть-чуть не решил отложить проходок в театры, но как вспомнил оперу, то есть уже настоящую, вообразил девку, что была Амуром; привел на память, как она поет разные штучки и на высшие тоны, как влезет, как задробенчит, так что твои колокола, в которые звонил, было, брат Павлусь, покойник!

Все это живо вообразивши, я махнул рукою и сказал громко: хоть голодом сидеть буду, а театрами буду потешаться. С сими мыслями и уснул сладко.

Что же? Так и вышло. Не успел проснуться, как вчерашние мои театральные знакомые и прибежали за мною, и едва я успел прифрантиться по-своему, как и схватили меня да к себе. Пошли ласки, уго-

щения; все были мною очень довольны, не отходили от меня, расспрашивали об моих сокровенностях, то есть житейских, и я им все от самого детства рассказывал дружески, то есть прямо...

Я и обедал с ними, если можно назвать петербургские обеды обедами. Это не обед, а просто так, ничто, тьфу! — как маменька-покойница говаривали и при этом действовали. Вообразите: борщу не спрашивай, потому что никто и понятия не имеет, как составить его. Подадут тебе на тарелке одну разливную ложку супу — ешь и не проси более; не так, как бывало в наше время: перед тобою миска, ешь себе молча сколько душе угодно. Между прочим злом, вошедшим в состав жизни нашей и называемым французским, выпустили они, плуты, еще свой соус. Что же этот за соус? Кушанье, что ли? Совсем напротив: по-нынешнему называется «блюдо». И в самом деле: блюдо-то есть, одно блюдо, да на блюде, почитай, ничего нет. Пахнет, правда, задорно; но начини получать порцию, так прямо по блюду скребешь и ничего нехватишь. Такими-то обедами петербуржцы потчевают заезжих гостей. Такими обедами лакомили и меня. Что же? Едва существовал, а жить — и не говори. По моему заключению, тот человек живет и наслаждается жизнью, кто услаждает свой вкус и желудок. Еще в юности, а чуть ли и не в отрочестве ли еще, я сочинил такое рассуждение, и тогда домине Галушкинский, выслушав, сказал: «Вене, домине Трушко!» Следственно, мысль моя неоспорима.

Вот на таких-то обедах, посидевши я голодным, совсем было исчах и решился поддержать силы и здоровье своим произведением. Заказал в этом чудном «Лондоне», где я по необходимости квартировал, свои собственные блюда: борщ с молодой индейкою, поросенок в хрену, сладкое, утку с рыжи-

ками, гуся жареного с капустою и вареники. Только вообразите же! Глупый кухарь отказался готовить, что у него таких продуктов нет, а о варениках он и понятия не имел. — Кузьма! а что? — после долгого осматривания кухаря, стоявшего передо мною, спросил я своего Кузьму.

— Тула, туляки!.. — сказал меланхолично Кузьма, стряхивая посредством щелканья с пальцев табак, понюханный им.

— Да, так! — отвечал я ему после долгого думанья.

Кухарь ушел, а Кузьма, конечно, сжался над моим патриотизмом, вызвался накормить меня варениками, сказав: «Не велика штука! Я и сам их налеплю; был бы достаток».

— За достатком дело не станет, — сказал я и пошел покупать, чего нужно; а Кузьма принялся доставать муки.

Ну, хитрый же город этот Петербург! Пошел я по лавкам вдоль. Так что же? Выбегают, бестии, и почти за полы хватают, тащат к себе в лавку и кричат: «Пожалуйте, господин приезжий!» NB. Надобно знать, что я известен был по всему городу Петербургу и, где бы ни являлся, тотчас меня спрашивали, давно ли я из Малороссии. Так вот даже и купчики знали; с полною охотою предлагали свои услуги и, почитая меня богатым, рекомендовали свои товары: тот бархат, атлас, парчи, штофы, материи; другой — ситцы, полотна; оттуда кричат: вот сапоги, шляпы! и то и се и все прочее, так что, если бы я был богат, как царь Фараон, так тогда бы только мог искупить все предлагаемое мне этим пространством купечеством. Но что же? И тут не без хитростей. Уговорят, убедят, упросят зайти непременно в лавку, уверяя, что все у них найду: зайдешь, спросишь, чего мне надо... а мне нужно было сы-

ру на вареники... спросишь, так и надуются и «никак нету-с, мы этим не торгуем!» — скажет, отвортился и пошел других зазывать.

Ну, уж народец! Послушайте далее.

Выморившись порядочно от ходьбы по лавкам, насилу имел удовольствие услышать «у нас-де продается сыр; сколько вам его угодно?».

— Я и сам не знаю, сколько мне угодно, а от-весь, голубчик, сколько нужно на две персоны для вареников! — сказал я, желая полакомить нашею земельскою пищею верного моего Кузьму.

Купец был так вежлив, что предоставил мне на волю взять, сколько хочу, и я приказал подать... Что же?.. и теперь смех берет, как вспомню!.. Вообразите, что в этом хитром городе сыр совсем не то, что у нас. Это кусок просто мыла! — будь я бестия, если лгу! мыло, голое мыло,— и по зрению, и по вкусу, и по обонянию, и по всем чувствам. Пересмеявшись во внутренности своей, решился взять кусок, чтобы дать и Кузьме понятие о петербургском сыре. Принес к нему, показываю и говорю:

— Кузьма! а что это?..

Он, не думавши, тотчас и решил:

— Мыло. А на что оно нам?

— На вареники, — говорю я аллегорично.

Он стоял долго, выпуча на меня глаза, потом сказал:

— А давно мы стали собаками, чтоб нам есть мыло?

— Отведай! — говорю я.

Он отведал.

— А что? — говорю я.

— Черт знает что: ни мыло, ни сало! — сказал он решительно. Долго мы, советовавшись, не придумали, как с этим сыром делать вареники. После того уже узнали, что в Петербурге, где все идет

деликатно и манерно, наш настоящий сыр называется «творог». Но уже нас с Кузьмой не поддели, и мы решились оставаться без вареников. То-то чужая сторона!

Пожалуйте же! я, кажется, совсем отбился от материи; обращаюсь к своей цели. С этими приятелями и другими, подружившимися со мною, я проводил время преприятно. Каждый раз они водили меня с собою в театры, и там я так привык, как будто дома. Не боялся вовсе чертей, в адском пламени горевших; не любовался и не прельщался актерщицами; я узнал, что это не натура, а так, вдают только. Черти такие же люди, как и я; пламя их не жгущее; красота актерщиц не истинная, а так, красками подведено для нравственности мужчинам. Все это узнавши, я до того в театрах бывал бодр и смел, что, заложив руки в боковые карманы моего необходимого платья, прохаживался себе бодро и не гляже ни на кого.

Объявили, что будет театр «Коза» и какая-то «Рара»¹. Дай посмотреть и этого дива! Приятели меня привели. Правда, козы не было, но зато и штука была преотменная. Верите ли! как запоют актерщицы, так даже в ушах звенит. Прелесть! А тут выскочит к нам актерщик, да и станет подлаживать под их; да как стакаются, и он пойдет басовым голосом, а тут музыка режет свое; так я вам скажу: такая гармония на душе и по всем чувствам разольется, что невольно станет клонить ко сну. Невольно чмокаешь и губы утираешь. Да мало ли чудес видел я в этом, подлинно комедном доме, что должно называть «театр»! Вдруг сад; не успеешь налюбоваться, глазом мигнуть, уже и дом, а там город, пустыня, море... как это делается — теперь, хоть

¹ «Cosa гага» — гремевшая в то время опера.

сейчас убейте меня, не объясню вам, потому что не понимаю ничего!.. А балеты! Вот высокая прелесть! Это, извольте видеть, танцуя действуют, а действуя танцуют... Но и танцы ничего; а вот плясуньи, танцорки, так это, будь я бестия! сойти с ума. Молодо, ужасно красиво, да как высоко одето, да как живо, вертляво!.. а как скакнет, закружится, поднимет ножку... высокая, самая высокая прелесть!.. канальи, а и полно! Через силу оставишь театр, придешь домой — плясуньи в глазах: ляжешь — плясуньи тут, и продумаешь всю ночь о высоких прелестях бесподобных плясуньев, которых у нас, в Хороле, и не говори когда-либо увидеть! Куда!

В один театр, только что мои милые со всем усердием расплясались в лесу, я слушаю, восхищаюсь и был готов вздремнуть; везде все тихо, будто и все уснуло; вдруг сзади нас раздался громкий, резкий голос: «Панычу, гов!» Все засуетилось, всполошилось: многие вскочили, актерщицы замолкли, музыка смешалась... слышен шум; кого-то тискают, удерживают, а он барахтается и кричит: «Та гетьте, пустите, я за панычем!» Все смотрят туда, и я за ними... глядь! ан это бедный мой Кузьма попался в истязание!..

Жалость меня взяла; я бросился на выручку моего верного Кузьмы, а его уже подхватили под руки и ведут, не слушая моих уверений, что это мой Кузьма... Куда! Так и исчез в глазах моих!

Уж мне было не до театров и не до актерщиц; пропадай все, жаль одного Кузьмы. Мы с ним двое заезжие были, теперь я один остался, а его, может, запроторят на край света. В таких чувствительных мыслях отправился я домой... глядь! в квартире сидит у меня Иван Афанасьевич, мой поверенный Горб-Маявецкий...

Вот как это случилось, что он меня неумышленно нашел.

Приехавши в этот Петербург, он прямо к Ивану Ивановичу... меня нет и не было... Принялись они разыскивать; стояло в записке, что я въехал, но где остановился, никто из начальствующих не заботился. Меня и без того все знали. Горб-Маявский подумал было, что я совсем пропал, и недоумевал, как без меня начинать дело, потому что некому было отхватывать: «К сему прошению»... Как вдруг попадаетея ему книжечка, да не такая, чтоб книжечка настоящая, а так, чепуха. Извольте видеть: Петербург хитрый город, и люди в нем живут на все руки. Некоторые и примутся за особый промысел. Дело не дело, правда не правда, слышал или выдумал, да все это в строку: напишет, печатает в книжечку, да и рассылает по городу и по всему свету. Состряпавши одну, принимается за другую, и так через весь год; а за все это денежки и лупит. Как же надобно, чтобы застоя не было, так он в своих книжечках дует, что зря. Там и любовь всех сортов, и всякая механика, и про пирожное, и про актерщиц, и про сапоги... одним словом, про все, что этому проказнику на мысль придет. Как же не всегда у человека мысли бывают, так он и пустится по улицам; что подметит, а что, хотя выдумает, да тотчас и в список, что при себе так и носит.

Хитрый город!

В один день этот публичный балагур и прииди к реке; увидя меня, и познакомься со мною; вот как я рассказывал, да все мои речи, что я тогда, сидя над рекою Невою, ему по дружбе говорил, умные и так, расхожие, все в список, за пазуху, да и домой; а там в свою книжечку да в печать, хва-тавши, правду сказать, многое и на душу ради сме-

ха, да и славь меня по всей подсолнечной. Пошли читать все.

Эта книжечка, какова ни есть, попадись в руки моему Горбу-Маявцекому. Прочитал и узнал меня живьем. Принялся отыскивать; отыскал петербургский «Лондон», а меня нет, я люблюсь актерщицами. Он Кузьму за мною: призови, дескать, его ко мне. Кузьма отыскал театр, да и вошел в него. Как же уже последний театр был и на исходе, то никто его не остановил. Войдя, увидел кучу народу, а в лесу барышни гуляют; он и подумал, что и я там где с ними загулялся. Вот и стал по-своему вызывать.

Недешево достался ему этот выход! Его потащили и заперли в преисподнюю, пока до завтра, а тогда в расспрос. Пошел Кузьма городить околенную! Он говорил дело, да его не понимали. Он правильно отвечал, что приехал из Хорола с панычем с Трофимом с Мироновичем с Халявским: что я ему нужен был, и потому он звал меня. Ему дали *памятное* наставление, чтобы он впредь иначе отыскивал своего господина; а Кузьма, этим не удовлетворившись, начал спорить и доказывать, что когда паныч ему нужен, так он везде пойдет и будет кричать, отыскивая его. Чтобы убедить его, что он ошибается, ему поручили чистить улицы, и вечером, не накормивши, прислали его ко мне. Но досталось же и притеснителям его. Куда! Кузьма целый вечер ругательски их ругал и, лежа в своей конурке, все вертел шиши и посылал в ту сторону, где его так поучили. И поделом им! Так напасть на безвинного человека и обругать его!

Радость наша при свидании с Иваном Афанасьевичем была неописанна. Он радовался тому, что отыскал меня; а я радовался, что нашел его. Он боялся за меня, что меня, неопытного, не знающе-

го света, одного в чужих людях, оберут, обманут. (NB. Не на таковского напали! Только и обобрали в Туле, да в театре, за лишние билетки, да за сапоги, что я купил себе щегольские, смазные, и подошвы были не пришиты, а приклеены; обобрали еще меня разные парикмахеры, цирюльники и проч.; издержал многоноcko денег для вспоможения бедным; но это в счет нейдет. Вот только и лишнего расхода. Куда меня обмануть кому-либо!) Я же обрадовался, нашедши Ивана Афанасьевича, потому что у меня не осталось вовсе денег и на завтра; не только обедать, но и в театры идти не с чем было.

Спасибо ему: он рассчитался за меня с хозяином «Лондона», и хотя много шумел, что лишнего много было на меня приписано, чего я и не употреблял вовсе, но должен был заплатить и вывез меня в дом к Ивану Ивановичу, приятелю своему.

Прошу же покорно отыскать дом Ивана Ивановича, когда он был очень далеко и в таком глухом месте, что и достигнуть к нему не можно было! Но домик очень порядочный, комнат шесть, и в нашем Хороле он был бы из первых.

Ивану Афанасьевичу ничто не нравилось в моем одеянии и во всей наружности, вследствие чего обшит я был с головы до ног снова. Фу ты, канальство! что за франт вышел из меня! Сапоги со скрипом, фалды у кафтана так и болтаются, в кармане платок белый, чистенький на каждый день, с красными краешками. Все было мило и щегольски. Я не мог налюбоваться собою. Давал мне деньги и на радости жизни, например, в театры, на апельсины и другие лакомства. Сам же он занялся по моему делу, и я обязан был раз пять в день подписывать ненавистное мне «к сему прошению». Один раз повез меня к судьям, у коих было мое дело, без надобности, а так, для блезиру, напоказ. Каждый

из судей заговаривал со мною меланхолично, и при мне говорили, что я жалкий молодой человек, без образования. Не знаю, что они разумели, но я был очень хорошо образован: платье все по последней моде, волосы на голове завиты, взъерошены, распудрены... Какого же образования? Больше я к ним не пожелал ездить, и Иван Афанасьевич не находил в этом надобности.

Получивши отличное, щегольское образование и не имевши чем заняться, я не хотел попусту сидеть дома. Притом же возгорелась во мне прежняя мыслишка, чтобы женить себя. Где удобнее это сделать, как не в Петербурге? Женского пола тьматьмушая, и каждая — красавица, и каждая имеет все необходимое показаться в свете, потому что вечно увидишь их кучи на улицах, или гуляющих, или по делам своим идущих. Выбирай только любую. Но я располагал иначе. Выбрать на улице из встречающихся — это никуда не годится, и мне ли, пану Халявскому, так жениться? Хотя, беспристрастно сказать, страстишка велика была как бы ни жениться, да жениться; но я помнил все, чем обязан был роду своему. Я хотел, чтобы моя жена имела тон в обществе, то есть голос звонкий, заглушающий всех так, чтобы из-за нее никто не говорил; имела бы столько рассудка, чтобы могла говорить беспрестанно, хоть целый день (по сему масштабу — говаривал доминe Галушкинский — можно измерять количество разума в человеке: глупый человек не может долго говорить); имела бы вкус во всем, как в варенье, так и в солении, и знала бы тонкость в обращении с кормленою птицею; была бы тщательно воспитана, и потому была бы величественна как в объеме, так и в округлостях корпорации. Худых не только жен, но и вообще людей худых не люблю, по неоспоримому — все же доминe Галуш-

кинским изобретенному — силлогизму: что худо, то и нехорошо.

Положивши на мере, какой комплекции мне нужна жена, я полагал: пусть лучше в меня несколько из них влюбится, и тогда из десятка можно будет избрать для меня симметрическую. На таков конец, разодевшись самым щегольским штилем, я ходил из улицы в улицу... Скажу без лести, многие на меня посматривали, и тут я должен был проходить несколько раз мимо тех же окон, но предмет страсти моей скрывался, а на ее место выходил слуга, и без всякой политики говорил, чтобы я перестал глазеть на окна, а шел бы своею дорогою, иначе... ну, чего скрывать петербургскую грубость?.. иначе, говорит, вас прогонят палкою. Подумаешь — и это Петербург? У нас в Хороле не так!

Бывал и в таких улицах, где не только на меня смотрели, — кланялись, приглашали к себе. Но... каких только людей в Петербурге нет. Во всех частях хитрый город!

Я все ходил, но к женитьбе не подвинулся ни-мало; а Иван Афанасьевич покончил все свои дела и выиграл мою тяжбу. Присуждено было принадлежащую мне часть возратить всю сполна, как движимого, так и недвижимого, и уплатить за все годы следующую мне часть дохода. А что, Петрусь? Что, взял? Я теперь, как выражаются у нас, целою губою пан. Роду знатного: предок мой, при каком-то польском короле бывши истопником, мышь, беспокоившую наияснейшего пана круля, ударил халявою, то есть голенищем, и убил ее до смерти, за что тут же пожалован шляхетством, наименован васпаном Халявским, и в гербовник внесен его герб, представляющий разбитую мышь и сверх нее халяву — голенище — орудие, погубившее ее по неустрашимости моего предка. Итак, прямая, чистая, бла-

городная кровь обращалась в жилах моих; сам собою я был очень недурен, даже хорош; обороты мои и все ухватки щегольские; кланялся значительно, ходил важно и все-таки хорошо. Что небольшого чина, это ничего: хоть мал чин, но заслуженный. А достаток? тьфу ты, канальство! достаток такой, что на да поди! Сколько душ, земли, домашней богатели!.. Будь я гунстват, что если бы не выехал так скоро из Петербурга, то, верно, такую бы сударку подхватил, что из-под ручки посмотреть.

Но надобно было оставить Петербург. А что я в нем видел и каким его заметил? Опишу свое мнение.

Санкт-Петербург город большой, обширный, пространный, многолюдный. Пышный, огромный, великолепный, красивый,— все правда; но хитрости в нем на каждом шагу; так там люди заучены. Будто и знакомится, будто и дружится с вами, а это с тем, чтоб от вас воспользоваться. Я сам делал так. Пока отыскал своего Горба-Маявleckого и был без денег, то нарочно старался отыскивать побольше приятелей, чтобы они меня звали с собою обедать и в театры водили. Обед совсем не обед, а лишь бы деньги содрать. На театрах нет натуры, а все выманки денег: черти не черти, а наряженные люди, будто королева, а смотри — она жена актерщика. Все актерщицы вовсе не красавицы, а так, подправлены. В театр приглашают, прося сделать честь своим посещением, а денежки берут. На них глядя и многие хозяева домов просят знакомых пожаловать откусать; вот и накормил, да потом как завинтит их в карточки, и обед с лихвою завертится. Прекрасный пол точно прекрасен, даже бывает и *очень* красен от неумеренности в придаче себе красоты или краски. Вовсе не любовного сложения, на мужской пол никогда не глядят с любезностью: это

я на себе испытал. Таких балагуров, как меня в книжечке описал, не мало: будто для потехи других сбывают свои книжечки — пустое! Они за них деньги приобретают; иначе, что бы ему за охота ночь и день мучить себя выдумываньем да писаньем. И все так, все так, до последнего. Так вот этот Санкт-Петербург! Правда, таков был при мне, а я в нем был давно; может, теперь и переменялся, как и все на свете изменяется.

Но каков бы он ни был, а я в нем находился — что формально и доказал Лаврентию Степановичу, нашему таки соседу. Он было вздумал отвергать, что я-де не был в столице, а это, дескать, я, наслышавшись от других про Неву, про театры, про слона и другие драгоценности, выдаю за виденное самим. Как же я припустил на него! И начал ему доказывать, — и все петербургским штилем, каким у нас не могут говорить, — что я именно видел, что за деньги, а что без денег: мосты, дома, крепости, корабли и все и все. Так он язык прикусил. То-то же!

Надобно сказать правду, как мне трудно было, приехавши из Хорол, переучивать свой язык на петербургский штиль и говорить все высокопарными словами, коими я описывал выше жизнь мою в столице: так тяжело мне было переучиваться на низкий штиль, возвратясь в Хорол. Вот с этой точки Петербург неизъяснимо хорош. Сколько в нем людей, говорящих по часу без умолку, да так отборно, да так высоко, что не поймешь предмета, о чем он говорит и что хочет сказать. Завидно! А как этакая голова да испишет свои мысли на бумагу, да собьет с того книжечку? Ах ты, боже мой! не расстался бы с нею, не выпустил бы из рук. Мастерство необыкновенное! именно чудно. Буквы и слова русские, да прошу толку доискаться? И не говори! глубина премудрости, да и только. Полю-

бивши этот метод, я позанялся им и довольно-таки успел. Где надобно при оказии блеснуть, и я распушу свою философию, слушают голубчики провинциалы, развеса уши, и удивляются моему уму; а мне это и не стоит ничего: напорол дичи петербургским штилем и — знай наших!

Пустились мы с Иваном Афанасьевичем в обратный путь; Кузьма сидел со мною, и тут-то он мне порассказал, какой ему показался Петербург! Это чудеса. Я умирал со смеху. Он обо всем судил превратно и иначе, нежели я. Когда проезжали через Тулу, я не забыл его подразнить услужливым хозяином; а Кузьма сердился и ругал его всячески.

Без всяких приключений совершили мы путь, потому что Иван Афанасьевич все распоряжал, и благополучно прибыли в свой Хорол. Мой знаменитый родительский берлин безжалостный Горб-Маявецкий променял на веревочные постромки, необходимые в дороге. Лишась покойного экипажа, я всю дорогу трясся в проклятой кибитке и должен был пролежать целую неделю, пока исправилось все растрясшееся существо мое и поджило, избитое во многих местах.

Горб-Маявецкий не отпустил меня из своего дома, пока-де не окончу дела и не приму следующего вам имения. Пожалуй. Мне очень недурно было жить у него. Его дочь, прежде бывшая Анисинька, а ныне ставшая Анисья Ивановна, потому что была девушка уже со всеми формами и в полной комплекции, требуемой для невесты! Она мне, после дороги, очень приглянулась, и я старался увиваться около нее на петербургский фасон. Анисья Ивановна, заметно было, от того не прочь: но, как девица, воспитанная в пансионе, так все действовала с маленькою меланхоличностью и ужимками. Напри-

мер, когда мы оставались вдвоем и со всею страстью я смотрел ей в глаза, то и она делала мне симметрию и улыбалась так же мне, как и я ей; но я вздохну, а она молчит; я хочу взять ее руку, а она спрячет ее под фартух. Занимаясь с нею долго сиденьем вдвоем и молча, я ради скуки предложу ей идти в проходку, она наморщится и скажет: «Это неприлично». Станные суждения были у нее: предпочитала битых два часа сидеть со мною и молчать, а на прогулку не решалась. Может быть, она находила первое великим для себя удовольствием? Я же напротив; я не влюблялся в нее и не был к тому расположен, а так, действовал по натуре и искал нравственности. Но что значит судьба и кто может идти против предела ее? Вот увидите, что тут выйдет.

Горб-Маявецкий, возвращаясь от своих по судам занятий домой, всегда, бывало, подшутит надо мною и скажет: «А наш молодец все около барышни?» — то жена его и промолвит: «Это что-то недаром. Уж нет ли чего?» Я же, чтоб показать вежливость и что бывал на свете, шаркну по-петербургски и отпущу словцо прямо, просто, по-дружески: «Помилуйте, это просто без причины, пур пасе летан». Они на такое петербургское приветствие, не поняв его, и замолкнут.

Хорошо. В один день Иван Афанасьевич, возвращаясь из судов, начал мне объяснять довольно аллегорически, что и здесь все дела мои кончены и велено мне принять от брата имение. «Так видите ли, — заключил он, — какую вы мне благодарностью обязаны? Я, один я, все вам это обработал».

Тут я начал со всею искренностью и довольно меланхолически благодарить его и показывать ему

свою готовность отблагодарить ему, чего он пожелает.

— Мне, персонально, ничего не нужно, — прервал он, — но я отец; мне дорого счастье моей дочери... Она, я вижу, страдает; я боюсь... и должен вам открыть... — Тут он нюхал табак и не находил, что сказать.

Я очень ясно понял, в чем дело, и, полагая, что не его, а дочь должен отдарить за труды, им понесенные, рассудил подарить Анисье Ивановне золотой перстень, который маменька, очень любя, носила во всю жизнь до самой кончины, и на нем был искусно изображен поющий петух. Полагая, что такой подарок будет приличен, сказал, право, без всякого дурного намерения: «Мое главное желание устроить ее счастье (разумея перстнем), и если мое счастье такое...»

— Право? — воскликнул Горб-Маявецкий. — Так обними же меня, любезнейший зять! — И с сим словом обнял меня крепко, производя даже икоту, и, не допуская меня ничего сказать, закричал относительно: «Анисинька! Иди обними своего жениха».

Судьба, видно, так устроила, что их Анисинька стояла в то время за дверью, потому что при первом слове нежного родителя она уже и тут и — скок! — прямо мне на шею, и обвила своими руками, и вскрикнула: «Твоя навеки!..»

Никому бы не поверил, если бы не испытывал сам, что значит сила любви и сила судьбы. Я говорил, что не был влюблен в эту Анисиньку, и скажу без меланхолии, прямо: есть ли она, нет ли — для меня было все равно, и если и допускал ей куры, так чтобы не быть для нее скучным. Причем, как в деле прошлом, фундаментально сознаюсь, что когда обнял меня Иван Афанасьевич и назвал зятем, я хотел объяснить ему все дело, и что я, вместо своего

сердца, подношу перстень с петухом, и сказал бы, точно сказал бы; но тут кстати слова стихотворца:

Знать, судьбины так желали!

И я не сказал ни полслова. А тут Анисинька как прищемила меня своим сердцем к своему сердцу, сделалось столкновение наших сердец, а тут, конечно, явился и незванный раздаватель любовного пламени, сам Купидон, или Амур, и поразил своею пламенною стрелою мое сердце, которое так и запылало!.. Недуманно-негаданно я очутился страстно влюбленным в Анисиньку, и — будь я бестия! — если не от одного только ее прикосновения!.. Вся кровь моя взволновалась, в глазах зарябило, ничего ясно не вижу, а кого-то целую и не пойму, кто и меня целует... Для меня это была восхитительная минута...

И слова ее, в существе своем так, флегматические, но как произнесены были ею со всею силою любви, то отозвались во всех пружинах души моей, до того что и я невольно провозглашал: «Твой навеки! как я счастлив!..»

— Нет, я счастлива, что вы избрали меня в подруги своей жизни, — так сказала она, приклонясь к моему плечу... О! она была многому обучена, как окажется после; знала всю иностранную мифологию, оттого и отвечала с такою острою.

Чтоб показать себя, что я недаром жил в большом свете, я начал шаркать и хотел было отпустить какое-нибудь петербургское банмо¹, которых у меня запасено было порядочное количество... но тут открылась новая, трогательная картина...

Когда мы упражнялись в открытии родившейся в нас любви и сообщали друг другу сладостные

¹ Б а н м о (банмо) — острое словечко, острота (*франц.*).

первоначальные объятия, тут явились родители моей Анисиньки, отныне ставшие уже и моими; начали нас благословлять и называть сладкими именами: «Сын... дочь... дети... любите друг друга, будьте счастливы!..» Я не мог утерпеть и пролил несколько радостных, скорбных слез! От сильного чувства я отошел в сторону и предался размышлениям. «Кто бы поверил, чтобы я так был счастлив? Насилу нашлась же девушка, которая полюбила меня до того, что без принуждения выходит за меня. Да еще какая девушка?» Тут я начал смотреть на нее глазами страстного любовника и нашел в ней все совсем противное от первых моих на нее воззрений. Все то, что было в ней нехорошо и даже не нравилось мне, совершенно исчезло и на то место все явилось прелестно. На что ни погляди, как ни осматривай, все восхитительно! Вот какова сила судьбы и сила любви! Кто Трофим Миронович Халаявский и кто Анисья Ивановна Горб-Маявleckая? Восток и Запад. Где был я и где она? На Севере и Юге. А теперь судьба, все это судьба свела и соединила воедино. Судьба, судьба! Кто против тебя!

После первых восторгов и поздравлений новые родители мои начали устраивать благополучие наше назначением для соединения судьбин наших в одну; им хотелось очень поспешить, но Иван Афанасьевич сказал, что ближе не можно, как пока утвердится раздел мой с братьями. Нечего было делать, отложили.

Во все это время я был неотступен от Анисиньки. И сколько я открыл в ней достоинств? Тьфу ты, мои батюшки! Во-первых, она бегло читала всякую российскую книгу; скоропись — середка наполовине, но, протвердивши, уже не запинаясь. Играла на clavире несколько штук и подчас на вариации поднималась. Чуть было только выйду к ней, она

за музыку и примется; не отвечает мне ничего, а все услаждает меня песенками. В такой степени была любовь ее ко мне! Но когда, с громом музыки, начнет петь, то... о, природа! я ничего разительнее не слыхал! До того чувства мои оледенятся, что я нечувствительно усну и сплю крепко близ нее; вселенную забуду! Разбужают уже к обеду; а по обеду опять те же занятия наши. Подумаешь, как сильна любовь в человеческих сердцах!

Странное, однако ж, дело. Когда я сижу близ своей Анисиньки, точно как Амур близ Венеры, тут я чувствую всю силу любви, страстный пламень жжет меня, и я сетую на медленность в совершении нашего брака. Готов был бы в тот же день все покончить. Эти чувства владели мною при ней. Но лишь спускал ее с глаз, чувствовал в себе довольно равнодушия. Даже и не влекло меня к ней никакое внутреннее стремление. Что же? Я забывал даже, что я сговорен и обладаю такою прелестною невестою; но лишь выйду к утру из вежливости, глядь на нее, и как порох вспыхну... к ней — и не отхожу от нее вплоть до вечера. Это, конечно, было во мне борение природы с любовью. Когда я оставлял любовь при Анисиньке и уходил от нее, тогда природа торжествовала; когда же я встречался с Анисинькою, тогда любовь, неотлучная спутница ее прелестей, нападала на меня и прогоняла или усыпляла природу. Другой дефиниции, по методу Галушкинского, я не мог вывести.

Скажу признательно, то есть по совести: брак этот казался мне унижительным для текущей во мне знаменитой крови древнего благородства рода Халявских. Извольте видеть: Иван Афанасьевич был прежде Иванька и, по проворству в своих оборотах, отдан был помещиком своим Горбуновским (древнего рода) в научение одному ходоку по де-

лам, сиречь поверенному, для приучения к хождению по тяжбыным делам, коих у пана Горбуновского по разным судам была бездна; для хождения по коим хотелось ему иметь своего собственного поверенного, на коем он мог бы взыскать в случае проигрыша какой тяжбы; поелику наемные поверенные часто предавались противникам пана Горбуновского и разоряли его нещадно разнородными требованиями. Иванька Маяченко скоро набил руку в делах до того, что товарищи его по ремеслу боялись состязаться с ним. Тяжбы своего пана Горбуновского размножил он до невероятности. Из каждого процесса, кои десятками считались, он развил по шести, по семи. Столетия нужны для окончания всех их.

При подписании сотен прошений Иванька Маяченко подсунь пану Горбуновскому отпускную себе в роды родов и на вечные времена; а тот, не читав, да и подмахни. Хорошо... Вот Иванька и определились в какую-то канцелярию, и выслужил чин, и стал уже Иван Маявецкий. Пан Горбуновский, за своими процессами, этого и не знает, знай подписывает, да вместе и подпиши, что Иван Маявецкий происходит от одного с ним рода благородной крови, в древности именовавшегося Горб, по коему он и пишется Горбуновский; а другая отрасль, от одного Горба происходящая, пишется Горб-Маявleckие, от коих истинно и бесспорно произошел сей «Иван Афанасьевич Горб-Маявецкий» и есть ближайший ему родственник. С такою бумагою Иван Афанасьевич пролез в дипломные дворяне и бросил все тяжбы своего господина.

Пан Горбуновский, узнав все дело досконально, схитрил, зазвал к себе бывшего поверенного, принял его чинно, полюбопытствовал видеть дипломы, положил их на скамью и на них расположил своего поверенного... да так отчистил!.. что тот насилу

встал. Пан Горбуновский прочитал тогда все бумаги, признал и подтвердил правильность их, назвал его своим родственником и чинно отпустил восвояси. Вот ход дела, по коему Иванька Маяченко сделался из крестьян пана Горбуновского сам Иваном Афанасьевичем Горб-Маявецким и новым моим родителем.

Такое происхождение меня крепко щекотало, и что бы сказали батенька, если бы от них зависело согласие на мой брак? Ни за что бы не согласились мешать кровь свою с холопскою. А если бы и маменька вздумали дожить до сего времени? Те бы уже и руками и ногами забрыкали, не соглашаясь, чтобы их невестка «была письменная». О маменька, маменька! Встаньте хоть на часок из гроба и рассмотрите дело! Вы увидите, что уже необходимо женскому полу иметь ум. Без того нельзя. Необходимо знать и науки. Нынче они уже не занимают-ся вашими благодатными предметами, предоставили это своим служанкам-экономкам, а сами... Но что говорить! их не переучишь на старый лад.

А таким-то побытом, на Анисиньке ли бы я женился или на другой какой, все бы жена была умная и ученая. В наше время неизбежно зло — иметь такую жену.

Все это я соображавши в уме своем, когда был без Анисиньки, следовательно, вне любви моей, крепко морщился от неравенства брака, и иногда подчас приходили разные мыслишки: то написать письмо и изложить все препятствия и причины к моему нехотению или уехать, не сказавши, куда и зачем; заехать подальше и жить там, пока судьбина с Анисинькою не устроит иначе. Первое средство было для меня тяжело и неудобноисполнимо: я не мог терпеть никакого писанья. Последнего же не мог исполнить, потому что не имел ни копейки денег на

дорогу, а без того нельзя. Такие мысли колебали меня в моем одиночестве; но когда я выходил в нашу компанию, Анисинька взглядывала на меня своими черными, блестящими глазками, я целовал ей на добрый день ручку, вспоминал, что скоро всеми этими драгоценностями буду обладать бесспорно, вся моя меланхолия и пройдет, и я запыхаю прежним пламенем. Подумаешь, как любовь сильна и всемогуща! Она не смотрит на неравенство рода, на низость крови; все равняет, заставляет презреть все и искать одних наслаждений своих.

Не всегда мы занимались музыкою в нашем любовном обращении. Когда наскучит Анисиньке бренчать на клавире, она и пристанет ко мне: «Полноте дремать; поговоримте, как мы будем жить?»

Тут я ободрюсь и пушусь в рассуждения. По всем предметам у нас будет идти ладно; но в одном мы не согласились тогда, и даже в супружеской жизни: это дети. Анисинька уверяла, что очень хорошо и должно иметь детей побольше, разных полов, потому-де, что сыновья переженятся, дочери выйдут замуж, семейство будет большое; съедутся, будет весело — игры, пляски и разные потехи. NB. Анисинька была веселой комплекции, любила танцевать и хорошо плясывала. Уж как отожжет «казачок» и все двенадцать фигур, как орешек раскусит... О! она в пансионе воспитывалась. Так вот пожалуйста же, обратимся к нашей материи. Я же, напротив, желал небольшого количества детей: две-три штуки — и баста! Знаю по себе, сколько нас было у батеньки: шум, писк, визг! Куда за всеми присмотреть, приодеть их? А вырастут? Шалости, проказы, своевольства... Не хочу большого числа детей.

Анисинька было и рассердится, а я тут и поддамся, начну аллегорически соглашаться, а тут свое думаю. Поддался ей и помирился. В один день,

среди таких нежностей, она спросила у меня: если так страстно люблю ее, то чем это докажу? Я доказательство любви моей обещал выразить на бумаге и завтра представить ей. Она обрадовалась несказанно, даже поцеловала меня и с гримасою, на петербургский штиль, сказала мне: «Так папенька и маменька говорят, что нужно меня обеспечить насчет моего вдовства...»

Я, занятый моим проспектом, спешил удалиться от нее и не очень взял в толк слова ее, почитая их за влияние нежностей; пошел себе и расположился думать... в чем во времени и успел. А вот что: все уверения, все клятвы, все нежности к живой жене — все можно принять за лесть, за аллегория, за критику! Нет, голубушка! умри! Вот тут-то я истощусь в горести, распотешу тебя моим отчаянием! Но как ты будешь уже мертва, следовательно, не увидишь и не узнаешь меры моей горести, так лучше я опишу теперь же, как буду по тебе сходить с ума, сколько волос оборву и как лютomu отчаянию предамся. Читай и плачь о будущей моей горести. Так положивши, я приступил к делу: по методу домине Галушкинского, составил мерку на стихи, схватил бумагу, перо и пошел писать!.. Уж как я писал! И что ни стих, то все мужской, а там женский; и так все попеременно, и ни один стих не перешел через мерку; все в обрез. Рифмы же были самые богатейшие; дешевле полтины и не спрашивай. А вот и сюжет.

Начинаю просьбою, чтобы она умерла, и скорее, дабы я мог доказать любовь свою горестью такою, такою скорбью, отчаянием таким и таким, и пошел, пошел, все, чем далее, тем все выше тоном, все выше тоном, и, наконец, дописался до того, что пишу — «умер и сам».

На другое утро торжественно отнес ей свою —

как бы назвать по-ученому? — не песнь... ну, эпиграмму. Она прочла и при первых строчках изменилась в лице, бумагу изодрала, — у меня и копии не осталось — побежала к новой моей родительнице, но та, спасибо ей! была женщина умная и с рассудком; она, не захотевши знать, за что мы поссорились, приказала нам помириться и так уладила все дело.

Ставши опять на любовной точке, мы сдружились снова, и тут моя Анисинька сказала, что она ожидала другого доказательства любви моей, а именно: как я-де богат, а она бедная девушка, а в случае моей смерти братья отберут все, а ее, прогнавши, заставят по миру таскаться: так в предупреждение того не худо бы мне укрепить ей часть имения...

Я с радостью тотчас согласился, но все же аллегорически, как и о количестве детей, а думал свое, чем и успел совершенно обратить ее ко мне и поставить на прочном основании.

Новый родитель мой, желая поспешить устройством счастья моего, предварительно оканчивал раздел наш. На таков конец просил предводителя миротворством кончить между нами. Предводитель созвал нас, всех братьев, бывших на ту пору дома, и начал нам говорить все умное и дельное. Какая добрая душа была у него, так и сохрани бог! Слыхи честнейших правил человек! Начал с того, что нам, родным, не должно ссориться, а разделяться по согласию; а затем и приступил к расписанию жеребьев и предложил нам взять их. Мы вынули жеребьи, и всякий из нас остался доволен своей частью.

Следовало брату Петрусью удовлетворить нас каждого доходами на часть всякого брата, потому что он один пользовался всем, а нам давал иному мало, а иному, как и мне, вовсе ничего. Батюшки!

Какая пошла тут резня! Меньшие братья, если бы не при предводителе, на кулаки готовы были выйти! Посмотрите же, что может один благоразумный человек сделать с разгорячившимися. Часа через два насилу он уломал и Петруся и нас всех подписать бумагу, сколько кому следует получить. На мою долю приходилось значительное количество тысяч рублей.

Надобно еще обратиться за несколько времени вперед. Один из ближайших сродственников батенькиных, быв человек отличного от нашего времени ума, много путешествовал по всем пределам Российского государства, и что подметит любопытненькое, то и купит. Таким побытом он приобрел довольно количество трубок и табакерок различных сортов, седел, ошейников собачьих, перочинных ножичков, шляп курьезных, пуговиц всяких комплекций и других подобных тому курьезных вещей. На что и для чего? — кроме его, никто не скажет; но надобно отдать справедливость: все эти вещи были отличной доброты и фасона. Кроме того, он, по комплекции своей, очень любил книги. И каких книг не насобиравал он?! Это прелесть! Теперь таких книг и у разносчиков не отыщешь. Как теперь несколько помню, там были: Похождения Клевеланда, побочного сына Кромвеля; Приключения маркиза Г.; Любовный Вертоград Комбера и Арисены; Бок и Зюльба; Экономический магазин; Полициона, Храброго Царевича Херсона, сына его, и разные многие другие отличных титулов. Да все книги томные, не по одной, а несколько под одним званием; одной какого-то государства история да какого-то аббата, — книг по десяти. Да в каком все переплете! Загляденье! Все в кожаном, и листы от краски так слепившиеся, что с трудом и раздерешь.

Вот этот родственник все эти вещи и книги тща-

тельно хранил, и уложенных в короба никогда не разворачивал, боясь подвергнуть все это изъяну, и в таком положении умер. Как же был бездетен, то по мере любви своей отказал сродственникам, по значению, вещи. По особенной аттенции своей к моему батеньке, отказал им свое книгохранилище. Когда это все привезено было к батеньке, то они сначала разозлились было очень за такой, по их размышлению, вздор; а походив долго по двору и рассудив со всех сторон, решили принять, сказав: «Может, мои хлопцы — то есть мы, сыновья его — будут глупее меня, не придумают, чем полезнейшим заняться, как только книгами. Спрятать их бережненько». Вот это книгохранилище и запрятали в погреб, где стояли бочки с наливками. Там оно и пробыло до теперешнего момента раздела.

Разделившись всякою рухлядью, у нас дошло и до книг. Как ими делиться, вопрос был нерешимый. Петрусь, как гений ума, тотчас меланхолично предложил: выбрать ему следующее количество книг, по числу всей массы; за ним выбираю я столько же, и так далее, до последнего брата, коему останется остаток. Меньшие братья мои, быв натуральны, за книгами не гонялись и, чтобы показать нравственность старшему брату, тотчас и согласились; но я, я, санкт-петербургский жилец, следовательно, почерпнувший и тамошние хитрости, я предложил новый метод делиться книгами, едва ли где до нас бывший и весьма полезный по своей естественности и который должны принять за образец все братья, разделяющие отцовское книгохранилище. Вот мой метод: «Брат Петрусь! Вы у нас старший, вы берите первый том; я по старшинству за вами возьму второй, за мною берет Сидорушка третий, Офремушка четвертый и Егорушка пятый. Это книги томные. А одиночки и оставшиеся из томных, за недостаю-

щим числом братьев, поставить по порядку и брать каждому по книге, начиная с старшего брата». Метод мой очень понравился предводителю; он от удовольствия так и прыснул, и залился смехом, и очень похвалил мою выдумку. Так Петрусь же на стену полез! Кричит, спорит и требует, чтоб интересная книга не была разделяема. «Покорный слуга! Так это и отдай всего Клевеланда, а самому «тютюти»? Нет, любезнейший братец! Книга редкая, интересная, и я хоть частичку ее желаю иметь. Что за нужда: вторая ли, четвертая; без начала ли повесть, без развязки, да Клевеланд — мое, мне по праву наследства принадлежащее. Не уступлю ни за какие предложения». Так я резал брату Петрусью. И хотя он гений, а я петербур... не знаю, как дописать? — *гец или жец?* — он с умом, а я с хитростью, я и переспорил его; а меньшие братья шли по ветру: кто громче кричал, они с тем и соглашались. Настоящая маменькина комплекция была у них, а особливо в предмете, не интересующем их; начини же обсчитывать их в рубле, тут вспыхнет батенькина природа, и резаться готовы.

Таким побытом удержав свое право, я из всех отличных книг получил вторые и седьмые томы. Брат Петрусь, пересмотрев свои, как взбегается, что у него не полные сочинения. Меньших братьев тотчас и одурил; предложил им первые томы отличного песенника, сочиненного Михайлом Чулковым, и Российского Феатра, сочинения Веревкина; те по глупости и обменялись на какие-то хозяйственные. Захотелось было и меня «надуть», как говаривал доmine Галушкинский. Крепко ему хотелось отжилить доставшиеся мне вторые части: Экономического магазина, не помню, чьего сочинения, и Мирамонда, сочинения знаменитого и навсегда бессмертного Ф. Эмина. Предлагал мне какую-то архитектуру с

рисунками. А на черта мне она? Я не плотник; а хорошенькое ради скуки люблю и сам прочитать. Сколько брат ни бился, сколько ни просил, но я твердо помнил правило, поставленное у нас на случай разделов: чего брату хочется, не уступай ни за какие предложения, ни за какие просьбы; благо имеешь случай причинить досаду тому, кто берет у тебя следующее тебе. Не будь его на свете, тебе не нужно бы и делиться. И я удержал книгу за собой, к немалому увеселению нашего почтенного предводителя, который во все время похвалял как выдумку, так и твердость мою и довольно хохотал.

Оставался еще один спорный пункт. Был один особнячок десятин двадцать, и на нем лесу строевого двенадцать десятин, и в нем сад из отличных прищеп различных сортов. Батенька-покойник с большим тщанием доставали из Опошни прививок плодовых и сами своими руками щепали и окулировали. Одним словом, сад был чудесный! В саду пасаека, ульев до двухсот; при нем пруд с рыбою и мельница, дававшая доход. Местечко это нравилось всем нам, и ни один из братьев не соглашался уступить другому ни полступня. Крику и упрекам не было конца.

Бедный предводитель, уговаривая нас, выбился из сил. За меня стоял новый родитель мой, Иван Афанасьевич, и какими-то словами как спугал братьев всех, что те... пик-пик!.. замялись, и это место вот-вот досталось бы мне, как брат Петрусь, быв, как я всегда говорил о нем, человек необыкновенного ума, и, в случае неудачи, бросающий одну цель и нападающий на другую, чтоб смешать все, вдруг опрокидывается на моего нового родителя, упрекает его, что он овладел моим рассудком, обобрал меня и принуждает меня, слабого, нерассудливого, жениться на своей дочери, забыв то, что он, Иван

Афанасьевич, из подлого происхождения и бывший подданный пана Горбуновского...

Господи! Как же взбесится мой новый родитель! Тотчас запротестовал в начале Петруси произвести личную ему обиду, а тут и начал упреками, укорами, доказательствами в таких делах, что это прелесть! С грязью его смешал! И пошло, пошло! Кстати тут сказать, что и я вступился за свою обиду. Как-таки публично назвать меня нерассудливым, а будущую жену мою — подлого рода? Мы с ним имели процесс и выиграли его. Стоило нам каждому до пяти сот, а присудили Петруся заплатить новому родителю моему бесчестья два рубля пятьдесят копеек, а против меня быть впредь скромнее. А что, Петрусь? что, взял? Победа была на нашей стороне. Но это дело особь сторона: рассказана пятилетняя тяжба для блезиру. Обратимся к нашему предмету.

Как ни мучился предводитель с нами, но ничего не успел; а мы, досадуя один на другого и не желая, чтоб кто из нас получил выгоду от того хуторка, решили: лес и сад изрубить и медом разделиться, плотину уничтожить. Каждый из нас торжествовал и в глаза шикал друг другу: «А что, взял? Воспользовался садочком, медком от пчел? Вот возьми!» Предводитель насилу нас разнял и, кончив дело, почти прогнал от себя. На этом мире мы больше перессорились, нежели до того были, и уже никогда не были в ладу, исключая встречающейся надобности одного в другом. Тогда нуждающийся и приедет, примирится аллегорически: да как успеет в своем желании, снова зассорится, насмеяется, что тот поверил ему, — и пошло по-прежнему.

Я очень удивился, когда Петрусь, при предложении удовлетворить меня в неимении дома, предложил мне жить в своем доме. А каков этот дом.

так это картина! Каменный, в два этажа под железом, не бойся ничего. В каждом этаже по двенадцати комнат. Чудо! Это такой дом сварганил брат Петрусь. Необыкновенный ум! Вот он, с первого слова, дает мне целый этаж, да еще верхний, парадный, отлично изукрашенный, и дает с тем, что каждый из нас есть полный хозяин своего этажа (Петрусь оставил за собою нижний, а мне, как будущему женатому, парадный), и имеет полное право, по своему вкусу, переделывать, ломать и переменять, не спрашивая один у другого ни совета, ни согласия. Хорошо. На том кончили, подписали бумаги и потом все статьи, вместо примирения, кончили, как я описал. Предводитель даже перекрестился, проводив нас, и потом везде описывал нас весьма невыгодно... Ему извинительно. Он пришел к нам из другой губернии, и это первое встретилось ему казусное дело наше. Потом он прикусил язык. Где дележ, там и ссора. Богатые ссорятся, что есть чем делиться; а бедные ссорятся, что нечем делиться. Это не нами выдумано.

Еще вот в чем чуден мне предводитель. Слышал я, что он, по сторонам рассказывая о нашем дележе, винил моих батеньку и маменьку, что не заботились о нашем воспитании и не поселили в нас благородных правил. Наше воспитание было всем видимо; своими же детьми не мог похвалиться: сухие и тощие, точно щепки. А правила нам преподавали и пан Кнышевский, и доминe Галушкинский по всем предметам. Какие же другие правила были бы у нас, кроме благородных, когда мы самые благороднейшие и в нас течет древняя дворянская кровь? Не нравилось предводителю то, что мы за свое резались и при лишнем рубле забывали, что дело имеем с родными братьями. Так это, по его правилам, что брату только понравилось, так и

уступай ему, а сам довольствуйся его нежными обниманьями? Нет, прошу погодить! Это они вводят такой метод, а будет ли он полезен частно, еще увидим. По моему рассуждению: брат ли он мне, сват, а своего, на нож готов, а не поступлю. Много можно бы об этом наговорить, но нынешние люди не поймут нас. Замолчим и обратимся к приятнейшему сюжету.

С окончанием раздела пресеклись все препятствия к судьбе моей. Новый родитель мой вывел счет, что стоила поездка в С.-Петербург, жизнь там и здесь у него в доме, все расходы по делу, и на все это требовал от меня заемного письма — это ргимо. Потом, находя необходимым, чтобы моя жена принесла мне отличное приданое, заказал все доставить из Полтавы и из Роменской ярмарки, все же на мой счет. А в заключение тестюшка мой расчислил, сколько придется на часть жене моей, если я умру, из движимого и недвижимого, и на все это поднес мне для подписания бумагу, укрепляющую ей все это заживо при мне. Но нет, новый мой батенька! Я вам не Горб, прежний ваш помещик, с которым вы что хотели, то и делали; я вам не поддамся.

Посмотрев бумаги и разочтя, я увидел, что Анисинька будет для меня очень недешева. За мою сумму, платимую за нее, можно бы купить порядочную деревню, а тут я беру одну только штуку. Сообразивши все это, я начал не соглашаться и деликатно объяснять, что не хочу так дорого платить за жену, которая, если пришлось уже правду сказать, не очень мне-то и нравится (Анисиньки в те поры не было здесь, и потому я был вне любви), и если я соглашался жениться на ней, так это из вежливости, за его участие в делах моих; чувствуя же после поездки в Санкт-Петербург (тут, для важ-

ности, я выговаривал всякое слово особо и выразно) в себе необыкновенные способности, я могу найти жену лучше его дочери — и все такое и объяснял ему.

Новый или, лучше сказать, сомнительный батенька мой сконфузился крепко от моих объяснений чистосердечных, вспотел, утирался и, собравшись с духом, начал — да как? — и грозил судом, исканием бесчестья, вечным процессом: но я, как гора, был тверд и уже начинал было разгорячаться, а избави бог мне разгорячиться! Тут я никого ничем не уважаю; не слушая ничего, наговорю такого, что и в душу не полезет; но в отвращение всего этого вдруг, где ни возьмись — Анисинька! Кажется, отец мигнул, чтоб за нею сходили. Она, в легком убранстве, как-то располагающая к любви, вдруг выскочила и сломя голову прямо мне на шею... плутовка! знала силу своих прелестей!.. и ну меня обнимать, прижимать, ласкать, целовать и разными невинными именами называть. «Он подпишет, — то и дело кричит, — он подпишет; он умница, он душенька, он красавчик...» — и се и то, все от чистого сердца мне твердит: «Он подпишет!..»

Бух!.. осыпаемые ее ласками, нежностями, не возражая ничего, я освободил из ее рук свою и подписал все, что мне ни подложили. И кто бы не подписал даже смертного на себя приговора, если бы побуждала его к тому молоденькая девушка, в утреннем платьице, полузакрывающем все заветное, охватившая своими ручками, целующая вас... не она, так канальские прелести ее убедят, как и меня. Я ни о чем не думал, ничего не расчислял, а только глядел... нет! скажу прямо: велика сила любви над нами, смертными!..

Как скоро я подписал все, так все приняло другой вид. Анисинька ушла к себе, а родители при-

нялись распоряжать всем к свадьбе. Со мною были ласковы и обращали все, и даже мои слова, в шутку; что и я спокойствия ради подтверждал. Не на стену же мне лезть, когда дело так далеко зашло; я видел, что уже невозможно было разрушить. Почмыхивал иногда сам с собою, но меня прельщали будущие наслаждения!

Не замедлило все устроиться. Приданое все привезли,— и что за отличное было! — сшили, уладили все, сложили, назначили день свадьбы и пригласили ровно сорок человек гостей. Надобно вам сказать, что новая моя родительница была из настоящей дворянской фамилии, но бедной и очень многочисленной. Новый родитель мой женился на ней для поддержания своей амбиции, что у меня-де жена дворянка и много родных, все благородные. Тетушек и дядюшек было несметное множество, а о братьях и сестрах с племянничеством в разных степенях и говорить нечего. Оттого-то столько набралось званных по необходимости.

Как ни заботился мой новый батенька, чтобы ни перед кем из званных не упустить ничего из вежливости, дабы не навлечь себе неприятностей, но не остерегся. Пославши ко всем письма от одного числа, к одной двоюродной племяннице послал уже на завтрашний день. Та, узнав о такой ошибке, прислала к нам с большим упреком, что Иван Афанасьевич и все его глупое семейство уважает троюродных больше, нежели двоюродных, что прислал к ней приглашение после всех; что после этого, будь она проклятая дочь, если не только на свадьбу, но и никогда к нам не будет; знать нас не хочет и презирать будет вечно.

Одной тетушкой у меня стало меньше — что делать!

Настал день свадьбы. С вечера еще съехались

все гости и гуляли на девичнике без всяких счетов. Анисинька моя была весела, чем и возбуждала любовь мою, отчего и я был в кураже и старался знакомиться с новыми родными; но от множества их путался в именах и называл одного вместо другого. Угощение было всем равное и отличное.

В день же, назначенный для перемены судьбы моей, я разрядился как только можно лучше, по самой последней моде, в Санкт-Петербурге мне сшитой, и притом добавил чем только мог, чтоб казаться совершенно санкт-петербургским франтом. От восхищения собою и оттого, что я, наконец, женюсь, и земли не слышал под собою; не оставлял ни одного зеркала, чтобы не полюбоваться собою; беспрестанно оборачивал голову, любясь мотающимся у меня назади пучком, связанным из толстой моей косы. Прическа волос была на мне отлично устроена перукмахером городничего, в малолетстве учившемся также в Санкт-Петербурге. Я также любовался стальными пуговицами на кафтане и беспрестанно наводил их на солнце, чтобы отсвечивали на стену. Камзол у меня был вышит разными шелками, да как искусно. Пряжки на ногах и далее, блестящие... одним словом, совершенный петиметр!

Когда собрались все гости и уселись чинно, тогда вывели не Анисиньку уже — а Анисью Ивановну. Тьфу ты, батюшки! Что за деликатес! Как пава выплыла.

Убранство на ней было все преизрядное и драгоценное! «Брильянт!» — воскликнул я сам себе, глядя на нее. В самом деле, было на что посмотреть! Не умею описать, как она была убрана, а знаю, что блеску много было. Я утопал в восхищении, зная, что это все мое и для нее купленное.

Нас благословили и обвенчали, как водится. Один из родных был одет маршалом, украшен цвет-

ными перевязями и с пребольшим жезлом, также изукрашенным развевающимися разноцветными лентами. Шесть шаферов, с алыми бантами на руке, исполняли все его препоручения. Эти чиновники предшествовали нам к венцу и от венца.

Должно полагать, что я был очень хорош, когда стоял под венцом. Все тут присутствовавшие девушки смотрели на меня с удовольствием и тихо перешептывались между собою. Нельзя же иначе. Во мне была тьма приятностей.

По совершению моего счастья, когда мы возвратились в дом родителей наших, они встретили нас с хлебом и солью. Хор музыкантов, из шести человек, гремел на всю улицу. Нас посадили за стол, и все гости сели на указанные места, по расчету маршала.

Не успели порядочно усесться, как из гостей — она была не кровная родственница, а крестная мать моей Анисьи Ивановны; как теперь помню ее имя, Афи́мья Бори́совна — во весь голос спрашивает мою новую маменьку: «Алена Фоминишна! Когда я крестила у вас Анисью Ивановну, в какой паре я стояла?»

— В первой, как же? в первой,— отвечала моя теща.

— А вот эта сударыня? — сказала Афи́мья Бори́совна, указывая на даму, сидящую выше ее.

— Во второй.

— Отчего же это, когда дело дошло до почета, так я ступай на запятки, бог знает к кому? Зачем она у вас выше почтена?..

— Кроме того, что она и кума, хотя и во второй паре,— отвечала теща,— но она жена моего троюродного брата, так потому...

— Так потому? Ни за что в свете не вытерплю такой обиды! — закричала Афи́мья Бори́совна.

Глаза ее расплывались, она выскочила со стула, бросила салфетку на стол и продолжала кричать: «Кто-то женился бог знает на ком и для чего, может, нужно было поспешить, а я терпи поругание? Ни за что в свете не останусь... Нога моя у вас не будет...» — и хотела выходить.

Как та сударыня, которая сидела выше Афимьи Борисовны, вдруг вскочила да за руку ее и ну кричать: «Постойте! Почему я сударыня? Почему я бог знает кто? Почему я спешила замужеством? Докажите! Гости любезные! Прошу прислушать. Я на нее подам прошение. Батюшка Иван Афанасьевич, защитите обиженную у вас в доме. Вы на то хозяин...» — та-та, та-та... и пошла схватка! Обе барыни сцепились между собою и кричали обе вместе. Сколько их хозяин и маршал ни унимали, сколько ни уговаривали, но не могли ничего сделать. Они обе уехали от обеда, поклявшись не быть никогда у нас.

Еще двумя тетушками с костей долой.

По уходе их все успокоились и пошло чинно. Вместе с раздачею горячего начались питья здоровья. Начали с нас, новобрачных. Весело, канальство! Когда маршал стукнет со всей мочи жезлом о пол и прокричит: «Здоровье новобрачных, Трофима Мироновича и Анисьи Ивановны Халявских!» Я вам говорю, восхитительная минута! Если бы молодые люди постигали сладость ее, для этого одного спешили бы жениться.

После наших здоровьев пили здоровья родителей родных, посаженных; потом дядюшек и тетушек родных, двоюродных и далее, за ними шла честь братцам и сестрицам по тому же размеру... как в этом отделении, когда маршал провозгласил: «Здоровье троюродного брата новобрачной Тимофея Сергеевича и супруги его Дарьи Михайловны Гне-

динских!» — и стукнул жезлом, вдруг в середине стола встает одна особа, именно Марко Маркович Тютюн-Ягелонский, и, обращаясь к хозяевам, говорит:

— Любезнейший дядюшка Иван Афанасьевич и любезнейшая тетенька Алена Фоминишна! Благодарю вас всепокорнейше за хлеб-соль и угощение, а особенно за почет вашего двоюродного племянника. А от дальнейшего угощения прошу великодушно уволить!

— Как? Почему? — спросили новый мой батенька. — Разве?..

— Честь моя требует выйти от стола, где дан преферанс предо мною троюродному вашему племяннику; а я, кажется, двоюродный.

— Так что ж, что двоюродный? — с прикриком сказали батенька. — Но ты холостой человек, а Тимофей Сергеевич женатый! Ты еще без чина, а он майор. Посиди, будем пить и твое здоровье.

— В свиной голос? — сказал азартно Тютюн-Ягелонский. — Благодарю за честь! Неужели я должен быть унижен, когда во мне вашей супруги кровь, и унижен за то, что у Тимофея Сергеевича пузо в золоте.

Тимофей Сергеевич, как майор, имел на себе камзол с позументами и был пузаст.

Майор так и вскипел было за честь свою, но вдруг одумался и сказал: «Но я не баба, чтоб из пустяков портить аппетит. Дообедаю и поговорю с тобою».

— Не беспокойтесь ожидать, — сказал Тютюн-Ягелонский, — я отказываюсь не только от обеда, но и от родства. Нога моя не будет у вас, и не признаю вас дядею за оскорбление моей чести. — С этим словом ушел и он.

Вот и братец один со счета вон.

Полагаю, если бы обед еще продолжался и пи-

ли бы вновь здоровья, то все бы родные нашли причины почитать себя униженными, рассердились и оставили бы нас одних оканчивать свадебный пир.

Но остальная часть обеда кончена благополучно, и все здоровья, по расписанию, допиты покойно. После обеда пошли пляски. Надобно было видеть меня в польском, как я манерно выступал с своею новобранною! После нее я сделал честь всем дамам и барышням, проплясал с ними польский, и потом открылись веселые танцы. Тут уже отличилась моя Анисья Ивановна, и какими фигурами она выводила каждую пляску, так это на удивление! Я мог бы и сам пуститься выплясывать, хотя и не учился вовсе, ступить не умел; но мне, бывшему в Санкт-Петербурге, все сошло бы с рук; если бы и фальшь какая замечена была, не почли бы за фальшь; подумали бы, что так должно выкидывать ногами по-санкт-петербургски. Итак, я все сидел с скромными старичками и занимался разговорами. Я им рассказывал о Санкт-Петербурге, о тамошних обычаях, что слышно было там во время моего пребывания. Слушающие смотрели на меня с отличным уважением. Да, у нас не просто смотрят на того, кто побывал в столичном городе Санкт-Петербурге. Зато же и говори — не бойся; наври чего хочешь, всему поверят. Они почитают, что там-то все необыкновенное. Издали так; а побывай, вот как и я побывал, осмотри все с таким примечанием, как и я, так, право... ну лучше замолчу.

Какую же отлил со всеми нами штуку брат Петрусь, так на удивление! Быв ума необыкновенного и духа предприимчивого, вздумал так всех нас обидеть, что никому бы подобное и на мысль не пришло.

Среди развалу нашего веселья, когда молодые танцуют, а степенные люди сидят и угощаются жидкостями, вдруг подают письмо моему новому батень-

ке. Они, полагая, что есть нечто важное, при всех распечатывают, прочтя несколько раз, бледнеют, комкают письмо, бросаются схватить посланного, но его и духу нет, словно исчез. Оправившись не скоро от своего смущения, потом показали мне это ужасное письмо... и что же? Какой-то Терешка Маяченко, якобы дядя Ивана Афанасьевича, моего нового родителя, пишет к нему и пеняет, что не позвал его, как ближайшего своего родственника, на свадьбу своей доченьки Аниськи и прочее такое.

Ни этого дяди нет на свете, никто и письма не писал; а это брат Петрусь отлил такую штуку, чтобы уязвить моего батеньку и меня. Ему, конечно, досадно было, что я и моложе его, но уже наслаждаюсь брачной жизнью, а он сидит в холостых. Вот он и за насмешки. Почерк его я тотчас узнал и сказал новому батеньке. Они было взбесились сначала куда как. Письмо приобщить к делу, подать новое на Петрусю прошение, просить о бесчестии... но потом и присели, затихли и замолчали, а письмо уничтожили; видно, боялись, что по следствию открылось бы, что Терешка в самом деле ближайший нам родственник...

Затейливый дух Петруся этим не удовольствовался: он еще придумал новое нам огорчение. Утром очень рано, на другой день свадьбы, когда я еще в «храме любви», то есть в парадной спальне, покоился на роскошной постели и погружен был в сладкий сон, вдруг услышал я страшный стук в дверь, запертую от нас. Испуганный, бросился я к дверям и, не отпирая, спрашивал: кто стучит и зачем?

— Трофим Миронович! — сказал громко грубый голос. — Скажите подданной пана Горбуновского, Аниське, что теперь у вас, чтобы скорее поспешила к своему барину на кухню мыть посуду.

Поспешно схватил я верхнее платье, отпер дверь, бросился за дерзким, кликнув людей; но нигде не могли его найти, а сказывали, что у ворот останавливалась тройка и в повозке сидел брат Петрусь. Его великого ума была эта новая мне обида, о которой я не сказал ни батеньке, ни даже моей Анисье Ивановне. Она была в глубоком сне и ничего не слыхала.

Утром, после обыкновенных поклонений родителям, поднесения им от меня подарков, ими же для себя купленных, и приняв от них кучи желаний здоровья, благополучия, многочадия и всего, всего со всею щедростью желаемого, мы приступили обдаривать новых моих родственников. Но как ни заботились, чтобы каждому было приличное и соразмерно степени родства, но не предусмотрели всего и навлекли неприятности.

Майору подарили серебряного глазету на камзол. Он, рассмотрев, швырнул его в глаза Анисье Ивановне, сказав: «Нейдет, голубушка, серебра дарить мне на камзол, когда я выслужил золотой». Он был пехотный майор и носил красный камзол с золотыми галунами.

Особливо от женского пола было много упреков: одна сердилась, что подаренная ей материя вовсе будет не к лицу и она будет казаться старше, нежели есть; другая швыряла свой подарок с презрением затем, что дальней родственнице поднесли лучше, нежели ей, ближайшей. Были расчеты и в том, кому прежде и кому после поднесли подарок. Пожилая девушка, обидясь, что ей дарили темного цвета материя, а не светлого, швырнула мне, новому родственнику, и сказала: «Возьмите назад себе: как умрет ваша жена, так покройте ее этой дрянью».

Вот такова-то от всех была благодарность, если не за усердие, так за долг наш, исполненный на-

ми весьма неохотно, а в особенности мною, потому что все это куплено было на мой счет. Спор, упрёки, обидные слова слышимы от них во все утро, и все эти обиженные родные после обеда (а обедать остались-таки) тотчас и разъехались.

Мы не были этим огорчены, постигая, что они так поступили от аллегорички: притворно обижались, чтобы не соблюсти политики и не отдаривать нас взаимно. Мы ожидали такого пассажа от них.

Отдохнув немного после свадебного шума, новые мои родители начали предлагать мне, чтобы я переехал с женою в свою деревню, потому что им-де накладно целую нас семью содержать на своем иждивении. Я поспешил отправиться, чтобы устроить все к нашей жизни, и, признаться, сильное имел желание дать свадебный бал для всех соседей и для тех гордых некогда девушек, кои за меня не хотели первоначально выйти. Каково им будет глядеть на меня, что я без них женился! Пусть мучатся!

Фу, какой знатный дом брат Петрусь взбудоражил, так это на удивление! И верхний этаж мой!.. Да какие комнаты, какое убранство!.. Туда пойдешь, там зеркало и кресла; сюда посмотришь, тут софы и столы... да чего? все и везде было аккуратно, и я, как бывший в столице, тотчас заметил, что все по санкт-петербургскому методу. Чрезвычайно меня восхитил дворецкий, сказав, что хотя все эти вещи и убранства барина его Петра Мироновича, но как их некуда снести, то они останутся в моем распоряжении до времени, с тем, однако ж, чтобы все было в целости сдано и бесспорно. Я охотно согласился и секретно благодарил брата за такое снисхождение. Где бы я мог достать столько отличных вещей и в такое короткое время?

Осмотрев все в доме, я озабочился рассмотреть и расчислить, буду ли иметь возможность дать же-

лаемый бал. К утешению моему, все было в порядке и ни в чем не было недостатка. Птицы и прочей живности, по методу маменьки-покойницы выкормленной, равно и прочего всего, было в изобилии; оставалось закупить вин и всего нужного, и я был в состоянии все это сделать: денег хотя издержал много, но брат Петрусь должен мне был более того, и векселек от него лежит у меня за пазухою. Я решился блеснуть. Новый мой батенька зазывал сорок персон, а я катнул на восемьдесят. Знай наших Халявских! Целый вечер, и даже за полночь я, все от скуки без жены, писал зазывные письма и только к свету уснул.

Что же? в самое то время, когда я находился в приятнейшем положении и, говоря по-пиитически, божок Морфей осыпал меня маковыми цветами, то есть когда я, со всею нежностью, спал сладким сном, вдруг разбужен был страшным ревом и гулом!.. От сна мне показалось, что это новая моя родительница шумит с служанками, что я, живши у них, слышал каждое утро; но нет; прислушавшись, нашел, что все еще грубее и сильнее. Посылаю человека узнать, что это такое, — и мне говорят, что это брат Петрусь забавляется, приказав своим псарям трубить во все рога изо всей мочи. Мало того: туда же приведены были собаки, кои подняли ужасный вой.

Я рассердился ужасно и послал Петрусе сказать, чтоб он унялся с своею чертовою музыкою и не мешал бы мне спать.

«Он в своей половине дома может делать что хочет, а я в своей поступаю по своей воле», — был ответ Петруся, — и гул рогов усилился, собаки снова завывали, и прибавилось еще порсканье псарей. Что прикажете делать? Петрусь имел право поступать у себя как хочет, и я не мог ему запретить. Подумывал пойти к нему и по-братски поискать с ним

примирения, но амбиция запрещала мне унижаться и кланяться перед ним. Пусть, думаю, торжествует; будет время, отомщу и я ему.

Я с ним не встречался; но когда, распорядивши все, собирался ехать к своим, то — нечего делать! — послал к нему сказать мой поклон, что я дня через три буду с моей женой, а в следующее воскресенье будет у меня здесь свадебный бал и что гости уже званы, так чтобы сделал мне братское одолжение, не трубил бы по утрам и ничего бы не беспокоил нас по ночам и во время бала, за что останусь ему вечно благодарным.

К удивлению моему, он поручил мне отвечать деликатно, что во все время, пока проживает здесь любезнейшая его невестушка, он ни ее, ни гостей моих не беспокоит ничем.

Я поехал покойнее, и хотя сомневался, чтобы он сдержал слово, но нечем было переменить: гости все званы были прямо в эту деревню и у меня в виду не было другого места для бала. Положась на честь брата Петруся, я удалял беспокойные мысли.

В доме новых моих родителей мы скоро уложили свое приданое и отправили в деревню — поверите ли? — на сорока подводах! Конечно, размещено на каждую было всего понемногу, но все же сорок! Все, видевшие этот обоз, с любопытством расспрашивали, что везут, и, узнав, восклицали: «Вот Горб-Маявецкий какой богатый, что столько за одною дочерью дает! Да, видно, и пан Халаявский (до женитьбы моей меня, как обыкновенно, называли только панычем, а с того времени целым «паном» величать начали) себе на уме, что такую подхватил!» А того и не знали, что приданое было на мой счет сделано, но суждения их тешили мой гонор и амбицию.

Прибыв в деревню, я располагал всем устрой-

ством до последнего: назначал квартиры для ожидаемых гостей, снабжал всем необходимым, в доме также до последнего хлопотал; а моя миленькая Анисья Ивановна, что называется, и пальцем ни до чего не дотронулась. Лежала себе со всею нежностью на роскошной постели, а перед нею девки шили ей новое платье для балу. Досадно мне было на такое ее равнодушие; но по нежности чувств моих, еще несколько к ней питаемых, извинял ее.

Скажу вам о нашей перемене. С самого дня свадьбы Анисья Ивановна перестала быть ко мне ласкова и не оказывала вовсе нежностей, коих я ожидал и как бы следовало от новобрачной жены. А оттого, как я рассказывал вам про свою комплекцию, что без ее ласк не чувствовал к ней любовного влечения, то теперь, по совершении брака, я заметил, что, при ее холодности ко мне, и я делался холоднее. Видно, реверендиссиме Галушкинский, как во всем, так и в этом, говорил правду. Он риторически доказывал, что божок Амур есть великий шалун и большой мучитель человеческого рода, тешащийся страданиями нас, влюбленных. Возжет обоюдное пламя и, соделав нежно любящихся счастливым чрез любовь, вмиг улетает, исторгнув и самые стрелы из пронзенных сердец, и тогда на этих любовников с их любовью — хоть наплевать. Видно, и мы стали такими. Посмотрим на последствия.

Ночи мы проводили покойно, то есть со стороны брата Петруся не было ни трубления в рога и никакого шума, как он и обещал; но все же не пришел познакомиться с своею любезнейшею невесткою, как долг от него требовал, по решпекту к прекрасному полу. Правда, ведь он не был в Санкт-Петербурге, как, например, хоть бы и я.

Все к балу уже было устроено. Не было уже у

нас городского «кухаря», как в оное время, при жизни покойников, моих истинных родителей; повара ученого я у себя не имел и за собою жена в приданое не привела... Ох, мне это приданое! Придало оно мне много долгу и потом беспокойств — выплачивать его!.. но не о том речь. И так как простые куховарки, готовившие нам кушанья, не могли скомплектовать нам «званого обеда», или, как называлось это во дни батенькины, «банкета», то я и должен был отыскать известного своим талантом повара. Таковой был у нашего предводителя. Он учился у отличных по этой части немцев — и во время открытий наместничеств в нашем крае был при кухне наместника. Славился знающим свое дело и разумеющим кондитерское. Он был приглашен мною; спросил, на сколько персон готовить; договорился в цене и потребовал дать ему во всем волю. При договоре я спросил у него, на сколько перемен он располагает стол. Но он посмеялся над бывшим временем, покритиковал прошедшее, похвалил теперешнее и начал требовать продуктов целые горы.

Вот уже и пятница. К вечеру приехали наши дражайшие родители. Мы их встретили со всею политикою и чванно. Они были нами довольны. Хвалили все. Новый мой батенька поощряли меня прилежнее наблюдать за хозяйством и извлекать больше доходов; а новая моя маменька настаивали, чтобы я не копил денег и, не жалея их, доставлял бы удовольствия, каких пожелает жена моя, «яко в целом мире единственный друг мой». В таких полезных нам и приятных в особенности для жены моей, а их дочери, советах и разговорах проведши весь вечер, легли спокойно спать.

В субботу мне понадобилось встать пораньше и сойти вниз. Я поспешаю на парадную лестницу... и вообразите мое удивление! не нахожу лестницы:

она исчезла... сломана от самого низу до верху, и признака не осталось, чтобы она существовала!.. Не имея времени размышлять, отчего и как это случилось, я побежал на домашнюю лестницу... и о, ужас! и там то же. Ни малейшего признака лестничного!.. Я пришел в неизъяснимый восторг! Как? Я, жена и новые мои родители остались одни в пустом доме, как на необитаемом острове. Мы одни, то есть одни наши персоны были здесь, а все, без изъятия все, в чем и до чего мы могли иметь нужду, все осталось в кладовых и вообще внизу. Как пройти туда? Как сойти вниз? Как добраться, куда нам надобно? К вечеру же начнут приезжать гости; как мы их введем без лестниц к себе? Не на веревках же их поднимать вверх и опускать вниз?

После таких запутанных идей и жестокого беспокойства мне пришло на мысль: отчего же это лестниц нет? Не сломал ли кто их? И кто бы это так наштукатурил? Стесняемый и мыслями и всем, я начал сперва ворчать, потом говорить, а далее уже кричать, стуча от гнева сильно ногою.

Не увидел, откуда явился внизу брат Петрусь и отозвался ко мне будто и чистосердечно, с приветствием: «А, здравствуй, любезный Трушко! (Прилично ли женатого человека называть полуименем? Подите же с ним!) Здравствуй! Здорова ли моя вселюбезнейшая невестушка? Не угодно ли вам родственному пожаловать ко мне чаю напиться?»

Я, по собственной моей комплекции не подозревая, что он говорит аллегорикою, с признанием отвечал ему, что охотно бы пожаловал я и жена моя, но у нас лестницы ни одной не стало...

— Ничего, братец! — сказал он. — Можно спрыгнуть. Оно не так высоко, как кажется.

— Хорошо туда; а оттуда как? Ты мне, братец, скажи, где девались наши лестницы?

— Лестницы... — сказал меланхолично, как будто бы спрашивал себе стакан воды испить. — Я приказал их сломать обе.

— На что? — вскрикнул я, уже начиная приходить в азарт.

— Они были мне вовсе не нужны, так я и приказал их сломать. — Сии слова он произносил с великим смехом, что меня еще более оконфузило.

— Как же вы смели их сломать? Как же мне быть без лестницы? Как мне сойти вниз?

— А мне что до того за дело? Нижний этаж и в нем, что ни есть, все мое собственное: я властен распоряжаться.

Как сказал он эти слова, у меня дух замер. Точно так. По разделу, при предводителе сделанному, так точно было постановлено. Теперь я все-семейно пропал в этом ужасном доме, откуда ни нам сойти, ни к нам никому прийти не можно. А темперамент Петрусин мне совершенно был известен; он ни за что не сжалится над нами, что бы тут с нами ни случилось.

Но, оставляя в стороне всю мою ссору с братом Петрусею и все, что вытерпывал я от теперешней его штучки, скажу аккуратно, что этакий пассаж могла произвести только его голова. Разберите в тонкость, сколько тут необыкновенного ума! Уверю вас, что он и ногою не был в Санкт-Петербурге, а какова его хитрость, а? Приватно уверяю вас, что жилец санкт-петербургский, родившийся и выросший в этом хитром городе, едва ли бы выдумал такую интермедию! Это прелесть сколько ума! Конечно, действие злое, но очень хитрое, и при всем том он имел законное право так поступить. Низ, то есть нижний этаж, есть его собственность.

Мою досаду сменила справедливость, а потом,

как будто в чужом теле, взял смех, видя, в каком жалком положении мы остаемся.

Брат Петрусь продолжал издеваться над моим положением и преспокойно предлагал мне спрыгнуть сверху. Но, оставив его шуточки, я начинал опасаться: если не придумаю ничего к нашему исходу, что последует с нами? Как вот явились мой новый батенька, без всякого убранства, и над местом, где была лестница, стали, опустя руки и свесив голову вниз, с всею готовностью посвистать от такого необыкновенного казуса.

Вскоре явился и наш женский пол, осужденный вместе с нами на бедствия. Это были жена моя и маменька ее. Они не могли выговорить ни слова, но плакали тихо, а охали громко.

Новый мой батенька, кажется, стояли просто, но изобрели решимость. Они с большою запальчивостью начали кричать на брата Петруся, все внизу стоявшего и утешавшегося нашим неописанным мучением.

— Ты изверг... ты убийца... ты умышляешь на жизнь нашу... ты расстраиваешь здоровье наше!.. — Во множестве собравшаяся от бешенства во рту их пена не позволила им объяснить дело в подробности.

А Петрусь префлегматично стоял себе внизу, хохотал и только знал, что на все наши требования и оханья прекрасного пола отвечал: «А мне что за дело?.. мне все равно... мне нужды нет!..»

Наконец, новому моему батеньке, по сродному им благоразумию, которого у них, правда сказать, была куча, пришла из сожаления к нам и собственно к себе счастливая мысль: поддобриться к брату и поддеть его разными хитростями, чтобы дал способ свободно сходить сверху.

Сколько ни подпущал Иван Афанасьевич разных

ему лестей, сколько ни упрашивал, как ни сильно доказывал, что он это делает нехорошо, глупо, подло и бесчестно, но Петруся ничем не урезонил; наконец сказал ему: «Ну, возьми с нас хотя деньги, только устрой сообщение».

Брат Петрусь обрадовался этому — и начался торг. Как, впрочем, ни шумели, как ни настаивали новый мой батенька, чтобы Петрусь что-либо уступил, но не успел ничего, и Петрусь не отступил от своего требования: уничтожить бумагу, по которой он должен мне уплатить несколько тысяч за доходы, им полученные. Дорого, правда, обходилась нам свобода; но я, если бы Петрусь потребовал, я бы и один из хуторов придал ему за свободу.

Что делать? Мы находились в самых стесненных обстоятельствах. Долго споря и ссорясь, решили мы с батенькою разорвать вексель Петрусин; но для этого надо было сделать условия, обеспечивающие нас во всех предметах. Полдень приближался, гости скоро начнут приезжать, а у нас ничего не распоряджено, и мы не только не завтракали, но и горячего не пили. Для уничтожения этих неприятностей мы, бывшие в осаде, объявили осадившему нас Петрусю, что сдаемся на условия, им предложенные, но для приведения всего в ясность нужно Ивану Афанасьевичу слезть вниз и кончить все дело.

Приставили лестницу и по ней, как условлено было, спустили одного Ивана Афанасьевича. Брат Петрусь дал обязательство немедленно уставить лестницу, как и была она, и во все время бала и даже никогда не снимать ее и, одним словом, не причинять нам и гостям нашим никакого беспокойства. Тогда уничтожен был и его вексель. Лестницы, которые не были разорены, а только разобраны, мигом поставили и уладили, и мы скоро имели

удовольствие воспользоваться свободою; но чего нам это стоило? Беспокойство замучило меня, если все не устроится к приезду гостей! Принявшись, однако же, со всем усердием за распоряжения, я уладил все прежде, нежели начали съезжаться гости.

Никто не отказался от приглашений, и экипажи поминутно въезжали и разводимы были по квартирам, прежде для каждого семейства назначенным. Там они, вырядившись, вечером собрались к нам и время проводили в приятных разговорах.

Как хозяин, я обязан был заводить разговоры, чтобы не скучали гости. Любимейшею и твердою материею было у меня — вояж мой в Санкт-Петербург, и я немедленно начинал описывать его от самого дому, чрез каждую станцию, до самой столицы. О тульском и некоторых других пассажах, постигших меня даже в Санкт-Петербурге, я умалчивал; зато уже санкт-петербургскую жизнь, и в особенности театры, объяснял гостям со всем моим красноречием и всем петербургским штилем, примешивая часто модные слова. Признаюсь, весело было моему честолюбию рассыпаться в рассказах того, что никто из моих гостей не слышал и о чем понятия не имел. Все они слушали меня, разинув рты, а некоторые и дремали.

Так удовольствовнно проведя вечер и поужинав не парадно, расстались до утра. Надобно сказать, что все гости сделали мне честь, пожаловав со всеми деточками малейшими и даже грудными. Кроме гостей, должно было угостить и всех кормилиц, мамушек и нянюшек привезенных детей, прислужниц разных и всякого народа.

А сколько было гостиных лошадей! Иные забрали все свои конюшни, привезли даже и заводских жеребцов, под предлогом похвастать ими на таком

съезде. Эти три дня угощения, конечно, равнялись с трехгодовою жизнью обыкновенного помещика. Но нечего было делать: обычаев нам переменять не должно. А сколько собственно мне было хлопот! Моя возлюбленная супруга не вмешивалась ни во что; все занималась своими нарядами и мало сидела с гостями: посидит, посидит, да и уйдет понежиться, как говорила она, полежать. Она уже начинала чувствовать себя нездоровою. Везде я один хлопотал.

После рассылки по квартирам каждому семейству транспортов, чаев и кофеев, гости, разряженные в пух, вовсе не по-санкт-петербургски, а каждая по своему вкусу, собрались на бал.

Не успел окончиться огромный завтрак, как поспел и обед. Убил меня, собачий сын, этот выписной повар своим обедом! Кроме чрезвычайных издержек, послушайте, сколько было мне конфузу.

Когда отворил дверь в столовую, то подлинно пышность и нарядство стола изумило всех. Что правда, то правда. Что хорошо, не потаю и не похую. Я на правду — черт! Представьте себе длинный стол, покрытый чистыми скатертями, уставленный восемьюдесятью приборами, украшенный карафинами с разноцветными винами, и все в пестроту. Картина чудесная! Но посреди стола — вот штучка! — была сделана зеленая гора, изукрашенная разными цветочками, а на верху этой горы чашечка, а из этой чашечки бьет красное вино струею вверх на пол-аршина. Это удивление, да и полно! Пожалуйте же, это еще не все.

У подножия этой горы посажены были две куколки, мужчина и женщина; он на нее возлагает венок, а она на него возлагает такой же, и обе эти куколки смотрят друг другу в глаза и улыбаются. У ног мужчины был вензель Т. Х., а у ног жен-

щины — А. Х. Мужчина изображал меня, Трофима Халявского, а женщина представляла жену мою, Анисью Халявскую. Сверх же нас, то есть куколок, представляющих нас, черт его знает, как он умудрился, невидимо за что укрепить и повесить божка Амура, державшего над нами пылающие сердца. А сказать правду, этот плут, растравивши наши сердца, давно улетел от нас. Но все-таки мысль была богатая и чудесно устроена.

Этого мало. По концам стола стояли две стеклянные банки, завязанные золотою бумагою. Но что в банках было? Прелесть. Вода, правда, и простая, но в этой воде плавало несколько живых разных рыбок. Премило было смотреть на это украшение.

Затем стол был установлен двумя чашами горячего, шестью блюдами с разными холодными, двенадцатью соусниками, шестью разными жаркими и к ним солеными овощами, в заключение красовались четыре пирожных. Все это, уставленное симпатически, делало вид превосходный, возбуждающий к еде.

Когда вошли в залу, я просил гостей, как всех равно для меня милых и почтенных, усаживаться за стол по старшинству лет. «Пусть, — думал я, — считаются между собою сколько угодно, а мое дело сторона. Не окажу преферансу ни свату, ни брату, и претензий не будет на меня». Пошли старички и старушки между собою пересаживаться, а холостые, приношенные мужчины, имеющие еще греховные помышления, склоняющие их к браку, те садились так, середка наполовине, к старикам не доходили и от молодых не отставали. Девушки же, так те без зазрения совести бежали на самый конец и старались захватить последние места.

—И выкинул же штучку хозяин! — говорил

один гость другому, не видя меня, идущего за ними. — Уж как ловко распорядил.

— Видно, что был в Петербурге, — отвечал ему товарищ его.

— То-то и есть. И сам бы что выдумал, так ничто и в голову нейдет. — Сказав это, они пошли к своим местам; а я, потирая руки от восхищения, чувствовал неизъяснимое наслаждение, видя с таким блеском все устроенное у меня.

Когда же все уселись и музыка, коей было шесть человек, грянула что-то вроде марша, тут я невольно вздохнул и почти громко сказал: «О любезнейшие мои, настоящие батенька и маменька! Встаньте из гробов своих! Придите, посмотрите, как ваш сын Трушко, ваш, маменька, пестунчик, какие пиры задает! Могут ли ваши банкеты сравниться с его балом? У вас была простота, а здесь какое великолепие, пышность... канальство! У вас пищали сурмы и стучали бубны, а у меня гремит хор музыки неумолкаемо: две скрипки, бас, флейта, цимбалы и бубен. Катай! У вас только и знали подавать меды, пива да наливки; а у меня разливною рекою льются вина таких наименований, что я и выговорить не умею. Знай наших!..» Но тут же и пресеклись мои восклицания, и я впал в жесточайшее уныние от постигшего меня позора.

Тысячу раз благодарю натуру, что она не исполняет человеческих желаний. Что бы с меня было, если бы мои настоящие родители, сиречь, покойники батенька и маменька, серьезно встали из гробов и пришли на наш пир? Что бы случилось с ними, если бы они увидели, что за таким пышно убранном столом, усеянным по виду отличными яствами, гостям нечего было кушать? О! если бы они только встали и от непривычки ходить по нашим лестницам кое-как взобрались бы в залу, я бы,

божусь вам! тут же их за ручки и повел бы обратно, да и сам с ними лег бы в могилу на вечное время!.. Будь я бестия, если бы не сделал такой штуки! Так-то поддоброхотало мне все, и этот зазывной кухмистра, и эти заморские напитки все, таки все.

Вообразите, что произошло! Открыли горячие — о, фортуна! тонко, жидко и, по словам маменьки-покойницы, «небо видно». Разнесли; некоторым недостало; кто же и получил, не кушают, холодное, как вчера с очага. Холодные — ни се ни то: все на горчице, на уксусе, а существенного мяса не спрашивай! соусы — нечто вроде мазей; ложкою немного захватить и в них обжаренные косточки, кое-откуда собранные. Жаркие — надсырь и то все застывшее. Пирожные бы и порядочные, но как верхние гости брали побольше, то низшим и недостало. Я горел от стыда!

К довершению огорчения, штучка, забавлявшая гостей, испортилась. Винная струя иссякла, и делаемое ею увеселение прекратилось. Как же текущее вино струилось по горе и подтекло под куколку, представлявшую Анисью Ивановну, отчего приклейка подмокла, и куколка, шатаясь вдруг... чубурах! повалилась со всех ног и упала неблаговидно!.. За нею вскоре последовал и прелестный божок, по той же причине, и из всех прелестей остался один я, или куколка моего имени, с улыбкою на лице и с венком в руке. Гости, видя сие, производили веселый смех...

В дополнение конфуза по винной части оказались большие злоупотребления. Хорольский винопродавец не мог доставить требуемого мною числа бутылок вин, чего для решился наполнить их всякою бурдою, засмолил и привесил ярлыки с разными надписями: Французское, Рейнское, Лондон-

ское, Потеште — и прочих нелепых наименований нагородил. Я, не зная в винах толку, знай подношу гостям и упрашиваю выкушать по полной. Никто в рот не берет. Наконец, уже один из гостей по-дружески шепнул мне, что все вина мои — просто галиматья и их употреблять не может никакая натура.

Я думаю, от самого сотворения мира ни один хозяин при потчевании гостей не испытал подобного поражения! Я оцепенел, как окаменелый мрамор!.. Вдруг подбегает лакей и спрашивает меня, пора ли разрезывать жаркие. Я позволяю: но, зная, что это разрезывание долго будет продолжаться, приказываю подавать соусы. Мне говорят, что уже все подносили. Я принялся ревизовать соусники, которые, после подноса, должны были опять поставиться, как и прочие блюда, на стол, чтобы не портить симпатий; осматривая, дохожу до одного, открываю... и что же?.. в нем сыр, или, говоря по-петербургски, творог, и недоеденные ломти хлеба... Видевшие это гости захохотали, но я чисто по фамильной комплекции, следуя маменькиной натуре, готов был сомлеть, но удержался, имея в первой горячности мысль точно бежать на могилу, вмещающую в себе прах нежнейших моих родителей, и теням их жаловаться на нововведения, осраившие меня с ног до головы. И я побежал было... но в передней попался мне злодей, выписной кухмистра, наделавший мне столько конфузных ударов. Я чуть, в пылу гнева, чуть не прибил его, но уже бранил громко.

Что же мошенник? Ведь оправдался. Мода требует выставлять все блюда до одного на стол; пока установят, первые простынут; а пока разнесут, остальные застынут. У них, у отличных кухмистров, есть замечание, что из десяти персон один отказы-

вается от блюда, и так, готовя на восемьдесят, он не добавлял на восемь персон. Еще есть у них правило: готовить большое количество блюд, но как не выдумаешь полного комплекта соусов, то должно в соусники положить чего попало, лишь бы стоял и не расстраивал порядка. «Теперь, — прибавил он, — ваша глупая старина, чтобы только обкормить гостей, прошла; теперь требуется только для глаз».

«Вот тебе и нововведения!» — думал я, возвращаясь к столу и почесывая свою фигурную прическу до того, что пудра сыпалась с меня, как с мельника мука.

Сяк-так, с грехом пополам, гости пообедали и, встав, благодарили меня за отличное угощение; но я, зная, что это они делают аллегорически, для одной оригинальности, я такими же учтивостями благодарил их за сделанную мне честь. Не оставил, впрочем, чтоб не открыть некоторым, что все эти погрешности были не от конфуза, но что того требует мода. Многие, разобрав хорошенько и подробно, нашли, что эта мода и правила новых кухмистров чрезвычайно выгодны. Не нужно-де заботиться об изящности стола, а наготовить чего-нибудь попроще и подешевле; все равно гости не будут ничего кушать.

Многие из хозяев решились ввести у себя такое положение; и точно: скоро все переняли эту моду, и человеку с порядочным аппетитом, вот хоть бы и я, негде было пообедать порядочно. Теперь уже, в это время, этот метод брошен, и с удовольствием вижу: люди вспомнили, что они созданы и живут для того, чтоб есть и пить, и, помня краткость бытия человеческого, спешат насладиться сим благом. Хвала им за исправление беспорядка, введенного нашим средним веком!

Пожалуйте, обратимся к своему предмету. Моя

Анисья Ивановна не участвовала со мною ни в угощении, ни разделяла моих огорчений от конфуза: она очень часто, чувствуя различные дурности, выходила из-за стола, прося двух молодых людей поддерживать ее. Впрочем, я замечал, что этот метод ее был хитростный: она возвращалась без всякого повреждения в лице, но все больше и больше «разгардеробливалась» и под конец стола была совершенно полуодета. Только и занималась этими молодыми людьми, а с прочими вела себя не гляже ни на кого.

После обеда музыка заревела и начались пляски и танцы. Молодых людей, за выбылью их по полкам, было мало, а кто и был, так те не умели танцевать, а особливо кондратанцев, кои затеяли барышни, обучавшиеся в пансионах и потому могшие производить их безошибочно. Как же сказал я, что в танцорах был недостаток, то барышни танцевали между собою. Тут опять вышел неловкий пассаж: умеющих прыгать кондратанцы было немного, то прочие сидели безо всего и только, по обычаю, повертывали пальчиками. Когда же танцующие переплясали все, умеемое ими, то, нечего делать, принялись за горлицы, метелицы, санжаровки и другие веселые, живые танцы, на которые смотревши только душа прыгала и дух вертелся вместе с танцующими. До того пляс всех восхитил, что многие, сперва засидевшиеся холостяки, потом женатые степенные, а далее и самые барыни бросились туда же, в кружок, вертеться, прыгать, скакать, что называется, до упаду.

Нарушилось было наше веселье умными изобретениями брата Петруся. Вдруг, среди скоков, раздался громкий звук от рогов, в которые брат приказал трубить внизу. Но некоторые из бывших тут гостей, приятелей его, пошли к нему и убедили его умолкнуть — что он и сделал, к немалому удоволь-

ствию общему. Хорошо, что унятие рогов на сей раз не стоило мне ничего. Если бы не приятели его, то я бы должен был идти к нему и купить у него тишину.

Веселье наше продолжалось до времени ужина, и когда стали накрывать стол, то все уселись играть в «фанты». Это тоже — род королей, как бывало и на прежних банкетах, но уже с вариациями. Ох, болит! сердце и проч. такие двусмысленности занимали нас очень. Молодежь не унывала, целовались между собою преисправно, все шло по прежнему обычаю, как вдруг гаркнула вестовая пушка — и все бросились к окнам. То было приготовление к «фейварку». Как быть балу без такой потехи? Загорелись ракетки и полетели вверх. Шипение их, тресканье, хлопанье, а в комнатах крик, визг пугливых из прекрасного пола, хохот, рассказы мужчин делали превосходную гармонию. Одних ракет было пущено пятьдесят; потом колеса, шутихи, бураки и прочего такого потешного штук до двадцати. Потом вдруг запылал огонь и явился «шлейф» мой и Анисьи Ивановны, искусно сплетенный и ярко пылающий!.. Все от восторга захлопали в ладоши, что мне напомнило санкт-петербургский театр и маленьких тамошних актерщиц... музыка грянула «многа лета», а пушки бухали салют, и нас все поздравляли. Вслед за ним прошены все были к ужину.

Лучше бы этот ужин исчез прежде своего изготовления! Вообразите, вместо горячего подносят гостям чайные чашки... Я думал: чай, кофе, пунш или что подобное, а потому взял меня большой конфуз!.. Но открылось, что это по новой моде тот же суп подавали в чайных чашках!.. Я дал кухмистру полную волю дурачиться по моде и, не вмешиваясь, смотрел, как вместо должных блюд подносили какие-то винегреты, сделанные из того и сего, а больше

из пустяков; пирожки, жаркое — и черт знает на что все это было похоже! Я только сжимал руки, сидя в стороне, и потихоньку приговаривал: «Маменька!.. О маменька!»

На другой день — терпения моего не стало! Выписного кухмистра взашей, приказал куховаркам своим изготовить обед по старине, и гости покушали у меня все преисправно и разъехались, благодаря со всем чистосердечием, без малейшей аллегорике.

Когда мы остались с моею Анисьею Ивановной, вот возобладала нами скука! Представьте, двое нас только; как говорить не о чем, то мы сидим по углам и молчим, а еще и месяц не прошел после нашего соединения. Она уже в разговорах с знакомыми перестала меня называть по приличию, а придавала мне одно местоимение: он. Каково! Но я, чтобы заставить ее образумиться и удержаться от употребления, даже в глаза, «ты», я, из политики, всегда называл ее деликатно: «вы». Но ничто не помогло. Она не отвечала даже на мои вопросы.

Не знаю, что бы из такой сладостной жизни нашей произошло, если бы не последовала перемена. Уже мы доживали медовый месяц нашего счастливого супружества, и я, быв в поле, то на гумне, возвращался домой с таким расположением духа, как во дни оные подходил с невыученным стихом к пану Тимофтею Кнышевскому. Как вдруг посетили нас один за другим те молодые люди, на коих облокачивалась Анисья Ивановна во время делавшейся ей дурности на нашем свадебном бале. Что же? Как рукой сняло. Анисья Ивановна стала веселенькая, губки складывает на улыбочку, часто уходит к себе для перемены шейных или грудных платочков и все у зеркала фигурируется. Даже со мной сделалась ласкова; не употребляла грубого местоимения: ты или он, но всегда с прикраскою нежности и вдобавок междо-

метия, например: «Ах, друг мой!.. ох, он мне милее всего на свете!..» Признаюсь в слабости моего темперамента! Я, выслушивая все это, таял от восторга и почитал себя счастливейшим из смертных. Скажите, пожалуйста, много ли человеку надобно? Упоенный ожившим счастьем, я не выходил из гостиной, увивался около жены и, почитая, что бывшая мрачность происходила в ней от ее положения... радовался, что по вкусу пришлись ей гости и она вошла в обыкновенные чувства; а потому, питая к ним благодарность за приезд их, я беспрестанно занимал их то любопытным рассказом о жизни моей в столице Санкт-Петербурге, об актерщиках и танцовщицах, то водил их на гумно или чем-нибудь подобным веселил их. Как вдруг жена моя, не оставляя местоимений и междометий, прибегла к предложениям: «Ах, друг мой! Ты сегодня не был в поле! Ох, смотри, купидончик, не расстрой здоровья своего! Поезжай, проездись часочка три... Ох, вы не знаете, — это она говорила во множественном числе к гостям, — вы не знаете, как он мне дорог! Его здоровье только меня и живит. Поезжай же, мой тютинька!» — это уже ко мне относилось. А почему я был тютинька, по сей час не знаю! Не сокращенно ли Трофим? Быть может.

Слыша такие нежности, я не только ехать, но согласен бы лететь, как сизокрылый голубок, в угодность своей белогрудой голубке; но для политики обратился к пристойности и сказал: «Как же, душечка (нежнее этого нарицательного я не придумал!..), а гости же как?..»

— О! мой друг! гости ничего.

— Мы у вас без церемонии, — сказали оба, опережая один другого словами.

— Когда так, так так, — сказал я, благодаря мысленно, что фортуна послала гостей, отложив-

ших все церемонии. После чего сел себе в свою таратайку и поехал осматривать поля и наблюдать, как спеет хлеб.

Я, сохраняя с своей стороны здоровье, проездил более назначенного времени и, при возвращении, встречен был женою, со всеми искренними ласками, и обоими гостями. Они, спасибо им, прожили у нас несколько дней, в кои я поддерживал свое здоровье прогулкою по полям и, возвращаясь, имел удовольствие находить жену всегда веселую, приятную и ласковую ко мне, а не менее также и гостей моих.

Пожили гости, пожили, да и уехали, и хотя обещали часто бывать, но все без них скучно нам было. Жена моя выпускала только междометия, а уже местоимений с нежным прилагательным не употребляла. Как вот моя новая родительница, присылая к нам каждый день то за тем, то за другим, в один день пишет к нам за новость, что к ним в Хорол пришел, дескать, квартировать Елецкий полк и у них стало превесело...

Тьфу ты, пропасть! Что за житье мне пошло! Уж не только самые сладкие нарицательные и восхитительные междометия полились рекою, но моя милая Анисья Ивановна не выпустила моей шеи из своих объятий, пока я не согласился переехать в город на месяц. «Только на один месяц!» — так упрашивала она меня. Прошу же прислушать и помнить.

Сам не знаю, как мы скоро уложились и собрались. Не успел я опомниться, как уже обоз отправлен был, как уже наша венская коляска у крыльца, моя милая Анисья Ивановна сидит в ней и торопит меня скорее садиться, да все с ласками, с приголубливанием.

В городе мы наняли квартиру, пристойную фамилии и состоянию нашему. Жена моя не отходила от окошек и все любовалась военными. Как ими не

любоваться! Кроме того, что много было в полку отличных красивых молодцов, разумеется, из их благородий, — наши братья сержанты, капралы и прочие господа в порядочный счет не идут, — но главное, что все они защитники наши и отечества; как же прекрасному полу не иметь к ним аттенции? Как не отдавать им преферансу? Как не завлекать их в знакомство, дабы они в обществе с прекрасным полом забыли все трудности и неприятности походной жизни?

Так рассуждала жена моя, и я с нею от души был согласен. По ее руководству, бывая в других домах, знакомился с военными и приглашал их к себе.

Сначала пришел один; жена моя приобула ножки в новенькие башмачки. Этот один впоследствии привел другого; жена моя стянула платице. Пришли еще три, жена вздела платочки из приданных, еще не надеванные. За этим и пошло... пошло...

Каждый день мы с женою доставляли удовольствия защитникам нашим беседую, в коей я, правда, редко участвовал, быв посылаем женою к соседкам за разными потребностями; но все же гостям нашим, конечно, было *приятно у нас*, потому что они не оставляли нашего дома.

Скоро очень моя Анисья Ивановна с ласками заметила мне, что и среди удовольствий не нужно оставлять хозяйства без присмотра, почему и просила меня поехать в имение осмотреть все части хозяйства, дожидаться доходов и привезти побольше денег, потому что в городе они очень-де нужны... да как при этом поцеловала!.. канальство!..

Со всем усердием поехал я в деревню, погряз весь в хозяйство, и то и дело что высылал моей Анисье Ивановне деньги. Только лишь извещу, что скоро обрадую ее скорым возвращением, ан

глядь! — она шлет новые мне порученности: то к соседке верст за двадцать съездить, то дожидаться, когда выбелится ее заказной холст или что-нибудь такое, то я и не еду, а все хозяйничаю. Наконец, когда уже срок нашей месячной квартире начал сближаться, я отправил подводы, чтобы забрать из города мой и ее фураж и прочее все домашнее, и сам отправился, чтобы привезти в деревню мою милую жену и быть с нею неразлучно. Но лишь объявив ей о том, как она и слышать не захотела и объявила мне, что я как хочу, а она не переедет, договорила-де квартиру на год и иначе жить не может, как в городе.

Удивился я крепко, но должен был замолчать и согласиться с нею. Однако же, из любопытства, начал примечать: что бы ее так веселило в городе? Примечать, примечать, как вот и не скрылось: у нас от раннего утра до позднего вечера набито офицеров, и она, моя сударыня, между ними и кружится, и вертится, и юлит, и франтит, и смеется, и хохочет...

Ага-а-а-а!..

Офицеры же как подобраны! молодец с молодца, и молодые, и красивые, проворны, веселы... и все наголо поручики!..

Я не знаю, зачем эти поручики в армии существуют? Всех бы их либо произвести, либо чины снять, лишь бы истребить этот ненавистный для меня сорт людей! Я не скажу ничего больше, но я их терпеть не могу!..

Еще того мало. Возвратясь один раз из деревни, куда я уже и без посылок жены часто ездил и проживал, жена моя, как-то неумышленно оставшись со мною одна, вдруг сказала мне:

— А я без тебя обновку получила.

— Какую? — спросил я, романтически вздохнув.

— Истерику.

— Поздравляю, — сказал я, обрадовавшись чистосердечно, и от удовольствия захотел поцеловать ее руку.

— Ах, как ты глуп! — вскрикнула она, покаясь на меня. — Поздравлять с болезнью! Неужели и до сих пор не знал, что так называется одна из болезней?

— Не знал, душечка, будь я бестия, если знал! Да и от кого же мне знать французские названия болезням? — Тут принялся я расспрашивать, какого свойства и комплекции эта болезнь.

— Вот увидишь, — сказала она меланхолично.

И подлинно увидел!

Скоро начали собираться поручики и окружили ее. Она была весела, игрива и что-то кстати одному из них сказала пресмешное «банмо». Все захохотали, и я, полный удовольствия от ее остроумия, захохотал, а подошедши к ней близехонько, по праву мужа хотел поцеловать ее в ручку... Батеньки мои! вдруг она: ги-ги-ги-ги!.. ну, словно кликуша, и пошла на разных голосах... да чебурах! — на руки одному поручику. Тот не сдержал, да и спустил ее на диван, а она и глазки закрыла да кликала, кликала, а там и замолкла! Поручики же все сбежались, кричат: воды, воды, уксусу... перья... и разбежались все. Я преспокойно вынул из кармана бумажку, свернул ее трубкою и остреньким кончиком к носу ей — и вознамерился пощекотать в носу... Она вскочила, как встрепанная, и, обзрев, видит, что поручиков-голубчиков нет около нее ни одного, напустилась на меня и даже вскрикнула:

— Убирайся со своими глупостями! Не смей мне никогда этого делать.

— Но как же, душечка? — начал я говорить романтически, — это у вас наследственный припадок от моей маменьки-покойницы. Они, бывало, часто хотят

сомлевать, да и ничего; а как не удержатся, сомлеют наповал, настояще, как батенька-покойник им бумажкою в носу пощекочут — и как рукой снимут...

— Ги-ги-ги! га-га-га! — И пошли из грамматики все междометия и ахти, и ахи, и у! и о! и все такое кричала она, пока поручики, как по барабану на тревогу, явились — и ну ей помогать... а она, голубушка, и глазок не может открыть, только все рукой машет на меня и со стоном говорит: — Прочь... прочь его от меня!.. Он говорит про покойников... Скорее, скорее удалите его от меня!..

Мигом два поручика схватили меня под руки и увели в кабинет и начали, впрочем, очень вежливо убеждать, чтобы я целый день не показывался на глаза дражайшей моей супруге, иначе произведу в ней опять истерику.

Нечего было делать, просидел преспокойно и безвыходно в одной комнате целый день. Хотя скоро имел удовольствие услышать, что она и поручики с нею громко хохочут, но боялся показаться к ней, чтоб не сбить ее с ног еще. Притом не без причины полагал, что, может, и поручики заистеричились от нее...

Что вам далее рассказывать? От появления у нас в доме этой проклятой истерики, которую я называл и «химерикою», потому что она ни с чего, так всегда почти при моем приближении, нападала на Анисью Ивановну; называл ее и «поруческою болезнью», потому что Анисья Ивановна будет здорова одна и даже со мною, и говорит и расспрашивает что, но лишь нагрянули поручики, моя жена и зачикает и бац! — на пол или куда попало! Так вот с появления-то этой модной болезни жизнь моя изменилась совершенно. Для своей супруги я сделался совершенно чужим и даже ненавистным!.. Лишь поручики в дом — я из дому и скитаюсь один. В де-

ревню поеду — скука и хозяйство надоело; в городе же — купивши дом, мы, по воле жены, поселились навсегда — сижу безвыходно в своей комнате, чтоб не причинять истерики жене.

А тут, ни отсюда, ни оттуда, дети кругом осыпали. Сам не знаю, откуда они уже брались! На свободе как-то сосчитал наличных, так ужас! Миронушка, Егорушка, Фомушка, Трофимушка, Павинька, Настенька, Марфушка и Фенюшка — ну, прошу покорно! Ведь поставила же на своем Анисья Ивановна! Исполнила намерение, положенное еще до замужества ее, и я не переспорил ее.

Ну, и нужды бы нет. Дети и дети, — не на улицу же их выкидывать. Я было хотел, чтобы они все дома росли... куда! «Как это можно? Когда такие болваны будут около меня вертеться, как меня будут почитать сорокалетнюю старухой... Не хочу их видеть! А не то... а, ах, ги-ги-ги!» — и заистеричила! Надобно знать, что и поручики давно ушли в поход, а эта химерика все осталась при ней. Весела, печальна, заговорили, замолчали... и она, бац! и сомлела. Так, без ничего, сомлевала и — ох! и теперь у нее такой темперамент. Даже в старости истеричничает.

Нечего делать! Надобно было уважать желание больной жены; не дать же истерике задушить ее. Развез сыновей по разным училищам. А сколько было хлопот при определении их! Подай свидетельства о законном их рождении, о звании, и все, все это должен был достать — и так определил.

Думаете же вы, что я наслаждался радостями семейной жизни? ничего не бывало! Мои повесы, все до одного, — не знаю только, по ком пошли, — все вдались в глубь наук. Домой неохотно ездили, все над книгами; зато как испытые!

И науки кончивши, не образумились. «Пустите нас отличаться на поле чести или умереть за оте-

чество». Тьфу вы, головорезы! По несколько часов бился с каждым и объяснял им мораль, что человек должен любить жизнь и сберегать ее, и се и то им говорил. В подробности рассказывал им, что я претерпел в военной службе по походам из роты к полковнику... ничто не помогло! Пошли. Правда, нахватили чинов, все их уважают... но это суeta суeta.

А что женились! так уж так! Совершенные иностранки — жены их! Слова не скажут без форбье¹. И детей так ведут. Дитя, дескать, не должно слышать русского слова. Ах вы, мамзели, мамзели! Отнять бы у вас детей; вы их иметь-то недостойны. Увидим впоследствии.

Поверите ли? Отца, мать, богом данных им родителей и богом повеленных чтить и уважать, они вместо нежного нарицательного: «батенька, маменька», иначе не кличут, как «папаша, мамаша!». И точно «кличут» — как собак кличут. Кто их поймет? В критику им я своего старого пуделя прозвал «папаша», что же? — эти щенята, то есть внуки мои, не совестятся горланить: «Папаша! Папаша!» Отец-дурак, — между нами будь сказано, — и откликается: «Чего, дескать, Тиня?» (И это возьмите в резон, это христианское имя Тимофей, а по-ихнему, черт знает по-какому — Тиня!) А молокосос и заливается от смеха: «Я-де не тебя, а пуделя!» И папаша-отец хохочет вслед за дураком!.. И мамаше та же честь бывает: в глаза смеются! По-моему, когда уже допустит мое рождение говорить мне в глаза «ты», так очень легко услышать от него: «Ты, папаша, дурак! Ты, мамаша, глупа!» И не сердитесь, нежнейшие папаша и мамаша! Настаивал я, правда, во власти моей родоначальника, чтобы эта мелюзга с малых ногтей приучалась уважать родителей: так куда! «Фи! это по-рус-

¹ Искаженное французское — *fort bien* (очень хорошо).

ски; тошно». Надобно же знать, что и это их «фи!» есть подобно значительно маменьки моей: «Тьфу!» Подите же с ними: все изменили!

При ребятишках инспекторов, подобно как при нас был домине Галушкинский, нет, а есть «гувернеры». Оно одно и то же; только те бывали в халатах и киреях, а эти во фраках; те назначали жалование себе в год единицами рублей, а эти тысячами; те боялись своих хозяев, робели перед ними и за несчастье почитали прогневать их, а эти властвуют в домах, где живут, и требуют исполнения своих прихотей. Польза же от них одна и та же: Галушкинские ничему не учили, не зная сами ничего, а преподавали один бурсацкий язык, а гувернеры не учат ничему, за незнанием ничего, а преподают один французский язык. Одно, одно и то же: все иностранный диалект, и польза от обоих одна и та же.

Анисья Ивановна моя — несмотря ни на что, все-таки «моя», — так она-то хитро поступила, несмотря на то что в Санкт-Петербурге не была. Ей очень прискорбно было видеть сыновей наших женившихся; а как пошли у них дети, так тут истерика чуть и не задушила ее. «Как, дескать, я позволю, чтобы у меня были внуки?.. Неужели я допущу, чтобы меня считали старухой? Я умру от истерики, когда услышу, что меня станут величать бабушкой!»

— Не беспокойтесь, маман! — сказала старшая невестка. — Мои дети будут отлично воспитаны: они слова не будут знать по-русски, и вас не иначе будут кликать, как «гран-маман»...

— Вздор! — закричала хитрая Анисья Ивановна. — Я не позволю себя уронить; я сама придумаю приличное себе наименование.

И в самом деле, придумала. Да как хитро! совершенно по-санкт-петербургски: «Бушечка!» Как-во? Оно и не грубое «бабушка», а еще нежнее самой

бубушечки, бабушки и проч. «Бушечка»!.. Подите вы с нею: совершенно в новом вкусе и сходно с те-перешнею атмосферою, то есть с понятием обо всем.

Один я остался непорекрещенный. Дедушка — и полно. А кто иначе назовет или осмелится мне тыкнуть, тому я заранее объявил мое проклятие, исключение из рода Халявских и лишение наследства.

— Последнее только и опасно, — сказал с критикою «Гого», или Гриша, двенадцатилетний внук мой, щенок, явный фармазон! Вот нынешние дети! Как-вы будут люди?

Из числа гувернеров есть один: ну, так собаку съел. Я рассказывал уже, кто он и как полезен для второй невестки. Но его надобно послушать, когда он при чае, за пуншем (он иначе не пьет чаю, как с прибавлением) начнет говорить, так есть чего послушать! И резонно, и наставительно, и для всех нравственно. Например:

— К чему, — он говорил, и говорил отборным, высоким штилем, а я буду передавать по-своему. — К чему молодых людей, детей, птенцов, изнурять ученьем? К чему время, данное им благодетельною природою для узнания жизни и чтобы воспользоваться всеми наслаждениями ее, обращать в скуку. в стеснение, в досаду? Воспитав столько юношей, я на опыте знаю, что все науки для них, во время учения, непонятны, а в жизни бесполезны, от непонятия их молодости. Оставьте юношу поступать по воле его, следовать всем его желаниям и не удерживайте его от исполнения хотений его. Познав их все в подробности, он пресытится ими, возненавидит их и будет удаляться, словно от пресыщения ботвиньи, составляемой у русских из их глупого квасу. Ум человеческий есть полновластный господин. Он не любит стеснений, принуждений; он имеет некоторые капризы: начнете наполнять его познаниями, он буд-

то принимает их и сохраняет, но разом выкинет все переданное ему так, что и с свечою и лоскутков не найдешь. Дайте ему волю; пусть покоится, нежится, бездействует; но как он есть «ум», то, в случае надобности, он просыпается, принимается действовать и производить то, чего учившийся всему не в состоянии произвести и в десять лет.

«Правда твоя, мусье!» — восклицал я тогда внутренно, слушая его, и теперь говорю: правда! Ну, что из того, что мой ум с самого детства всеми науками наполняли и пан Кнышевский, и доминe Галушкинский? Пожалуй, мой ум и притворился, что все постигнул: и быстрый разбор словотитл, и латинские вокабулы, и синтаксис, и Пифагорову таблицу умножения; но как только я возмужал, так мой ум, раскапризавшись, все и выкинул из себя. Подите же теперь? Лишь только понадобится что нужненькое к моему уму, он тут и проснулся и действует. Сколько было периодов в моей жизни, где если бы ум во мне не действовал, так чего бы я не набедокурил сам по себе? И теперь спасибо уму моему: вот и описал жизнь мою все по его милости. Куда бы мне самому отделать двести страниц? Нужен мне расчет экономический: что мне в арифметике, которой мой ум и знать не захотел. Мы с ним запремся вдвоем, нарежем бумажек, раскладываем, рассчитываем, и так верно все приведем, что люли!

Нет, губернeр резонно говорил. Его метод очень нравится нынешним молодым людям.

Другое он говорил: «К чему служить в какой бы то ни было службе? Мало ли в России этих баранов-мужиков? Ну, пусть несут свои головы на смерть, пусть роются в бумагах и обливаются чернилами. Но наследникам богатых имений это предосудительно! Как ставить себя на одной доске с простолюдином, с ничтожным от бедности дворянином? Ему

предстоят высшие чины, значительные должности. Несведущ будет в делах? Возьми бедного, знающего все, плати ему деньги, а сам получай награды без всякого беспокойства».

Правда, правда, тысячу раз правда твоя, господин мусье! Ну, что было бы из меня, если бы я продолжал военную службу? Мучился бы, изнемогал, а все бы не дошел выше господина капрала. Теперь же — даже губернатором могу быть! Состояние у меня отличное, могу найти двух-трех с большими познаниями людей, буду им платить щедро и служил бы отлично. Подите же вы с теперешнею молодежью! И слышать не хотят. Все бы им самим служить, не как предки наши... Портится свет!

Еще мусье говорит: «Уважение к заслугам, чинам, достоинствам, а в особенности к старости — вздор, ни с чем не сообразно, не должно быть терпимо даже. Каждый должен себя ценить выше всего и смотреть на всех как на нечто, могущее быть только терпимо. Старики же? фи! они не должны требовать никакого к себе внимания. Ведь они старики: а что старо, то негодно к употреблению. Глупое правило у русских: уважать родителей есть также вздор. И что это родители? — те же старики!..»

Тут я приходил в запальчивость; я не мог переносить таких кривых толков; но как я не мог остановить мусье гувернера, потому что все мое поколение, с жадностью слушавшее его, восстало бы против меня, так я молча вскакивал, звал своего папашу-пуделя и уходил с ним в свою комнату размышлять, тужить и повторять восклицание, коим и начал описание моей жизни:

— Тыфу ты, пропасть! Не наудивляешься, право, как свет изменяется!..

СОДЕРЖАНИЕ

Ф. Кривин. Автор и его герой	3
ПАН ХАЛЯВСКИЙ. Роман	21

КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО

К32 Пан Халявский. Роман. Вступит. статья
Ф. Кривина. М., «Худож. лит.», 1978.

335 с. (Нар. б-ка)

В. Г. Белинский писал о романе украинского писателя Г. Квитка-Основьяненко: «Особенно замечательна «Пан Халаявский» — сатирическая картина старинных нравов Малороссии... Слово на ладони видите вы почтенную старину, преспопленную невежества, лени, обжорства и предрасудков... Краски Основьяненко живы, картины уморительно смешны, и, несмотря на то, что местами его рассказ слишком обстоятелен, занимательность нигде не ослабевает. Об оригинальности нечего и говорить: талант Основьяненко известен всем и каждому...» Добавим, что «Пан Халаявский» не утратил своей занимательности и сегодня.

Издание приурочено к 200-летию со дня рождения писателя.

K 70303-022 115-78
028(01)-78

C(Y_{кр}) 1

Квитка-Основьяненко

ПАН ХАЛЯВСКИЙ

Редактор

С. Князева

Художественный редактор

С. Данилов

Технический редактор

Л. Глазунова

Корректоры

М. Пастер

и М. Чупрова

ИБ № 895

Сдано в набор 28. 04. 77. Подписано в
печать 03. 04. 78. Бумага тип. № 2. Фор-
мат 70×100/32. Гарнитура «Литератур-
ная». Офсетная печать. 13,608 усл.
печ. л. 13,917 уч.-изд. л. Тираж
100 000 экз. Заказ № 463. Цена 1 р. 20 к.

Издательство

«Художественная литература»
Москва, Б-78, Н. Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Калининский полиграфический ком-
бинат Союзполиграфпрома при Госу-
дарственном комитете Совета Минист-
ров СССР по делам издательств поли-
графии и книжной торговли, г. Кали-
нин, пр. Ленина, 5

1 р. 20 к.



Г.Ф.КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО • ПАН ХАЛЯВСКИЙ